

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ Журнал
THE
NEW REVIEW

Основатель М. ЦЕТЛИН

Одиннадцатый год издания

Кн.
XXIX
1952

Copyright 1952, by "New Review". All right reserved.

Редактор М. М. КАРПОВИЧ

Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

Обложка работы М. В. ДОБУЖИНСКОГО

ОТ РЕДАКЦИИ

Выделяя воспоминания и документы в особый отдел, мы хотим подчеркнуть историческую и документальную ценность печатаемых в нем материалов, независимо от тех точек зрения, которые они отражают. РЕД.

О Г Л А В Л Е Н И Е :

<i>М. А. Алданов</i> — Повесть о смерти	5	
<i>Б. К. Зайцев</i> — Древо жизни	70	
<i>Игорь Красуский</i> — Лоси	105	
СТИХИ: — <i>Д. Кленовского, Ив. Елагина, Ю. Терапиано, Ник. Моршена, Вл. Злобина, Вл. Смоленского, Юрия Одарченко</i>		112—121
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:		
<i>Л. Ржевский</i> — Подлинное и заказанное	122	
<i>Д. Кленовский</i> — Поэты Царскосельской Гимназии	132	
<i>Г. Забежинский</i> — О Сергее Клычкове	139	
ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:		
<i>Н. Воинов</i> — Беспризорники	147	
<i>В. Поздняков и Д. Каров</i> — «Республика» Зуева	189	
<i>Письма Максима Горького к В. Ф. Ходасевичу</i>	205	
<i>И. Г. Церетели</i> — Российское крестьянство и В. М. Чернов в 1917 г.	215	
ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:		
<i>М. Карпович</i> — Комментарии	245	
<i>Е. Юрьевский</i> — О «великих стройках» и «преобразовании природы»	256	
<i>Н. Арсеньев</i> — Князь С. Н. Трубецкой	282	
<i>Татьяна Фесенко</i> — Производство ненависти	303	
БИБЛИОГРАФИЯ:		
<i>А. Петрункевич</i> — «Из истории права поземельной собственности в России» (о книге проф. В. Б. Ельяшевича)	317	
<i>М. Вишняк</i> — М. Gordey "Visa pour Moscou"	328	
<i>Э. Миклуловская</i> — «Впечатления с Гарвардской выставки «Слова о полку Игореве»	332	

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street,
New York 8, N. Y.



ПОВЕСТЬ О СМЕРТИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ*

I

Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur donnez m'en une pour la félicité¹.

Laclos.

Прощание произошло так, как происходило у Лейденов всегда: Ольга Ивановна и Лиля вышли на улицу, Константин Платонович умолял их вернуться в комнаты, испуганно кричал, что они непременно простудятся; они отвечали, что это пустяки, — и не подумают простудиться. Затем, когда дворник и ящик стали размещать чемоданы, обе дамы заплакали, а он их утешал: «Не стыдно ли? Ведь я уезжаю не в Америку и не в Австралию! Скоро вернусь». Ольга Ивановна сквозь слезы в десятый раз сокращенно повторила свои наставления в дорогу: чтобы он в я м а х ни к какой колбасе не притрагивался и чтобы всякий раз, садясь в экипаж, пересчитывал вещи. Он тоже чему-то их учил. Наконец, обнялись в последний раз. Из коляски, он, стоя спиной к ящику, махал им рукой и еще что-то кричал. Они тоже махали платочками, старались улыбаться и посылали ему воздушные поцелуи. Уже издали он отвечал воздушными поцелуями, жестами требовал, чтобы они ушли, и показывал рукой на свое горло: простудитесь!

* См. 28-ю кн. «Нов. Журн.».

¹ Силы небесные, у меня была душа для скорби, дайте же мне душу для радости.

М. А Л Д А Н О В

Но, когда коляска скрылась за поворотом Лютеранской, Лейден, садясь, вдруг почувствовал облегчение, даже радость, — непонятную, как будто беспричинную радость. «В чем дело? Никогда этого со мной не было при разлуке. Между тем ведь я люблю, нежно люблю их», — с тревожным недоумением думал он. — «Что ж хорошего в том, что я теперь один? Свобода? Да кто же меня стеснял и дома?».

Теперь можно было подумать как следует о п у г о в к е. Впрочем, он довольно думал о ней и в Киеве. Она образовалась, дня четыре тому назад, сзади, на шее; если бы не была покрыта волосами, Ольга Ивановна, конечно, тотчас ее заметила бы. Константин Платонович ничего своим не сказал, но в первую же минуту подумал, что это, быть может, рак. Попробовал, запершись в комнате, рассмотреть пуговку при помощи двух зеркал. Это не удалось. Собрался было пойти к врачу, однако едва ли врач уже мог бы распознать болезнь, и было несколько совестно, да и страшно: вдруг подтвердит! В старом медицинском учебнике Лейден ничего не нашел. «Если будет расти, тотчас вернусь, хотя тогда уже не всё ли равно?» В экипаже он беспрестанно нащупывал пуговку, — как будто не росла. Думал о том, что рак на шее (если такой бывает?) не может считаться безнадёжной болезнью: лечат оперативным путем не без успеха. «Да, плохо, всё плохо... Какой это старик-француз на вопрос «Comment ça va?» отвечал «Ça ne va pas: ça s'en va»? Действительно, организм разрушается, начинается самый худший период жизни: д о ж и в а н ь е, болезни. Хорошего больше ничего не будет. А я думаю о платанах!.. От какой же болезни я умру? Пожалуй, самое безболезненное: воспаление легких. А то разрыв сердца? Но сердце у меня, кажется, здоровое. Или будут возить в повозочке после удара? Тогда, если останется сознание, столь ничтожным покажется всё, что теперь меня огорчает, раздражает, беспокоит! Но каким же образом громадное большинство людей не думает о своей смерти — или же думает только весьма редко,

по каким-либо особым случаям вроде болезней, завещания или похорон близкого человека?».

Он заснул. Ему снилось, что он находится на Гаити. Или на Таити... Петр Игнатьевич предложил вырезать пуговку и хотел за это взять всего пятнадцать копеек, но он не согласился: еще зарежет! Между ним и Петром Игнатьевичем из за этого произошло резкое столкновение, он всё Петру Игнатьевичу выпел, напомнил разные его поступки, всю его некорректность в том деле с заводом. Тятенька старался их примирить и обратил их внимание на красоты природы, объяснил, что Гаити открыл Колумб и добавил: «Frisch in's Leben hinein», пане Христофоре!» Эта чушь затем развивалась по своему почти логично. Лейден проснулся от толчка, испуганно открыл глаза и обрадовался: «Всё ерунда, никакой операции, никакого Таити! Приходит же в голову этакий вздор! А еще люди приписывают вешее значение снам! Отроду, кажется, ни о Таити ни о Гаити не думал!..» Коляска стояла у избы с надписью под крышей: «Почтовая Станция».

В избе других проезжающих, к его удовлетворению, не было. Ему подали самовар, он велел принести из коляски погребец. «Время глупое», — подумал Константин Платонович, взглянув на часы, — «для завтрака поздноато, для обеда рано». Еды на станции не было. Он подумал, что верно у ямщика есть свои харчи, велел дать ему водки и послал большой кусок ветчины.

— И скажите ему, пожалуйста, что в четыре часа мы поедем дальше, — прибавил Лейден. — Водки больше стакан не давайте, еще вывернет.

Эта мысль его заняла: что, если коляска упадет и он вывалится в грязь? Лишь бы тогда хоть не потерять вещей и особенно денег. Он взял с собой немало золота; кроме того было заемное письмо. «Что я стал бы делать, ежели бы всё как-нибудь да пропало? В дороге знакомых ни души. Ждать пока пришлют из Киева?» Он долго обсуждал это за завтраком: как даст знать Ольге Ивановне? сколько пришлось бы ждать? Не вытерпел, заглянул в чемодан, деньги были целы.

«Смешно, ведь я опытный путешественник. Прежде, бывало, тоже беспокоился, да всё же не так».

Помещение станции было очень грязно. После необыкновенной чистоты их киевского дома, комната была особенно противна. «Хотел бы я увидеть Оленьку в таких апартаментх!» — подумал он, чувствуя теперь к жене особенную нежность. «Что они обе сейчас делают? Лильки верно нет дома, а Оленька вздыхает и рассуждает обо мне с дурой Ульяной». Неожиданно ему пришла мысль, что он отлично мог бы вернуться домой. «То-то они обрадовались бы!.. Ведь в сущности Тятедька прав: не очень мне нужно всё это: платаны, семена, завод... Что же я сказал бы в Киеве, если вернулся? Что забыл захватить дорожную? Но ведь тогда надо было бы тотчас опять уехать. Враги пустили бы какую-нибудь сплетню»...

Он знал, что его в киевском обществе не любят, и сам любил лишь немногих, да и то не очень горячо. Впрочем, отдавал должное чужим достоинствам. Этот хороший человек, да скуп до отвращения. Этот тоже хороший, но меняет белье раз в неделю и ногти грязные. Всё же Лейден понимал, что мало кто его ненавидит. «Ненависть, конечно, слишком сильное слово... Если б я сейчас вернулся в Киев, Петр Игнатьевич и Марк Петрович объявили бы, что меня давно пора свезти в дом умалишенных и что они всегда это говорили. А какое мне дело до того, что они скажут? Может ли меня интересовать мнение чужих, ничтожных людей?» — спрашивал он себя, хотя чувствовал, что даже мнение Петра Игнатьевича и Марка Петровича имеет для него некоторое значение. — «Да что такое вообще враги? Люди имеют разные интересы, разные взгляды, разные вкусы, и поэтому часто относятся друг к другу недоброжелательно и враждебно; кроме того есть множество дурных, гадких людишек, и если по поводу каждого их слова раздражаться, расстраиваться, то лучше вообще не жить на свете. И, наконец, в известном смысле даже стыдно не иметь врагов: значило бы, что я бесцветный человек». Это он часто говорил себе и

прежде. Тем не менее, случалось, в особенно плохие свои минуты, думал о том, как бы причинить какую-либо большую неприятность дурным людям. Иногда долго представлял себе, какой убийственный фельетон мог бы написать барон Брамбеус о Петре Игнатьевиче, и даже мысленно участвовал в составлении этого фельетона, в котором его враг был бы обозначен ясно для всех, например, Игнатием Петровичем.

В комнату внесли сальную свечу. Он взглянул на часы и закрыл глаза. «Да, «гимнастика смерти», — подумал он. Так он про себя называл то, о чем думал и дома в бессонные ночи: представлял себе смерть знакомых и близких людей или, точнее, влияние на него их смерти. «Это безошибочный признак того, что я крайний эгоист. Смерть знакомых в сущности никакого влияния на меня иметь не может. Да, вероятно, я был бы огорчен, а через полчаса забыл бы. И так все, только другие притворяются и изображают большое горе... А смерти Петра Игнатьевича я даже был бы очень рад. Каждый из нас наверное мог бы составить мысленно список людей, смерть которых ему была бы удобна, полезна, а то и приятна. Только и тут люди этого не говорят. И я тоже никогда никому не скажу. Если б сказал, то Тятенька верно постучал бы многозначительно пальцем по лбу, а Оленька ужаснулась бы, заахала, а вечером помолилась бы Богу, чтобы Он простил мне столь страшный грех и чтобы хранил тех, кому я желаю смерти. А я всё-таки им ее порою желал, а Петру Игнатьевичу и сейчас желаю, и ничего тут со мной не поделаешь... Но враги и в счет не идут. А друзья? Тятенька? Близкие? Да, я сто раз приучал себя мысленно к тому, что они умрут, что я их переживу, могу пережить, мысленно преодолевал свое горе, думал даже, к моему позору, о том, что будет со мной, если я их переживу! И это ужасно, хотя, может быть, каждый из нас должен иногда это делать, чтобы приучать себя к неизбежному. У меня же эта гимнастика смерти чужой смерти — становится, кажется, манией».

Он вспомнил о пуговке, открыл глаза и ощупал шею. «Нет, как будто не увеличилась». По столу бегали тараканы. Несмотря на занятия Константина Платоновича естественными науками, три вида существ вызывали у него непреодолимое отвращение: насекомые, крысы, змеи. «Что-то меня еще ждет в Турции: клопы, сомнительные кровати, еще более сомнительная еда, от которой легко отравиться или заболеть холерой. Право, не лучше ли вернуться?» — думал он, хотя и отлично знал, что не вернется. Он обрадовался, когда подъехал ящик.

— Ну, что, голубчик, поели, выпили? — спросил его Лейден и подумал, как неестественно это развязно-ласковое обращение к чужому мужику. Он не только не говорил простым людям «ты», но в ресторане не мог сказать «человек», а в бытность свою в Париже в кофейнях не произносил слова «гарсон», казавшегося ему очень оскорбительным для слуги. «Тем не менее вся эта ничего мне не стоящая деликатность, которой я внутренне горжусь или даже хвастаю перед самим собой, одна фальшь. Всё-таки я только что ел икру и пил венгерское, а он пил водку и ел по жалованью мною ветчину. Если же я не пожаловал бы, то он ел бы сухой хлеб. Конечно, много правды в том, что говорят в свободных странах революционеры. А я вот и знаю, что в этом много правды, но это ровно ничего в моей жизни не меняет. Тоже фальшь, везде и во всем фальшь... Лучше дома говорил бы Никифору ты, но жалованья платил бы ему втрое больше».

Дорога была долгая, утомительная. Лил холодный дождь. И всё время его преследовали те же мысли. Все несчастья были возможны: рак, удар, разорение, пожар дома. Он мог простудиться в такую погоду и заболеть воспалением легких. «Кто же даст знать Оле? Или вдруг заболею холерой? Тогда лишь бы скорая смерть... Цели же ведь всё равно в жизни больше никакой нет, вот как у этого стада овец, которое там куда-то гонит мужик. Их зарежут через неделю, нас немного позднее, зато нас уже без всякой нужды или пользы». Впро-

чем, ему самому показалось, что и мысль эта, и сравнение с овцами не так блистательны: «Для этого не стоило прочесть сотню философских книг. Правда, я Кифа Мокиевич!» — сказал он себе, рассеянно нащупывая пуговицу.

От таких мыслей помогало ненадолго вино. Он не очень любил вкус спиртных напитков, а водку глотал почти как лекарство. Но после нескольких стаканов вина начинал чувствовать то, что принято было называть «приятной теплотой». У других людей от спирта развязывался язык, у него развязывался ум; мысли не путались, а, напротив, становились более ясными и неизмеримо более приятными.

Ночь перед Одессой он опять провел на почтовой станции. Она была немного лучше первой, но и тут пахло луком, мокрой кожей и жженым салом. Был диван и на нем Лейдену приготовили постель. Однако, он не решился лечь, — представил себе людей, которые, быть может, спали на этой простыне, под этим одеялом: могли быть и больные чесоткой, и сифилитики. Запасы еды уже кончались, как ни много было ее в погребце: он ел в пути очень много, хотя опасался, не испортилась ли уже провизия. Делился запасами с ящиком, давал и голодным детям, когда они появлялись в комнате для проезжающих и смотрели на него жадными глазами. «Да, вот он, нищий народ!» — думал Лейден: в отличие от Бальзака, не восхищался богатством России; вспоминал о чистеньких гостинницах Австрии и сравнивал. И всё пытался понять, чего именно он хочет. С растущей тревогой думал о радости, которую испытал, простившись с женой и дочерью; ясно видел, что одиночество выносит с большим трудом; и так же ясно чувствовал, что не очень хочет и своего киевского общества. Ему теперь казалось, что в Киеве его преимущественно тяготило однообразие его жизни: всё одно и то же, милые, приятные люди, но одни и те же.

От скуки он вышел из избы. Дул сильный холодный ветер. «Жутко человеку быть одному вечером, да еще в такую погоду, на новом, незнакомом месте, будь это хоть Париж». Лейден вернулся в избу и просидел всю ночь на диване, с

которого сбросил одеяло и простыню. Ночью и в комнате стало холодно. Он ежился под пледом, думал, что клопы могут развестись и в его вещах. Дремал, под утро заснул и проснулся совершенно разбитым. Пуговка не уменьшилась. Клопы кусали по прежнему. «Человек, которого кусают клопы, не может сохранять человеческое достоинство!» — с отвращением думал он. Очень дорожил своим достоинством. «Хоть бы скорее город, ванна, цивилизованная жизнь!».

В Одессе погода тоже была плохая. Море было очень неприятливо. Перед отъездом Константин Платонович менял ассигнации. Решил есть поменьше. Действительно, через полчаса после того, как судно отошло, стало сильно качать. Пассажиры с тревогой и с некоторой гордостью говорили; что годами такого бурного моря не было. Лейден поспешно спустился в каюту и стал думать, что произойдет, если судно пойдет ко дну. «На лодке куда же спасешься? Кажется, и островков никаких нет».

Он всю дорогу пролежал пластом, проклиная день и час, когда решил ехать в Константинополь. Мечтал теперь только о том, чтобы под ним снова оказалась земля, всё равно какая, но твердая. Вычислял мысленно, сколько еще плыть. Его звали к завтраку, к обеду. Он смотрел на звавших с завистью и отвращением: что это, издеваются они, что ли? Лакей участливо предлагал принести ему бульона или чаю. — «Оставьте меня! Ничего не хочу», — шептал Лейден страдальчески.

Его мучения кончились внезапно. Под конец переезда он задремал. Когда проснулся, увидел, что каюта залита солнцем. Полотенце на вешалке, прежде качавшееся как маятник, теперь висело неподвижно, графин и стакан на умывальнике не звенели. «Неужто берег? Слава Тебе, Господи!». Вспомнил о пуговке, протянул руку к шее, — пуговки не было! Сразу было не поверил, долго искал: нет пуговки, исчезла! «Надо же было волноваться! Просто стыдно! Был

простой волдырь или что-то в этом роде! Эх, дурак я!» — с восторгом подумал он. Попробовал встать, — отлично встал. Осторожно, держась за перила, поднялся по лестнице, — тоже удалось превосходно. В коридоре, выходящем на палубу, даже не пошатнулся!

Близко, совсем близко, была земля, — не только твердая, но невообразимо прекрасная. Видны были белые купола, гигантские копыя минаретов, кипарисы, невиданных размеров платаны, цветы, раскрашенные дома, — необычайное сочетание красок, от ярко-зеленой до ярко-красной. Но главное было солнце. Такого солнца он отроду не видел: оно здесь было светлее, белее, ярче, чем в России. «Что, как Тятенька прав? Незачем думать о смерти и загробном мире, надо жить со дня на день, брать от жизни всё, что еще можешь!» — сказал он себе. И только мелькнула у него мысль, что ведь и резкую, ничем кроме погоды не вызванную, перемену настроения можно было бы приписать душевному расстройству.

Еще до отхода судна из Одессы он справился у капитана, где бы остановиться в Константинополе. Капитан посоветовал меблированные комнаты у Галатской башни: «Содержит грек, у него очень чисто и недорого, будете благодарить. Я вам запишу адрес, на меня и сошлитесь». Когда корабль остановился, на борт мгновенно вскарабкались носильщики; ругаясь друг с другом, набросились на Лейдена, выхватили записку, закивали головами и с криками повели его вниз. Никаких формальностей не было; быть может, капитан откупился от властей. Лейден очень скоро очутился на твердой земле — и сразу ошалел: попал в новый мир!

На улицах была давка, кладь везли на ослах и верблюдах, везде бегали тощие собаки, почти сплошной стеной неторопливо продвигались люди, белые, арабы, негры; женщины были в чадрах. Вся эта разноплеменная, по разному одетая, разноцветная толпа шумела, как никогда не шумели люди в России, в Австрии, в Пруссии, даже в Париже. Ему в первую минуту показалось, что он попал на какой-то скандал. Кое-где орал так, точно сейчас здесь совершилось или совер-

шится убийство. Однако, ни скандала, ни убийства никто, по-видимому, в мыслях не имел. Было очень тепло, солнце всё заливало не лучами, а именно потоками света. «Какая-то световая вакханалия!» — по книжному, но с подлинным восторгом подумал Лейден. В этой вакханалии, в прозрачном, как ему казалось, чуть фиолетовом, воздухе, в диком жизнерадостном шуме этого нигде невиданного им человеческого моря был дурман. По дороге он вспомнил, что не оставил на чай лакею на судне: мысленно назвал себя скотиной. «Не возвращаться же!» Дал деньги носильщику и как умел объяснил ему, для кого они предназначаются. «Конечно, не отдаст, если даже и понял. Ну, что-ж, и ему надо жить!»

К приятному удивлению Константина Платоновича, меблированные комнаты у Галатской башни оказались очень приличными, лучше киевских, не хуже венских. Грек, очень любезный человек, говоривший по-русски и по-французски, повел его по мягким толстым коврам в хорошо обставленную по восточному, чистую комнату. В ней приятно пахло, — хозяин объяснил, что душит свои комнаты розовой эссенцией. Обещал тотчас послать за гидом, посоветовал сходить в турецкую баню в соседнем доме, прислал голубовато-синюю чашечку в медной подставке, с турецким кофе и тарелку сладкого печенья. Кофе было необыкновенное, — «отроду такого не пил!» Столь же необыкновенной оказалась и баня. Лейден просидел в ней с час, решил ходить каждое утро, вышел в состоянии радостной бодрости, какой давно не испытывал. «Да, в самом деле, всё вздор: и несчастья, и враги, и мысли о самоубийстве всё такой же вздор, как пуговка!» (опять ощупал шею, — ни следов!). «Право, произошло чудо! Константинопольское чудо!»

В гостиной его ждал гид, небольшой, очень худой человек с проседью в волосах и в бородке, с редкими черными зубами. Желто-зеленое лицо его было странное, как бы двух измерений: «Если провести плоскость от вершины лба к низу

подбородка, то на ней оказались бы и лоб, и глаза, и нос, и рот, точно всё это нарисовано». Одет он был бедно, старомодно, и с некоторыми претензиями: на нем были черный фрак с бархатными отворотами и металлическими пуговицами, оливковые брюки и гетры: так одевались при Первом Консуле. Всё было очень потерто и грязновато. «Похож на утопленника!» — подумал Лейден.

— Первый дрогман в Константинополе, — отрекомендовал гида хозяин. — Дрогман нашей гостиницы. Он всё знает, историю, достопримечательности, магазины.

Гид слабо улыбнулся. Улыбка у него была одновременно почтительная и ироническая. Он как будто этой улыбкой защищался от грубого обращения, к которому могли подать основание его профессия и бедность.

— Очень рад. Какие ваши условия? — спросил Лейден. Нисколько не будучи скупым, он, как деловой человек, не любил, чтобы с него брали больше настоящей цены. Плата, которую Константин Платонович мысленно перевел на рубли, оказалась скромной. Гид назвал цифру, робко на него глядя. Видимо, боялся лишиться клиента.

— Это обычная здесь плата, мосье. Полагается также завтрак, но я ем очень мало и не требователен, — сказал он. Лейден почувствовал неловкость (вечером морщился, вспоминая эти слова).

— Будем вместе и завтракать. Завтра утром и начнем, приходите пораньше. А вы хорошо говорите по-французски.

— Я говорю и по-немецки, и по-английски. По-русски, к сожалению, не говорю, — вежливо добавил гид. — Мой родной язык испанский. Не прикажете ли, мосье, сейчас проводить вас куда-нибудь? Вы, верно, пойдете обедать? Или, может быть, вам нужны папиросы? Наш табак лучший в мире, — сказал он. Гид видимо не очень уважал турецкие порядки, но гордился, что и в Турции есть что-то самое лучшее в мире. — Я всё могу вам указать. Разумеется, бесплатно: за время, потраченное на переговоры, клиенты не платят.

«Верно, получает утопленник от лавок процент», — подумал Константин Платонович благодушно: всё ему нравилось и всё казалось совершенно естественным.

— Да, да, мне надо обзавестись табаком.

— Тут рядом есть отличный магазин. Отсюда всё близко, вы, мосье, не могли выбрать лучше места, — сказал гид, отплачивая хозяину за любезность.

— Прекрасно, мы сейчас же и выйдем. Очень рад, что попал на такого хорошего гида.

— Я дрогман, — мягко поправил гид. — «Дрогман, так дрогман», — подумал Лейден. Это слово вызвало у него представление об опиуме, о гашише. Он не знал, что по-французски не говорят «драгоман».

— А как, о холере у вас в Константинополе теперь не слышно?

— Избави Бог! Никакой холеры нет! — сказал гид, испуганно оглянувшись на хозяина. У того на лице выразилось даже что-то вроде негодования: холера у нас!

— Вот это приятно! — сказал Константин Платонович. — Пойдем.

Действительно, по соседству оказались прекрасные лавки, в них продавались табак, чубуки, бусы, коробочки, ковры, восточные сласти, фрукты и овощи необычно ярких цветов. Константин Платонович купил папирос, маленькую коробку рахат-лукума и угостил гида. Тот рассыпался в выражениях благодарности, закурил, а два кубика рахат-лукума аккуратно завернул в бумажку и спрятал.

— Это я отдам деткам, — виновато сказал он.

— Возьмите больше, эффенди, — предложил Лейден, становившийся всё благодушнее. «Эффенди» было единственное известное ему турецкое слово; и то он не знал, можно ли так называть человека. Но постоянный словообмен «мосье» — «мосье» был скучноват и слишком обычен. Константину Платоновичу в этом городе хотелось говорить и даже вести себя возможно более по восточному. Дрогман слабо улыбнулся.

Они еще поговорили. Гид тотчас соглашался со словами

клиента. Если же говорил от себя, то его улыбка становилась еще более иронической, точно он высказывал не свое мнение, а чье-то чужое, быть может заслуживающее осуждения. Лейдену становилось все более его жалко.

— Так прикажете проводить вас к ресторану? Здесь недалеко есть ресторан с самой лучшей французской кухней.

— Нет, я немного погуляю, — сказал Лейден. — И притом, что-ж в Константинополе есть французские блюда? Я хотел бы чего-нибудь такого...

— У них есть и все блюда турецкой и греческой кухни, — сказал гид, знавший, что так в первый день говорят все туристы. — Завтра, если вам угодно, мы будем завтракать в Стамбуле. Но этот ресторан я вам особенно рекомендую, и лакеи понимают по-французски.

Гид объяснил, как пройти к ресторану, и простился. Оба остались довольны друг другом. «А я почему-то думал, что все они наглые люди. Этот, напротив, очень застенчивый... Ах, какой город! Я уверен, что, живи я здесь, ничего от моей тоски не осталось бы. Тятенька обиделся бы за Киев... Что и говорить, Киев чудесный город. Но Константинопольского солнца в нем нет, а тут ведь всё дело в солнце», — думал Константин Платонович, чувствовавший что-то вроде смущения по случаю измены Киеву.

II

The General said, there was no beauty in a simple sound, but only in an harmonious composition of sounds. I presumed to differ from this opinion and mentioned the soft and sweet sound of a fine woman voice. J o h n s o n. No, Sir, if a serpent or a toad utters it, you would think it is ugly².
Boswell.

Теперь он и гулять старался с в о с т о ч н о й в а ж н о с т ь ю и сам радостно улыбался своему тихому поме-

² Генерал сказал, что в простом звуке нет красоты; красота только в гармоническом сочетании звуков. Я не согласился с этим

шательству. С твердой земли было приятно смотреть и на море, так недавно внушавшее ему крайнее отвращение. Едва ли даже не в первый раз в жизни оно показалось ему в самом деле прекрасным. Как все, он восхищался красотой моря, но про себя думал, что ничего в нем красивого нет; скучное, однообразное зрелище, любая река гораздо лучше, не говоря уже о Днепре.

Ресторан по виду почти не отличался от петербургских или московских. При виде закусок, Лейден вдруг почувствовал необыкновенный голод. Лакей, говоривший по-французски, пододвинул ему стул, принес ту самую хиосскую анисовую водку дузику и то красное тенедосское вино, о которых говорил Тятенька. Дузика была действительно хуже русских водок, но недурна, а вино оказалось прекрасным. Константин Платонович заказывал больше наудачу. К константинопольской еде надо было бы относиться с особой осторожностью, но в этом городе его мнительность ослабела. Вдобавок, все вокруг ели с аппетитом и видимо никак не думали, что могут отравиться. Он стал с жадностью есть всё, что приносил лакей и к чему он не прикоснулся бы в Киеве или в Петербурге. Были поданы жареные моллюски, затем что-то фаршированное, что-то рубленое, что-то мучнистое, что-то очень сладкое. Всё было необыкновенно вкусно и непохоже на то, что он ел дома. Подавали крайне медленно. В России люди тоже не очень спешили, но здесь уж никто никуда не торопился. «И слава Аллаху! В отличие от нас, они не заражены, не отравлены с детства мыслью, будто надо что-то делать, к чему-то стремиться, куда-то спешить»... За соседним длинным столом весело обедала большая компания. Мужчины были в фесках, — быть может, и турки. Дамы, очевидно, мусульманками быть не могли. «А недурна та, что слева», — подумал Константин Платонович, допивая вино. Он не был гастрономом, но, как многие гастрономы, любил обедать один и в этом

мнением и упомянул о мягком и милом звуке прекрасного женского голоса. Д ж о н с о н. — Нет, сэр, еслиб такой звук издавала змея или жаба, вы нашли бы его безобразным.

расходился с Тятенькой. — «Ты следуешь Иосифу Волоцкому, он запрещал иосифлянам разговаривать за трапезой, «да не уподобляются свиньям, которые хрюкают, принимая пищу». Только это, братец, вздор: нет лучше, как почесать язык за едой», — благодушно говорил ему Тятенька. «Вот и в Киеве, как вернусь, буду один ходить в Английскую гостинницу. То-то Оля удивится. Что ж, собственно, ведь я еще не очень стар». Он чувствовал, что его назад в Киев несколько не тянет. «Южное вино довершает дело южного солнца... Именно, константинопольское чудо! Может быть, я и циник, и бесчувственный человек, но что ж я буду себя обманывать? Давно мне не было так хорошо и легко, как нынче. И, право, так именно и надо жить, как эти восточные люди... Враг? Но вызови в себе и к нему расположение, скажи себе, что ты его врагом не считаешь, что ты не только смерти, а никакого зла ему не хочешь, и станет легче не ему, — ему всё равно, — а тебе самому. В сущности, это даже единственный выход: все враги всё равно не вымрут, а и вымрут, так появятся другие»...

Когда Лейден, часа через полтора, вышел из ресторана, он не узнал города. День кончался. На улицах было тихо. Вдали купола и минареты сливались с воздухом. Вдруг слышался приятный заунывный крик. «Муэцин!» — догадался он и остановился, прислушиваясь с восторгом. «Неужто в с а м о м д е л е существуют муэцины! Господи, как хорошо!» — Теперь он не сомневался, что с ним произошло чудо, что он на шестом десятке лет жизни понял новую мудрость «Да, они, восточные люди, правы, а мы, европейцы, варвары! И нам у них надо учиться, а не им у нас! Как же они-то смотрят на смерть и загробную жизнь?» Константин Платонович старался припомнить то, что читал об этом в книгах по истории религий, смутно вспомнил о дервишах. Меньше всего знал именно о Коране и мусульманах.

Он вернулся домой, лег на диван, — турецкий диван был у него и в кабинете киевского дома. «Но здесь т у р е ц к и й — турецкий диван, и это совершенно иное дело», — думал

он. — «А кто это у Лермонтова дремлет, склонясь в дыму кальяна на цветной диван? Чуть ли не Тегеран?.. Смелый образ... Почему не говорят правды, когда большой поэт пишет плохие стихи? А еще кто-то там же в тени чинары льет на узорные шальвары пену сладких вин. И слова такого нет «чинара», а есть «чинар», и это платан, только «чинар» звучнее. Да, я якобы приехал сюда для платанов. А на самом деле всё это вздор, и совсем я не для них приехал. Я не знаю, для чего я сюда приехал. Видно, просто потому, что не мог больше жить так, как жил»...

Надо было бы написать жене: он обещал писать каждый день. «Но ведь всё равно письмо уйдет не раньше, как через неделю, на том же судне. Буду писать по несколько страниц каждый вечер, начиная с завтрашнего дня, обо всем, что увижу за день. Так наберется страниц двадцать...». Вспомнил, что в кармане пальто есть рахат-лукум. Достал, не без труда расклеил слежавшиеся теплые кубики, всё съел, запил теплой водой из кувшина и подумал, что никак не следовало бы пить сырую воду. «А здесь, на востоке, и умирать, верно, так же просто, как жить, или во всяком случае проще, чем у нас. Жил, помер, будут гурии, велик Аллах... Зачем только грек всё так душит своей эссенцией? «Восточная изнеженность?» Это тоже вздор». В комнате тикали стенные часы. Он в Киеве, случалось, говорил, что людей, приобретающих такие часы, или попугаев, или канареек, надо вешать. С Ольгой Ивановной однажды вышла ссора: не спросив его, она купила часы с кукушкой, он устроил скандал, она испугалась и вернула их в магазин. Однако, здесь, в Константинополе, ему и тиканье показалось уютным. Оно говорило: «Встань, встань, встань». Константин Платонович подвел под темп другие слова: «лежи, лежи, лежи». Часы согласились и на это. Лейден достал из чемодана туалетные принадлежности, ночную рубашку, мягкие туфли. Заснул, не потушив свечи. Огарок погас, выпустив фитилек со дна подсвечника.

Ночью были виденья, которых не было очень давно. Он проснулся с рассветом; как раз пропел петух, — и в этом

тоже было нечто успокоительное, восточное, хотя пехухов он постоянно слышал и в Киеве. «Где я? Что такое случилось счастливое?» — спросил он себя. — «Ах, да, Константинопольское чудо!» Не чувствовал своей, обычной по утрам, гнетущей тоски. Надел туфли, уютно, как в Киеве, подвернулся под пятку задок левой. «Встань... встань... встань», — мило, опять односложно, советовали часы. И с раннего утра он начал ту же приятную игру в восток. Подошел к окну. Утро было чудесное. Видна была небольшая мечеть. Под окном неторопливо шел человек в странном кафтане, постукивал остроконечной палкой по лежавшим на улице огромным, поросшим мхом камням: дошел до угла и вернулся. «Очевидно, ночной сторож». Издали со стороны мечети, сверху, опять послышался заунывный крик. «Муэццин зовет правоверных восславить Аллаха», — подумал Константин Платонович; и то, что он мог думать такими странными словами, было для него неожиданно. «Что ж, Магомет был наверное не глупее меня и даже не глупее тех философов, чьи книги у меня в Киеве стоят во втором шкапу...». Ему захотелось есть и пить. «Часов в восемь уже можно будет попросить чашку их чудесного кофе. Спрошу и дузики. Хотя Магомет кофе, верно, не знал, а пить водку строго запретил... Чудесный город, чудесная страна... Как я хорошо сделал, что сюда приехал!»

Несмотря на свой новый, мусульманский взгляд на жизнь, он после утреннего завтрака решил начать с дел и, к некоторому недоумению гида, сообщил ему, что хочет осматривать не дворцы и мечети, а сады, роши и плантации.

— Не знаете ли вы каких-либо садоводов и агрономов, которые понимали бы по-французски или по-немецки? — спросил он.

Дрогман, подумав, ответил, что знает, и повез его к старому немцу, давно жившему в Константинополе. Результаты оказались не обнадеживающими. Цветы в Турции были чудесные, но цветоводство первобытное, такое, каким верно

было при византийских императорах. Здесь всё делало солнце, без человеческой помощи. Немец продал Лейдену семена, а к его затее о платанах отнесся скептически. Константин Платонович осмотрел знаменитый константинопольский платан, которому будто бы было не меньше восьмисот лет. Турецкие платаны считались лучшими в мире. По совету немца, он отправился в греческую торговую контору. Греки смотрели на него с удивлением: деревьями не торговали, но, пошептавшись, сказали, что препятствий не видят: можно попробовать. Раздачу необходимого бакшиша контора охотно принимала на себя: это видимо было для нее привычным делом. Он навел справки о фрахте, тут же сделал подсчет и дал пробный заказ.

«Что же теперь-то делать? Приехал якобы выяснять дела, а вот за одно утро всё выяснил!» — подумал он, выйдя из конторы. Всё же побывал в еврейском магазине, торговавшем иностранными книгами. Там ему опять с недоумением ответили, что по агрономии и цветоводству у них книг ни на каком языке нет. Книги об Исламе, о дервишах нашлись. Затем Лейден съездил с гидом на пристань. Ближайшее судно уходило в Италию лишь через неделю. Это был английский пароход. «Вот хорошо! Я еще никогда на пароходах не ездил». Была свободна только одна каюта, двухместная. Немного поколебавшись, Константин Платонович заплатил за оба места. Тратиться не хотелось, но не хотелось и жить в одной каюте с другим пассажиром. «Быть может, еще будет храпеть или же потребует, чтобы в девятом часу гасить свечи? А ежели еще на беду начнется качка! Хотя и Средиземное, и Мраморное, и Эгейское совсем не то, что Черное».

Теперь можно было осмотреть город. Лейден и проделал в три дня то, что делали другие туристы. Дрогман оживился, перейдя к своим обычным занятиям. В святой Софии подробно рассказывал о падении Константинополя, о гибели последнего византийского императора, о том, как султан-победитель подъехал к храму верхом на коне и прикоснулся окровавленной рукой к стене, — вот отпечаток. Показал и другие ме-

чети, показал сераль, показал Сожженную Колонну, большой базар. Они поднимались на Галатскую башню. Побывали в пятницу на селамлике. Эта церемония показалась Лейдену малоинтересной: петербургские парады были гораздо пышнее; султан, нисколько не походивший ни на тирана, ни на фанатика, был не в раззолоченном мундире, а в черном сюртуке, большого блеска не было ни в чем. Когда дрогман предложил осмотреть еще Семибашенный замок и монастырь Балуклу, Константин Платонович запротестовал: довольно. Дрогман говорил о каких-то волшебных рыбках в подземном бассейне монастыря; Лейден отказался и от волшебных рыбок.

— Танец дервишей будет вечером. Может быть, вы до завтрака хотели бы взглянуть на рынок невольников? — спросил дрогман. Он очень оценил этого иностранца: в ресторанах Лейден заказывал ему то же, что ел и пил сам, или предлагал выбрать что угодно. Вначале гид сконфуженно отвечал, что ему всё равно. Ел он с жадностью, а когда лакея вблизи не было, незаметно кое-что завертывал в бумажку и прятал в карман оливковых брюк. «Ну, что ж, для деток», — думал Константин Платонович. Теперь, освоившись с клиентом, дрогман стал менее робок и не только улыбался, но иногда шутил и смеялся. Смех у него был странный, точно он чихал или кашлял, и всегда улыбка появлялась на его лице раньше, чем начинался шуточный рассказ. «Вот как молния предшествует грому», — думал Лейден. Свое достоинство гид по прежнему оберегал и, когда Константин Платонович спросил его, много ли в Константинополе гидов, снова мягко поправил: «Я дрогман». «Повидимому, это у него point d'honneur. Так у нас статский советник обиделся бы, еслиб его назвали надворным». Гид, которого он теперь мысленно называл не иначе, как Утопленником, был человек не лишенный образования. Раза два он в разговоре упомянул о Байроне и о Бальзаке.

— Какой рынок невольников?

— У нас в Турции продаются невольники, — сказал гид,

и его улыбка из иронической стала печальной и неодобрительной. Он знал, что после этого сообщения европейцы всегда выражают негодование — и идут смотреть рынок. Лейден негодования не выразил. «Что ж, у них люди продаются на рынке, а у нас в государственных учреждениях, хрен редьки не слаще», — подумал он.

— Далеко это? Успеем до завтрака?

— Конечно, успеем, если опять взять извозчика, — сказал гид.

По дороге он рассказывал о продаже невольников, тем же тоном, каким сообщал исторические сведения о мечетях и дворцах. Прежде продавались на рынках люди, которые в пору войн угонялись турецкими войсками из южной России, из Грузии, Армении, Персии. Отношение к ним всегда было хорошее. Если они были еще очень молоды и если их покупали высокопоставленные люди, то их тотчас обращали в Ислам, учили и воспитывали. При Солеймане I из бывших невольников выходили великие визири. А одна из его невольниц, дочь русского священника, стала любимой женой султана Роксоланой и правила Турцией. Ее воспевали лучшие поэты.

— Одни говорят, что она была ангел, а другие говорят, что она была изверг, — с улыбкой добавил дрогман, показывая черные зубы. — Теперь пленных больше нет, на рынке продаются люди из райи, чаще всего с их же согласия.

— Как это?

— Ну, что-ж, у какого-нибудь болгарина много детей, а есть нечего.

— Так, так, понимаю, — сказал Константин Платонович.

Извозчик шагом проехал по площади рынка. На табуретах сидели продававшиеся люди, взрослые мужчины, а больше женщины, девочки, мальчики. Никаких цепей, представлявших воображению Лейдена, на них не было. Некоторые невольники играли на странных грушеобразных инструментах. Другие лениво переговаривались с теми, кто их, очевидно, продавал. На площади было много голубей, и, как везде в Константинополе, бегали тощие собаки. Не было

женщин в чадрах: мусульманки на рынке не продавались. Была одна черная женщина, у нее через нос была продета цепочка из мелких серебряных монет, но это очевидно было украшением. При виде европейца, медленно проезжавшего в сопровождении гида, невольницы прихорашивались и улыбались такой же улыбкой, какой улыбались по вечерам женщины на Невском или на Крещатике. «Верно туристы тут х о т я т мысленно содрогаться», — подумал Константин Платонович. — «Но точно ли содрогаются? Почему же у нас «содрогался» — да и то по настоящему ли? — Радищев, а остальные, честные, хорошие люди и по сей день преспокойно пользуются благами крепостного права, самые либеральные из них покупают и продают мужиков». Обстановка была обыкновенная, разве чуть праздничная, как на Контрактах. Люди прохаживались мимо табуретов и поглядывали на продававшийся товар. «Тот же р я д, только человеческий». Он вышел из экипажа и пошел вдоль ряда, хоть ему было неловко перед дрогманом и извозчиком. Впрочем, они, по видимому, ничего странного тут не нашли: ежедневно возили туристов на эту площадь.

«Очень хороша эта зеленая», — подумал Лейден, ровнявшись с блондинкой в конце ряда. Около нее сидела старуха, очевидно не продававшаяся. Она что-то шепнула блондинке. Как раз в эту минуту прекратилась музыка. Блондинка засмеялась и что-то ответила старухе. Слов Лейден не понял, но ее голос и певучая интонация поразили его: «Точно речитатив в опере!». Он прошел дальше и этим видимо разочаровал обеих женщин. Константин Платонович сделал даже вид, будто просто переходил через площадь, как раз, по случайности, вдоль табуретов. Блондинка засмеялась ему вслед, смех у нее был особенно музыкальный и чрезвычайно приятный.

— Ну, хорошо, скажите ему, чтобы он ехал домой. Я устал и нынче ничего другого осматривать не буду, так что вы мне больше не нужны, — сказал он дрогману и, увидев испуг на его лице, добавил: — разумеется, я вам заплачу за

весь день и за завтрак. А вечером пойдем в самом деле посмотреть на дервишей.

В коляске он оглянулся на площадь и увидел, что к блондинке подходил какой-то седобородый турок. «Может быть, он ее и купит?» — с досадой подумал Лейден. — «Собственно и я мог бы ее купить, если не очень дорого. Разумеется, с тем, чтобы тотчас отпустить ее на волю. Почему же именно ее, а не других? Да и что она сделала бы с волей?».

— Мосье, быть может, обратил внимание на эту светло-волосую женщину, — сказал гид. — Она в самом деле очень красива.

— Кто? — как бы рассеянно спросил Константин Платонович.

— Эта блондинка, сидевшая со старухой. Старуха, кажется, ее мать, — пояснил дрогман. Лейден подумал, что уж тут непременно надо содрогнуться, и не содрогнулся. «Ну, что ж, конечно, в этой стране всё другое, смешно к ним применять наши мерки и требования, вдобавок и у нас весьма невысокие. Может ли быть в этом воздухе, под этим солнцем настоящее понятие греха? И в чем ручательство, что их моральные понятия хуже наших? Ежели исходить из счастья, то они наверное счастливее, чем мы. Нет, здесь есть подлинная поэзия, в которой можно найти и настоящее высокое религиозное начало».

Расставшись с дрогманом, он купил папирос; теперь курил очень много: уж очень хорош был табак. «Возможно, что это и способствует моему странному состоянию: турецкий табак, турецкое кофе, турецкая баня, турецкое вино». Лейден посидел в кофейной и в первый раз почувствовал, что ему скучно. «Конечно, изумительный город, но общество, хотя в малой дозе, везде необходимо, даже такому нелюдиму, как я». Спросил себя, хотел ли бы, чтобы тут же за столиком сидел Тятенька. «Что ж, поболтать с ним можно было бы», — подумал Константин Платонович.

Об Ольге Ивановне он себя на этот раз не спросил.

Однако, вернувшись в гостиницу, точно за что-то себя наказывая, сел за письмо к жене. Это письмо он действительно начал писать на следующий день по приезде. В первый день описал путешествие, на второй день — меблированные комнаты, дрогмана, баню, на третий сообщил о немце, о делах. Теперь можно было описать рынок. Он написал о женщине, которую продает мать, но подумал, что это по счету уже шестнадцатая страница. «Где же Оле всё это читать, надо знать меру».

И опять он почувствовал, что лжет: знал, что если он напишет и пятьдесят страниц, то Ольга Ивановна прочтет всё несколько раз. Сначала раза два для себя, на черн о, — нет ли чего-либо такого, чего другим читать не надо? Интимные страницы обычно бывали в его письмах, он их оставлял под конец: таким образом Ольга Ивановна, читая письмо на ч и с т о, вслух дочёри, могла ей сказать: «Ну, а там дальше ничего интересного, там т а к». Лиля в подобных случаях притворялась, будто не понимает, в чем дело, или же, чтобы сделать тайное удовольствие матери, скромно п о т у п л я л а в з о р; это у нее тоже выходило очень мило. Затем, он знал, выдержки из его письма еще будут читаться Тятеньке и кратко пересказываться другим приятелям. И Тятенька скажет: «Куда его нелегкая понесла! Жил на дому, а оказался на Дону!». Другие же будут спорить: «Что вы, Тятенька! Такая интересная поездка, просто зависть берет».

Он описал Святую Софию, рассказал о кровавом пятне на стене, затем начал описывать зеленую башню и положил перо. «Ведь платье у той шельмы было желто-красное. Я ее назвал зеленой потому, что у нее зеленые глаза!.. А голос у нее точно необыкновенный, смеха я никогда такого не слышал. Жаль, что купил верно проклятый турок. Верно, и та Роксолана умела так смеяться»... Собрался было писать дальше, но перо было плохое, и очинить его было нечем. «Скажу, чтобы дали другое, потом допишу, еще есть время».

III

...Le repos que la vie a troublé³.

Lecoute de Lille.

— Дервишей вообще очень много, — рассказывал по дороге гид. — Есть воюющие дервиши, есть пляшущие дервиши, есть мунсихи, есть хайрети, есть эшраки. Обычно иностранцы ходят смотреть пляшущих мевлеви, но я сегодня покажу мосье таких дервишей, которые очень на них похожи и всё-таки не совсем как они.

— Да зачем же они пляшут? Какой тут смысл?

— Для того, чтобы это понять, надо быть ученым мусульманином, а я не мусульманин и не ученый, — сказал дрогман, смиренно-иронически улыбаясь. — Конечно, мы с мосье не стали бы плясать для того, чтобы выразить наше отношение к смерти и к Богу. Но таков у них тысячелетний обычай. Кажется, тут дело в идее круга: по их учению, жизнь есть круг, а в центре круга Аллах. Все люди рождаются на равном расстоянии от Бога. Затем начинается пляска жизни. Одни пляшут молча, другие пляшут и воют..

Так это и есть жизнь: плясать и выть?

— Я ведь не говорю мосье, что это я так думаю. Я просто так о них слышал. Может быть, это неверно, — ответил гид с кроткой улыбкой. — Они танцуют по кругу, и понемногу начинают понимать, что Бог в центре всего, что на каждого из них льются его лучи. Дервиши совершают полный круг, затем приближаются к центру. Не удается в первый раз, проходят второй круг или третий. А когда конечно, это смерть, то есть слияние с Богом. У них самое важное: смерть... Так по крайней мере мне объяснял один ученый человек.

— Что-ж, как символ это совсем не худо.

³ ...Отдых, потревоженный жизнью.

— Это даже, может быть, очень глубоко, — поспешно сказал дрогоман.

— А какое происхождение этих дервишей?

— Происхождение их самое разное, в зависимости и от ордена. Самый влиятельный орден это Мевлеви, орден пляшущих дервишей. Их шейх один из самых высокопоставленных людей Турции. Когда новый султан венчается на царство, то его в мечети Эйюба этот шейх опоясывает мечом Османа. Такова их привилегия. Попасть к ним трудно. Надо пройти искуc в 1001 день, и если чем-нибудь нарушить правила хоть в один из этих дней, то нужно всё начинать сначала. Это всё тоже связано со смертью, но как, я не знаю... Часто сын дервиша становится тоже дервишем, однако принимают людей и со стороны. Иногда в орден уходят пожилые люди, желающие замолить свои грехи. А есть и такие дервиши, которые и состоя в ордене ведут грешную жизнь... Я слышал, что между ними есть и неверующие, — сказал дрогоман, понизив голос, хотя извозчик, который их вез, по французски не понимал. — Вероятно, мосье слышал о франк-масонах? Их во Франции очень много. Говорят, что некоторые дервиши поддерживают тайную связь с франк-масонами.

— Ну, это вздор! — сказал Лейден. Он встречал в Киеве, в Петербурге людей, бывших масонами в прошлое царствование, и они очень мало походили на дервишей.

— Я и не утверждаю, что это так, — опять испугавшись, сказал дрогоман. — У нас только такой слух. Но я знаю, что есть дервиши, которые ничего не признают. Говорят, они атеисты! Другие их очень не любят. Дервиши делятся вообще на две ветви: люди, признающие закон, это ветвь Ба-Шар, и люди, не признающие закона, это ветвь Би-Шар...

— Ба-Шар и Би-Шар? — повторил Константин Платонович.

— Вот мы и приехали. Прошу мосье говорить здесь очень тихо, хотя мы и будем сидеть на местах для европейцев. Что-ж делать, они фанатики.

М. АЛДАНОВ

Они вошли в небольшой двор. По обеим сторонам его тянулись невысокие строения. Дрогман объяснил, что здесь живут холостые дервиши; женатые могут жить у себя дома с тем, чтобы два раза в неделю проводить ночь здесь; у шейха есть отдельное помещение, у него много слуг и лошадей.

В галлерее для посетителей уже почти все места были заняты европейцами. Восьмиугольный зал был освещен довольно ярко. Пол был устлан ковром. Гид шопотом объяснил, что баранья шкура на ковре это то место, где будет находиться шейх. — «А оркестр вон там», — показал он в другую сторону. Галлерей была освещена слабее. Все в ней переговаривались вполголоса. Преобладала английская речь.

«Ба-Шар и Би-Шар, — думал Лейден. — Я всю жизнь жил по закону. Как Ба-Шар. Но я не знал, что есть орден Би-Шар, т. е. что люди заранее сговариваются жить без закона. Впрочем, может быть, тут просто игра слов: вероятно, они под законом разумеют обряд? Однако неверующие среди них могут толковать закон и иначе... Видел ли я Би-Шаров в жизни? Революционеры? Но я их не знаю, за исключением разве польских повстанцев. А кроме того, у них есть свой закон. Здесь на Востоке Би-Шары наверно совершенно иные». — Он вспомнил о женщине с зелеными глазами.

— А вот я всё не могу забыть этот ваш невольничий рынок, — сказал он дрогману, еще понизив голос. — Неужели европейцы покупают там людей?

— Да, покупают, но я этим не занимаюсь, — ответил шопотом дрогман. — Есть гиды, которые на этом наживают хорошие деньги. А я, извините меня, не могу по своим убеждениям. Я помогаю в какой-угодно торговле, только не в торговле людьми.

«Этот болван верно решил, что я через него хочу купить рабыню!» — сердито подумал Константин Платонович.

— Надеюсь, что вы этим не занимаетесь, — сухо сказал он.

Одна из дверей зала отворилась, стали входить худые бледные дервиши, в длинных зеленоватых одеяниях, в странных высоких закругленных сверху шапках. Они отвешивали низкий поклон у бараньей шкуры. Лейден смотрел на них с любопытством и не без сочувствия. Были и совсем молодые безусые люди, были и старики. Он обратил внимание на одного из них. «Вот этот седой со страшным лицом наверное Би-Шар, из тех, что много и по разному пожили! Замаливает грехи? Зачем же, если он Би-Шар?».

— Шейх! — прошептал дрогман. На баранью шкуру стал древний старик, в котором с первого взгляда можно было признать начальника. Он прочел молитву. Дервиши, скрестив на груди руки, повалились на пол, образовав точный круг, в котором их тела были радиусами, а шейх центром. В ту же секунду заиграл оркестр. «Теперь они сосредоточивают мысли», — шепнул гид.

«Сосредоточивают мысли на чем?» — спросил себя Константин Платонович. — «Едва ли эти люди, лежа на полу, да еще в присутствии неверных, могут сосредоточить мысли на чем-либо священном. Верно думают каждый о своих делах... Странная мелодия... Печальная, очень однообразная, но приятная... Какие это инструменты? Флейты, что ли? Странно: значит, какой-то философский балет? А я и до простого балета не охотник. Не так уж неправ был Цицерон: танцовать могут только пьяные или сумасшедшие»...

Дервиши поднялись, низко поклонились шейху, широко раздвинули руки и опять образовали правильный круг. Седой человек, которого Лейден признал Би-Шаром, закружился, то же сделали все другие. Поочередно все стали кружиться вокруг шейха. «Как планеты вокруг своей оси и вокруг солнца». Музыка играла всё быстрее. Так же ускорялась пляска. Лица у плясавших становились всё бледнее. Круг понемногу расстраивался, дервиши то приближались к шейху, то удалялись от него, то скрещивали руки, то простирали их вверх, вперед, в стороны. Шейх обводил их взглядом, изредка вскрикивал и всплескивал руками. «В этом, правда, есть нечто демо-

ническое», — подумал Лейден. — «У меня и у самого начинается от них кружиться голова!.. У того старого на губах пена! Лицо без кровинки, он сейчас свалится!..»

Его мысли спутались. «Где же мое Константинопольское чудо? Если то восток, то это не восток. Там благодущие и почти животная радость жизни. Здесь... Здесь Би-Шаризм? Правда, в каком-то смысле это, быть может, совместимо, хотя и плохо... Но если во мне сидит Би-Шар, то отпадают и мои давешние добрые чувства», — с огорчением подумал он. — «И в самом деле, вздор это, будто я могу вызвать в себе добрые чувства к врагам. Какие у меня могут быть добрые чувства, например, к людям Третьего Отделения: сколько ни вызывай, не вызовешь, они-то и есть главные Би-Шары, хотя прикидываются Ба-Шарами. И Петра Игнатьевича я тоже никак не полюблю: он крепостник, лгун и хам. А здоровое человеческое чувство именно в том, чтобы считать хама хамом... Но когда же я ошибался, вчера или сейчас?»...

Вдруг сзади блеснул свет. Дверь отворилась. Вошли два человека, они еще очевидно не приспособились к тишине галлерей. Лейден оглянулся, услышав вместо полусопота обыкновенные голоса. Вошедшие говорили по польски.

— Виер! Ян! — воскликнул он.

Тот из двух поляков, что был повыше ростом, уставился на него в изумлении. По его лицу как будто скользнула досада. Так по крайней мере показалось на мгновение Константину Платоновичу. На них оглядывались с разных концов галлерей.

IV

Иls parlèrent d'eux-mêmes, ce qui est toujours la plus agréable et la plus attachante des causeries⁴.
Maupassant.

Четвертью часа позднее они вдвоем сидели на террасе кофейной. Дрогман ушел, очень довольный тем, что не надо

⁴ Они говорили о себе. Это всегда самый приятный и увлекательный разговор.

оставаться до конца церемонии: он ее видел сто раз. Ушел и второй поляк. Виер познакомил с ним Лейдена, но фамилии произнес невнятной скороговоркой. Константин Платонович крепко пожал руку нового знакомого. Как многие русские, чувствовал себя виноватым перед поляками. Товарищ Виера сказал по польски что-то очень учтивое, затем пошептался с Виером и простился.

— Он не говорит по русски, он к о р о н и я ш, — сказал Виер.

Еще во дворе монастыря дервишей было сказано: — «Да быть не может!» — «Какими судьбами?..» — «Вы здесь!» — «Как ты оказался в Константинополе?..» — «А вы?..» Теперь они не знали, с чего начать разговор. Лейден заказал себе кофе, а Виер еще и на р г и л е.

— В Константинополе надо поступать, как турки, — сказал он, смеясь. Виер говорил по русски совершенно свободно, почти без акцента. Это был довольно высокий красивый горбоносый брюнет, лет двадцати восьми, не очень похожий на поляка. Глаза у него были большие, черные, очень серьезные. — Да, какая встреча! Вот не ожидал!

Он не сказал, что рад встрече. Этого Константин Платонович не заметил, но от него не ускользнуло выражение досады, проскользнувшее в первую минуту на лице молодого человека. «В чем дело? Чем же он может быть недоволен?».

— Так ты знаешь Константинополь?

— Да, немного знаю.

— Правда, необыкновенный город?

— Необыкновенный ли город? — сказал Виер. У него была привычка переспрашивать или отвечать вопросом на вопрос. — Да, в некоторых отношениях необыкновенный.

— По моему, каждый город что-то воплощает. Наш Киев воплощает уютный покой, Петербург — барство, а Константинополь радость и мудрость жизни, но какую-то фантастическую радость и фантастическую мудрость. Здесь чувствуешь, что жить надо иначе, совсем не так, как жил... Париж верно выражает действие.

— Действие, вытекающее из идей. Париж поэтому самый лучший город в мире... Да как же всё-таки вы сюда попали?

Константин Платонович рассказал о своих делах и планах. Виер слушал внимательно, но как будто больше из учтивости. И по мере того, как Константин Платонович рассказывал, ему становилось всё яснее, что рассказывать незачем.

— Ну, да это тебе не интересно.

— Напротив, очень интересно, как всё, что вас касается, — учтиво сказал Виер. — Так вы едете в Италию? Значит, вернетесь не скоро? Жаль. Я рассчитывал побыть с вами в Киеве. Как Ольга Ивановна? Лиля верно уже совсем большая? А Тятенька что?

— Ты едешь в Киев?

— Да, я буду и в Киеве.

— Но надеюсь, ты еще пробудешь в Константинополе? Давай завтра пообедаем вместе.

— К сожалению, никак не могу: я завтра утром уезжаю.

— Завтра утром? Да ведь и корабля никакого нет.

— Я еду сухим путем, хочу еще побывать в разных землях Турции.

— Экая досада! И никак нельзя отложить?

— К сожалению, нельзя. Быть может, мы еще увидимся в Киеве? Вы ведь говорите, что к весне вернетесь.

— Я надеюсь, что ты у нас остановишься? — Лейден подумал, что верно Ольга Ивановна будет не так рада этому приглашению и что в самом деле оно не очень удобно, если его самого в городе не будет.

— Спасибо, это очень мило с вашей стороны. Я во всяком случае к ним зайду. Я тоже путешествую по делам. Одна торговая фирма послала меня закупать в России разные товары.

— Почему же ты не поехал морем через Штетин? Это гораздо проще: теперь у вас в Европе уже почти везде и железные дороги.

— А так приятнее. Да я и в Турции должен кое-что

приобрести для моей фирмы. Мы торгуем и табаком. Турецкий табак лучший на земле. Вы ведь курили?

— Курил и курю, даже слишком много, — сказал Лейден, всё больше чувствуя, что они придумывают темы для разговора. Лакей принес кофе и трубку.

— Молодцы турки, что выдумали эти трубки... Кажется, у вас есть такая языколомка: «Турка курит трубку, курка клюет крупку», — сказал Виер, отлично выговорив эти слова. — Молодцы турки, — повторил он после первого недолгого молчания.

— Молодцы-то они молодцы, но вот что я вчера здесь видел. Я своими глазами видел, как мать продает дочь!

Он рассказал о рынке невольников.

— Разумеется, ужасно. Но у вас собственно то же самое, только продаются люди по купчим крепостям, — сказал Виер. Хотя Константин Платонович сам так думал, ему это замечание было неприятно.

— Ты говоришь «у вас». Помимо того, что ты российский гражданин, ты должен принять во внимание, что польские паны тоже имеют крепостных.

— Да, это правда. Правда и то, что в Европе польские паны крепостных не имеют. Что же касается невольницы, о которой вы говорите, то... Вы никогда не слышали о графине Софье Потоцкой?

— Нет. Кто это?

— Она была греческой невольницей в Константинополе. Ее здесь, может быть на том же самом рынке, продала ее мать. Купил наш посол Лясопольский, это было еще до третьего раздела Польши. И он ее не то продал, не то подарил графу Потоцкому. Она была необыкновенная красавица. После смерти графа на ней женился русский генерал Витт. Что-ж, всё это та же власть денег, которую теперь справедливо осуждают передовые люди.

— Ты, может быть, сен-симонист или фурьерист? Я знаю, ты всегда сочувствовал всему этому...

— Сочувствовал ли? А как же не сочувствовать? Я знаю,

что такое бедность. Однако я не фурьерист и не сен-симонист, а бланкист.

— Это еще что такое?

— Бланки французский революционер, один из самых замечательных и благородных людей Франции. Впрочем, вы не интересуетесь политикой.

— Так ты в наши места, в Россию, совсем не вернешься? У нас легко найти работу, и я мог бы тебе...

— Я вернусь не в Россию, а в ту часть Польши, которую вы захватили, вернусь тогда, когда она освободится, — перебил его Виер.

— Я Польши не захватывал, и русский народ за это не отвечает.

— Нет, отвечает. Всякий народ отвечает за свое правительство. И не Бенкендорф, не Орлов, не Дуббельт, а Пушкин написал «Клеветникам России»!

— Случайная ошибка гения. «Но зачем же ты едешь в Россию при таких чувствах?» — хотел спросить Лейден и не спросил.

— Поговорите обо всем этом не с поляками, а с вашими же русскими казаками, с теми, которые живут в Турции.

— Я что-то о них слышал. Что это за люди?

— Это так называемые казаки-некрасовцы. Они говорят на чистейшем русском языке и исповедуют православную веру, но русское правительство ненавидят. В пору войны 1812 года они желали победы французам, а Наполеона боготворили, хотя никогда его не видели.

— Они, что ж, турецкие подданные?

— Подданные султана и даже верноподданные. Турки к ним очень хорошо относятся. Турки и вообще оклеветанное племя. Нет народа терпимее, чем они. Они были терпимы еще в ту пору, когда на западе была инквизиция.

— Мне тоже очень нравятся турки, но всё же кто устраивал всевозможные погромы и резню?

— Резня у турок происходила реже, чем у западных на-

родов. И резню обычно устраивали не они, а курды или янычары.

— Да янычары-то кто же были, если не турки?

— Среди янычар турок было мало. Янычары в большинстве были дети христиан, а то евреев, обращенные в мусульманскую веру. Турки их всегда ненавидели, да и султаны тоже. Но султаны их боялись: они ведь устраивали все перевороты, убивали султанов. И обычаи у них были соответственные. Когда янычары хотели поговорить с султаном, они поджигали один из кварталов Стамбула. По закону, падишах должен выезжать из сераля на большие пожары, вот тогда они с ним объяснялись и добивались всего, что хотели. Ведь Магомет истребил янычар именно тем, что поднял на них турок. Когда они лет двадцать тому назад устроили одну из своих очередных штучек, султан велел поднять на серале знамя Пророка и призвал правоверных и регулярные войска. Турки расвирепели и истребили всех янычар. Так они и закончили свое существование.

— Каюсь, мне такие нравы не очень нравятся.

— Что ж делать? Так, надеюсь, закончат существование и ваши собственные янычары.

— А ты расскажи подробнее об этих казаках.

— Это очень хорошее племя. Красивое, даровитое, терпимое. При них живут греки, армяне, евреи, и они к ним относятся прекрасно. Управлял ими 92-летний казак Солтан, мудрый был старец.

— Вот как? Ты, значит, был у них?

— Да, проездом. Кое-что и у них купил.

— И они опять мечтают о войне?

— О войне никто не мечтает. Война просто неизбежна. Никто не мечтает о том, чтобы вечером зашло солнце. Но оно вечером зайдет, а утром будет рассвет. Так и война. В отличие от вас, народы не вечно будут терпеть Николая!.. Впрочем, я напрасно разгорячился. Я прекрасно понимаю, что всё же такие русские, как вы, за Николая не отвечают. Если я что сказал не так, пожалуйста извините.

Помилуй, за что же мне сердиться? Ты думаешь, я сам люблю Николая Павловича? Но, во первых, плетью обуха не перешибешь....

— Смотря какой плетью!

— А во вторых, это всё... Ну, как сказать? Это всё земное. Конечно, земное. Каким же ему быть?

Ненавижу войны и революции. Грязное, брат, дело. Война одно, революция другое.

Нет, не обманывай себя: это одно и то же.

— Да и войны бывают осмысленные.

— Не бывает таких войн. В какой это войне три тяжело больных короля гонялись друг за другом на носилках? Помните, это Карл V, Франциск I и Генрих VIII? Так их бы всех поместить рядышком в дом умалишенных. Им бы о душе было подумать, а они вот каким занимались делом!

— Чем же надо заниматься? Платанами?

— Уж много лучше платанами... Ты о смерти думаешь? спросил Лейден. В последнее время он нередко задавал этот вопрос новым людям и приводил их в недоумение.

— Думаю ли о смерти? Этим делу не поможешь.

— Какому «делу»? В бессмертие души веришь?

— Ведь, кажется, теперь все сходятся в отрицании личного бессмертия.

— Я тебя спрашиваю не о «всех», а о тебе. Да и вовсе не все сходятся. Ты Платона читал? Хорошо, знаю, Платон это не «теперь», Сенека тоже нет, но Кант это уже «теперь».

— Впрочем, тут спорить не о чем. Всё равно человек по природе оптимист. Докажите ему как дважды два четыре, что вечной жизни нет, что жизнь есть юдоль слез и бедствий, а он всё-таки будет жить и наслаждаться жизнью, пока может.

— Именно, пока может. То есть, очень недолго. Впрочем, с тобой об этом разговор еще бесполезен, ты слишком молод. Но что же всё-таки вас, молодых, поддерживает? Неужели только инстинкт веселья и бодрости, как у котят?

— Инстинкт веселья? У меня его очень мало, — ответил

сухо Виер. — Да что же притом делать? Нам никто не предлагает жить вечно.

— Кое-кто «предлагает», — ответил Лейден и поделился с ним мыслями о бессмертии. Упомянул и о философии дервишей, о которой только что узнал. — Ты во всё сие, конечно, не веришь?

— Не верю.

— Что же, повторяю, тебя поддерживает? Я хочу спросить: чем ты духовно живешь?

— Чем живу? — переспросил Виер с усмешкой. Тема разговора показалась ему слишком отвлеченной и несколько странной для первого разговора после долгой разлуки. «Какой-то экзамен! Да и что тут можно сказать нового?» — подумал он. — Меня всё-таки гораздо больше интересует жизнь, чем смерть. А жизнь это борьба за идеи. Да собственно и смерть тоже. По крайней мере, так должно было бы быть. Уж если вы спрашиваете, то жить надо... Не говорю «надо героически», потому что это звучит нескромно и чересчур торжественно. Но во всяком случае надо чему-то служить. Вот в том смысле, в каком Фридрих II говорит: «Ich dien». Только этот деспот служил злу... Помните «Unsterblichkeit» Шиллера: «Vor dem Tod erschreckst du! Du wünschest, unsterblich zu leben? — Leb im Ganzen! Wenn du lange dahin bist, es bleibt».

— Знаю этот ответ! Утешение слабое, брат. Если бессмысленна каждая отдельная жизнь, то не разумнее и жизнь человечества в целом. Сумма нулей равна нулю... Ладно, оставим эту тему. А чему же, кстати, ты служишь? Польше? Ты, однако, по крови не совсем поляк.

— А вы по крови не совсем русский, — сказал Виер. Лицо его покрылось пятнами. Он пожалел, что заговорил о политике. Это было и не очень конспиративно. Лейден был честнейший человек, но настоящий конспиратор не должен был и хорошим людям из чужого лагеря открывать свои политические взгляды. — И я служу Польше постольку, поскольку она теперь представляет общечеловеческий идеал.

Хорошо, а вы-то чем живете? Наверное, не «Wein, Weib und Gesang», хоть вот вы интересуетесь невольницей, — пошутил он.

— Какой вздор!

— Я знаю, что вздор. А то я не посмел бы так шутить с вами. Не думайте, что я забываюсь.

— О любви человеку моих лет и думать глупо. Женщины, брат, на меня давно и не смотрят, — сказал Константин Платонович. Он подумал, что ему не следовало бы вообще так говорить с человеком вдвое его моложе.

— Не смотрят? — переспросил Виер. — И на меня тоже не смотрят.

— Это, брат, врешь. На тебя верно заглядываются, и ты на них заглядываешься. А я теперь вроде как те дряхлые обезьяны, которым уже не под силу карабкаться на деревья; они ждут, вдруг с дерева что-либо им само свалится.

— Им обычно и сваливается, — ответил, смеясь, Виер, тоже несколько удивленный словами и тоном Лейдена. — Но я здесь слышал итальянскую поговорку: «Chi vuol fare sua rovina prende moglie Levantina», — «кто хочет себя погубить, пусть сойдется с левантинской женщиной»... А как же ваша милая жена и Лиля?

— Ничего, у них всё благополучно. Ты знаешь и по-итальянски?

— Немного. Читаю свободно.

— Я тоже... Так непременно заходи к ним в Киеве, — сказал Лейден, спрашивая себя, можно ли уже встать или надо посидеть еще минут десять. — А знаешь, брат, я ведь в ранней юности твоей оказал на тебя влияние. Ты тоже любишь копаться и в своей, и в чужой душе. Не обижайся, это так.

— Оказали влияние? За что же мне тут обижаться? — спросил Виер. Он подумал, что если уж кто на него оказал влияние, то Мицкевич, Шиллер, Бланки, а никак не этот мистически настроенный агроном, правда, очень порядочный человек, оказавший много услуг его матери.

Обижаться незачем, я только констатирую факт. А в общем, мой молодой друг, живи своим умом. По словам Тягеньки, Руставели сказал: «Выслушай советы ста мудрых людей, а затем следуй голосу собственного ума и сердца».

— У меня, к сожалению, нет ста мудрых советчиков. Я и живу своим умом просто, никого не спрашивая.

«Какой он стал вдобавок надменный!» — с неудовольствием подумал Лейден. — «Задатки были и тогда, когда он еще был совсем мальчишкой».

— Так, быть может, и надо. Но мудрые советчики тебе, по твоей юности, пригодились бы, — холодно сказал он. — Боюсь, наделаешь, брат, много глупостей.

— Увидим. Вот вы советуете мне жить своим умом и для этого совета ссылаетесь на авторитет: на Руставели.

— Одно скажу тебе как старший: держись ты подальше от всех этих Бланки. Это может кончиться нехорошо.

Виер засмеялся.

— Действительно, может... Вы — на авторитет, так и я на авторитет, хотя и скверный. Тот же Фридрих кричал в бою своим бегущим солдатам: «Собаки, вы, что ж, хотите жить вечно?»

V

Ah! said Coningsby, I should like to be a great man⁵.

Disraeli.

О происхождении Яна Виера ходил рассказ, который он сам слушал с легкой улыбкой.

Во время морских маневров, устроенных в Голландии в честь Петра Великого, царь обратил внимание на ловкого юнгу с очень красивым лицом семитического типа. Это был сын бедного португальского еврея Мануэля Виера или Дивьера или де Виера. У Петра была слабость ко всему экзо-

⁵ Ах! — сказал Конингсби, — я хотел бы быть великим человеком.

тическому, ко всему необычному, ко всему свободному от вековой косности московского государства. Так другой еврей Шапиро стал при нем первым русским бароном Шафировым, и породнился с шестью семьями рюриковичей и гедиминовичей. Так третьему еврею д-Акоста, уж совсем ни в каком отношении не выдающемуся, царь пожаловал титул «самоедского короля», подарил остров на Финском заливе и вел с ним долгие беседы и философские споры, тоже впрочем вероятно шутовские. Так сделало удивительную карьеру при Петре немало других людей. Так негритенок Ганнибал, — «Абрам Арап», как его называл Петр, «черный Абрам», как он называл себя сам, — кончил свою жизнь русским губернатором.

Юнга голландского судна тут же на маневрах был награжден талером и принят на русскую службу. Скоро он стал генерал-адъютантом и был назначен первым генерал-полицеймейстером созданного на берегах Невы П а р а д и с а. Дивьер был ловок, энергичен, жесток, честен, не брал взятки, хорошо пил, имел веселый, жизнерадостный характер, — всё это нравилось Петру. После разных скандалов, Царь заставил Меншикова, ставшего благодаря сходным качествам светлейшим князем и самой могущественной особой в государстве, выдать за Дивьера свою сестру. Московские рюриковичи ахали при вестях о таких карьерах. Для них и бывший нищий пирожник был не лучше генерал-полицеймейстера. Карьера Дивьера шла бурно, но этим в ту пору никого удивить было нельзя. Он бил людей, и его били люди. Он порол, и его пороли. Он пытал, и его пытали — впрочем, уже после смерти царя, который до конца был к нему милостив. Екатерина I пожаловала Дивьеру графский титул; а годом позднее новопожалованный граф, генерал и сенатор был вздернут на дыбу, бит кнутом и сослан в Сибирь, по проискам и к великой радости его злейшего врага и свойственника Меншикова. Поводом же к столь жестокой каре было то, что Дивьер, — вероятно, в пьяном виде, — во дворце, в пору «прежестокости болезни пароксизмуса» императрицы, «вертел» ее племянницу

Софью Карлусовну Скавронскую, «не отдал должного рабского респекта государыне цесаревне Анне Петровне» и, смеясь, «в своей продерзости говорил ее высочеству, сидя на той кровати: «О чем печалишься? выпей рюмку вина», а также «против государыни цесаревны Елизаветы Петровны не вставал и респекта не отдавал, и смеялся о некоторых персонах». Быть может, в самом деле **прежестокый пароксизм** царицы не вызвал большого горя у Дивьера. В нем едва ли были очень сильны верноподданические чувства вообще, а к этой царице в особенности. Возможно и то, что о некоторых персонах он действительно смеялся, так как, насколько можно судить по очень скудным сведениям о нем, характер у него был насмешливый и непочтительный.

Впрочем Дивьер не пропал и в Сибири. При Анне Иоанновне был определен там на службу, с жалованьем в триста рублей в год, да хлеба всякого по сту четвертей, да вина простого по сту ведер в год. А при Елизавете Петровне, которая, несмотря на его продерзость и на свой антисемитизм, была повидимому к нему расположена, Дивьеру были возвращены титул, чины, именья и должность петербургского генерал-полицеймейстера. Умер он генерал-аншефом, быть может вспоминая голландские синагоги времен своего детства.

Этот жизнелюбивый красавец имел огромный успех у женщин. Обожавшая его жена была старше его и чрезвычайно некрасива. Ходили слухи, что, кроме законных детей, у него было немало незаконных. В старину незаконным детям знатных людей часто давались сокращенные фамилии их отцов, — так, например, внебрачные дети князей Оболенских становились Ленскими без титула. Возможно, что от одного из сыновей первого генерал-полицеймейстера и в самом деле произошел Ян Виер. Другие впрочем говорили, в объяснение странной фамилии, что его предком был известный врач и путешественник Виер, тоже человек смешанной крови и неясного происхождения, автор книги о сифилисе «*De morbo gallico*». Мать его была полька. Она была очень бедна и

Лейден, знавший ее с детских лет, нередко дружески помогал ей, — она рано овдовела.

Учился Виер в польской школе и получил очень хорошее, но странное воспитание, в котором католическая вера смешивалась с национально-революционными взглядами. Учителя оценили его характер и способности и возлагали на него большие надежды, а один из них даже предсказывал ему великое будущее. Лет с шестнадцати он и сам стал мечтать о жизни, которая была бы непохожа на жизнь других людей. Как почти все поляки, как большинство очень молодых людей, он любил военное дело, бредил о том, как станет великим полководцем, как поведет польскую армию в бой за освобождение родины. Эти мечты кончались то принятием короны в Вавеле, то смертью на поле брани с историческим восклицанием вроде «*Finis Poloniae*». Позднее, когда он вырос, это прошло, он перестал заниматься фехтованием, перестал развивать в себе физическую силу и любоваться бицепсами перед зеркалом. По правдивости своего характера он критически относился к легендам. Иногда даже спрашивал себя, действительно ли Косцюшко, падая с лошади раненый, мог что-то воскликнуть по-латыни и неужели его восклицание поняли и запомнили взявшие его в плен казаки? О карьере полководца он перестал думать, но для Наполеона и у него в душе осталось особое место. Теперь он в нем видел, как и Мицкевич, лишь «человеческое воплощение идеи», — идеи великой революции.

После окончания средней школы мать отправила его, с легальным паспортом, учиться в Париж. Для этого было передано ее небольшое имение. Новая свободная жизнь его пленила. Природная религиозность в нем скоро ослабела. Виер в большие праздники бывал в Notre Dame, богослужение потрясало его красотой, но он потерял веру в некоторые догматы католической церкви, что тщательно скрывал от матери, — для нее это было бы страшным ударом. Он был принят в одну из масонских лож, однако и туда ходил редко; всё не мог понять, что это такое: если религия, то ее ритуал

смешно и сравнивать с церковным, — настолько он хуже, беднее, прозаичней; если же это политическая организация, то зачем ритуал? Не нравилось ему и то, что масоны слишком хвалили друг друга, что, например, все речи, произносившиеся в ложах, обычно объявлялись глубокими, замечательными, необыкновенными, тогда как ему самому многие из них казались посредственными и скучными. Кроме того масоны говорили о всеобщем братстве и равенстве, на деле же это не осуществлялось: среди них были бедняки и революционеры, но были также богатые люди, в политике державшиеся очень умеренных, а то и просто консервативных взглядов. В отличие от многих западных людей, Виер не думал, что убеждения сами по себе, а жизнь тоже сама по себе. Неравенство во всех его видах было ему противно.

Из революционных групп ему всего больше нравились самые крайние. Он съездил на Луару к Бланки. Несмотря на рекомендательные письма, глава революционеров, по своему обыкновению, заподозрил в нем было полицейского агента. Но уж очень не походил на шпиона этот молодой поляк с задумчивыми, часто останавливавшимися, глазами и с румянцем, бывающим у людей, обреченных чахотке. Бланки занялся им и стал выбивать у него из головы то, что казалось ему дурью. Когда услышал о «человеческом воплощении великой революции», только засмеялся своим горьким, неприятным смехом. Очень скоро Виер стал бланкистом; это слово уже пользовалось признанием.

В сущности ничего общего и с Бланки у него не было. Тот всё строил на ненависти; она характеру Виера была довольно чужда. По неопытности он думал, что возможны настоящие революционеры, руководящиеся чувством любви. Ему казалось, быть может ошибочно, что некоторые поляки его с в о и м не считают: предок был португальский еврей, ставший русским графом (сам он не был уверен, что происходит от графа Дивьера), среди родных были православные малороссы. Он всё чаще, хоть не всегда, думал, что национальность большого значения не имеет, что в этом Бланки,

быть может, прав. Тем не менее Россию и русских Вьер не любил. Впрочем, делал и исключения. К Лейденам с ранних лет чувствовал расположение.

Он был одаренным человеком. Любил живопись и даже кое-что в ней понимал: столько, сколько в ней может понимать не-художник. Разумеется, романтиков предпочитал классикам. «Гамлет и могильщики», «Взятие Константинополя крестоносцами» потрясли его. Очень его волновала и музыка. Конечно, он и здесь следовал преобладающему мнению своего времени; Россини и Мейербера считал вершинами музыкального творчества, но один из первых в Париже оценил и Бетховена. Несмотря на свою бедность, не пропускал концертов Листа. Хорошо знал он и литературу. Байрона почитал больше на веру и из за его биографии, — английский язык знал плохо. Ламартином и Гюго восхищался, но в общем французскую поэзию не очень любил; вначале не понимал, что во французских стихах главное не в ритме, и даже не в рифме, и уж, конечно, не в мысли. Был изумлен, когда француз-поэт сказал ему, что лучшие два стиха в мировой литературе это «On dit même qu'au trône une brique insolente — Veut placer Aricie et le sang de Pallante». И хотя немцев он любил неизмеримо меньше, чем французов, гораздо больше восторгался Гете и особенно Шиллером. Отдавал должное и Пушкину, которого, по слухам, высоко ставил Мицкевич. Гоголя и Бальзака недолюбливал. Мицкевича же по настоящему боготворил и знал наизусть едва ли не всё им написанное. Пробовал и сам писать стихи, но почувствовал, что это не его дело. «Любовь к искусству при отсутствии талантов скорее печальная черта. Может быть, с этим связан мой интерес к политике и даже моя революционность», — думал он иногда.

Незадолго до окончания университетского курса он получил известие, что мать его тяжело больна. Вьер тотчас вернулся в Россию, но матери в живых уже не застал. Лейден, отечески к нему относившийся, устроил дело так, что Виеру досталось около пяти тысяч франков: Константин Платонович доложил из своих тайно, так как знал, что Ян, теперь уже

почти взрослый, подарка не принял бы, особенно от русского. Виер снова легально выехал за границу.

В Париже он стал жить бережливее прежнего. Решил никакой платной работы не искать и стать революционером. Революция именно в ту пору, впервые в истории, начинала становиться профессией; но оплачивалась эта профессия чрезвычайно скудно. Он жил в крошечной комнате на пятом этаже, поднимался по крутой лестнице с удовлетворением, — так и полагается, при бедности народных масс, жить порядочному человеку. Мясо ел не каждый день. Знакомый врач при нем весело говорил, что для борьбы с похотью нужно есть поменьше мяса, устриц и сельдерея, — «да гораздо умнее с похотью не бороться, поэтому ешьте, молодые друзья мои, всё что любите и что позволяет кошелек». Виер слушал не улыбаясь; кошелек позволял ему немногое; он перестал есть и дешевый сельдерей.

Женщинам он нравился так же, как граф Дивьер, но пользовался этим неизмеримо меньше. Особенно нравились им его глаза. У него была привычка долго и пристально вглядываться в людей; тогда взгляд его казался холодным и тяжелым. Мужчин это раздражало: «Что это он изображает Николая I! Думает верно, что всех видит насквозь, а на самом деле ровно ничего не видит, всё от таких глаз отскакивает!» Женщины же находили, что этот взгляд к нему необычайно идет. В ранней юности у него была долгая связь с крестьянкой; мать опасалась, что он на этой крестьянке женится. Были у него романы и в Париже, чаще платонические и всегда романтические. Приятели считали его холодным человеком. Это было ему неприятно. Впрочем, он думал, что таковы были и многие люди больших дел, как Робеспьер. «Говорят, и Бланки таков. Вдруг это в особенности характерно для революционеров? Их страстность уходит в революционную деятельность, в фанатизм?» Его в истории особенно интересовали люди, считавшиеся фанатиками. В жизни он их не встречал. В фанатики себя почти бессознательно и готовил. Жил аскетически не только потому, что был беден. Он вел философско-политический дневник, но

имел и тетрадку расходов. Для гостей держал коньяк, но сам пил лишь редко. Вел суровую жизнь из гордости, а гордость у него усиливалась от суровой жизни: так не жил никто из его товарищей. Оттого, что многие считали его странным человеком, странность его усиливалась. Женщины защищали его от нападок друзей. Но и друзья считали его человеком исключительных душевных качеств. «На слово Яна я без колебания доверил бы честь, жену, всё что имею!» — сказал о нем приятель, любивший пышную речь. Другой впрочем пожал плечами и подумал, что денег у его собеседника нет, жена его безобразна, а честь вообще передоверить нельзя: что человек может сделать с чужой честью?

У одного видного польского эмигранта Виер случайно встретился с Андреем Товянским. Об этом человеке в польской эмиграции ходили таинственные рассказы. Говорили, что он как-то странно, мистическим образом, излечил от тяжкой болезни жену Мицкевича, или, по крайней мере, предсказал ее исцеление. Говорили также, что он имеет свой план нравственного переустройства мира, исходящий из слов святого Павла: *ut omnes unum sind*. Кое-кто считал его сумасшедшим. В самой наружности Товянского, в его простых, величественных приемах обращения было нечто привлекательное и внушавшее уважение. То, что он проповедывал, очень легко могло вызывать насмешки. Но люди, оказывавшиеся в его обществе, над ним не смеялись, — даже тогда, когда он говорил, что в него вселилась душа Наполеона или что он иногда с Наполеоном беседует. Как и другой польский мистик, Гене-Вронский, он проповедывал идеи польско-еврейского мессанизма. Вронский, имевший в Париже «Bureau du Messianisme» и издававший «Bulletins Messianiques», утверждал, что у поляков есть «ожидание правды и надежда на добро», а у евреев «надежда на правду и ожидание добра». Товянский проповедывал идею трех исторических Израилей: еврейского, французского и польского. Настоящий смысл обоих утверждений понять было трудно (если вообще в них был смысл). Однако Товянский производил сильнейшее впечатление на самых разных людей,

от бедняков до Ротшильда. Его страстный поклонник и последователь Мицкевич в годовщину разрушения Иерусалима являлся в парижскую синагогу и там произносил непонятные речи, к большому неудовольствию раввина, не понимавшего, почему и по какому праву католик хочет проповедывать в синагоге. Мицкевич, ссылаясь на Товянского, предсказывал, что скоро появится Мессия у обоих народов.

Предсказывал же вообще Товянский не очень удачно. В 1842 году он предсказал, что король Людовик-Филипп умрет до окончания года, и был за это выслан из Франции. После его отъезда в Париже было основано тайное общество, состоявшее из «семерок». Его делами заведывало «Божье правление», в котором Товянский именовался Учителем, а Мицкевич Наместником. В одну из «семерок» попал и Виер. Но скоро он убедился в том, что делать обществу решительно нечего, и перестал ходить на заседания. А затем прошел слух, будто Товянский стоит за сближение с Россией и хочет написать письмо Николаю I. Это постепенно отдалило от него громадное большинство поляков. Западные же революционеры, особенно французы, недоумевали и прежде. Они почти все были неверующими людьми и только пожимали плечами, слушая рассказы своих польских товарищей о Товянском. — «C'est un mystique, quoi!» — говорили они, когда не говорили: «C'est un fou». Недоумевали и немцы, хотя прекрасно совмещали революционность с немецким национализмом. Но польские товянисты, не столько умом, сколько всем своим существом, были убеждены, что никакого противоречия у них нет.

Быть может, Товянский всё же не так заинтересовал бы Виера, если бы не близость к этому мистика Адама Мицкевича.

Многие поляки — да и не только поляки — уже в ту пору справедливо считали Мицкевича великим поэтом. Но он был эмигрант, к нему ходили в гости, с ним пили чай в разных домах, иногда и сплетничали о нем, как обо всех других. Того культа, который после смерти великого писателя

он может внушать никогда не видавшим его людям, вокруг Мицкевича быть не могло. Случалось и так, что его осыпали насмешками и даже грубой бранью. Он сам тоже не был в восторге от эмиграции. «Зарубежные газеты называют меня изменником... У нас те же глупости продолжаются, и ссор всё больше. Это стало хроническим явлением. Часто говорят о широкой амнистии. Думаю, что значительной части наименее скомпрометированных людей будет разрешено вернуться. Многие были бы почти готовы уехать в ад, лишь бы только вырваться из эмиграции... Французы вынуждены меня защищать от моих соотечественников, которые называют меня еретиком (благочестивые люди!), а также москалем», — говорил он в своих письмах.

Виер давно знал, что в эмиграции, которую он всё-таки любил, все друг друга ненавидят и друг над другом издеваются. Поэтому он ни малейшего значения сплетням не придавал. Тотчас после его приезда в Париж общие знакомые предложили ему познакомить его с Мицкевичем. Он отказался: вдруг при знакомстве разочаруется? Но, как влюбленный, ездил к дому поэта в Батиньоль и долго гулял по бульвару в надежде его увидеть. По случайности же увидел его в первый раз, совершенно неожиданно, в двух шагах от себя, в дешевеньком ресторане около польской библиотеки. Мицкевич что-то читал. К нему подошел лакей, поэт оторвался от книги, и Виеру показалось, будто в глазах у него было «неземное выражение». Заказал он бифштекс, прибавил что-то вроде «*bien cuit, s'il vous plait*». Виер был в восторге: он слышал голос автора «Дедов».

Впрочем, несмотря на насмешки над Мицкевичем, почти все польские партии старались привлечь его к себе. Он изредка бывал у князя Адама. Встречался и с врагами Чарторыйских, как будто был ближе к республиканцам, но вместе с тем боготворил Наполеона почти так же, как его самого боготворил Виер.

Опять по случайности, как раз тогда, когда деньги у Виера почти вышли, кто-то сообщил ему, что в Отеле Лам-

бер ищут энергичных людей, хорошо знающих русский язык и имеющих возможность легально проехать в Россию. Он удовлетворял этим условиям. Тем не менее колебался: позволяют ли ему его убеждения работать с польскими консерваторами, да еще получая от них деньги?

В Париже на углу quai d'Anjou и rue Saint-Louis-en-L'Île, стоит великолепный дом, с давних пор, по имени первого владельца, называющийся Hôtel Lambert. Построил его в семнадцатом веке для важного чиновника знаменитый архитектор Луи Лево. Над украшением дома немало поработали лучшие художники и ваятели, жили в нем в разное время разные богатые люди, аристократы или откупщики; иные его украшали, другие портили, почти все переделывали и перестраивали. Жил в нем Вольтер, бывал в нем Наполеон. Бальзак упоминает об этом доме, как об одном из чудес Парижа. В 1840 году купил Hôtel Lambert и поселился там старый князь Адам Чарторыйский, человек с большим прошлым и в польской, и в русской, и даже в западно-европейской истории, когда-то министр иностранных дел Александра I, давний кандидат на польский престол, находившийся по эмигрантскому положению уже не у дел, не всеми признанный, многим ненавистный, глава польской эмиграции в мире.

Как и другие эмиграции в истории, польская эмиграция делилась на направления, партии, фракции. Все они сходились в ненависти к правительству Николая I и к России. Все были убеждены, что между Россией и западным миром неизбежна война. Но демократическая часть эмиграции возлагала большие надежды на восстания в западных странах. Аристократы же, вождями которых были князь Чарторыйский и его племянник граф Замоиский, чрезвычайно боялись всех народных восстаний и надеялись на существовавшие монархические правительства, больше всего на французское и английское, порою на австрийское, прусское и даже турецкое. Расхождения были очень острые. Тем не менее в гостиницах Отеля Ламбер, с расписанными Лебреном потолками, а летом в неболь-

шом, высланном косыми плитками, дворе, из которого за двумя колоннами вела вправо и влево прекрасная старая двойная лестница, постоянно бывали и поляки другого лагеря, часто очень не любившие князя. По сторонам двора тяжелые двери открывались в помещение нижнего этажа. Там бесплатно учила польских детей княгиня Анна Чарторыйская. Она же помогала наиболее бедным из эмигрантов, кому явно, кому тайком, старалась мирить тех кто был в ссоре, выслушивала просьбы, жалобы, даже попреки ее богатством. Ее муж был теперь далеко не так богат, как прежде: его русские имения были конфискованы после войны 1830-31 года.

Как обычно бывает в эмиграции, у каждого течения был один человек с большим именем, и много людей, за это имя иногда с ненавистью цеплявшихся. Но польские эмигранты понимали, что у иностранцев все их имена выветрились или выветриваются из памяти. Иностранные министры еще считались, да и то с каждым годом всё меньше, лишь с князем Чарторыйским. После смерти Таллейрана он был едва ли не старейшим дипломатом Европы; даже многие русские послы в свое время были его подчиненными. К демократам он старался относиться хорошо. Некоторые из них считали возможным поступать к нему на службу, когда дело было общенациональное. Князь Адам нередко рассылал эмиссаров в разные страны. Люди с его поручениями ездили в Польшу, в Россию, в Турцию и даже на Кавказ, к Шамилю. Поручения бывали разные и все строились на уверенности в неизбежности европейской войны.

Престарелый князь умел быть очарователен, когда хотел, и любил обольщать польских революционеров. Виер был ему представлен. Говорилось о возможности совместной работы: политические расхождения не должны мешать польским патриотам действовать заодно, по крайней мере в особых случаях. Как ни скромн был Виер, ему не могло не польстить то, что князь Адам разговаривал с ним как с равным. «Хотя говорил он со мной всё-таки немного и так, как, например, король

ласково разговаривает с бедными детьми, которых угощает в своем дворце», — с улыбкой думал Виер.

Поездка по Европе в качестве тайного эмиссара увлекла его своим романтизмом. Было и другое. Он был влюблен в польскую барышню, жившую недалеко от Киева. Ее отец, небедный и небогатый помещик, знал его с детских лет, относился к нему хорошо, но едва ли хотел бы выдать за него свою дочь. Виер был уж слишком беден, незнатен, не занимал в обществе никакого положения и даже не имел профессии: ремесло революционера, вероятно, повергло бы помещика в полное изумление, если не в ужас.

В Отеле Ламбер желали, чтобы вновь принятый на службу эмиссар после Турции побывал в Киеве и Петербурге: надо было узнать настроение украинского и русского населения: как оно относится к возможности войны, и есть ли надежда на восстание? Виер принял поручение, выговорив себе право после его исполнения расстаться с их организацией. — «Разумеется. Это право остается и за вами, и за нами», — сказал ему с легкой усмешкой Замойский, вообще менее любезный с революционерами, чем его дядя.

Осенью 1847 года Виер и отправился в Турцию с поручением к казакам-некрасовцам. В этом году ездил в Константинополь и сам Замойский, но он путешествовал открыто, почти официально. Агенты же, выполнявшие тайные поручения, особенно отправлявшиеся затем в Россию, должны были, разумеется, соблюдать конспирацию. Поэтому случайная встреча с Лейденом и была неприятна Виеру.

Конспирация была плохая, но и Третье Отделение работало не лучше. Путешествовавший по торговому делу русский подданный Виер проехал в Киев совершенно беспрепятственно, не должен был скрываться и никакой опасности не подвергался. Если б это было не так, он не посетил бы Лейденов.

Ему впрочем и не очень хотелось встречаться с русскими друзьями. Как раз перед отъездом из Парижа он прочел о разных новых делах Николая Павловича. Приказывал царь, но исполняли, на всех ступенях, от министров до городских,

бесчисленные русские люди. «Нет, прав Кюстин, нехороший народ, все они в душе рабы!» — думал Виер, несмотря на свои убеждения, которые в ту пору еще не назывались интернационалистическими.

VI

Седина женатому почетна, холостому досадлива. А то и ни сединочки нет, да весь плешив.

Народная мудрость.

Пароход отходил на следующий день. Лейден простился с дрогоманом и дал ему лишний золотой. Тот рассыпался в словах благодарности и цветисто говорил о великой северной стране, о благородных людях, относящихся и к бедному дрогоману, как к равному человеческому существу. Предложил даже помочь в укладывании вещей, хотя это было несовместимо с достоинством, которое он так тщательно оберегал. Лейден от его услуг отказался, сам уложил вещи и действительно уложил очень плохо, еще хуже, чем предвидела жена. Он ничего, кроме трех книг, в Константинополе не купил, но еле стянул ремни на главном чемодане; да еще сбоку из под кожи высовывалось что-то белое.

Константин Платонович погулял по городу. Несмотря на то, что он уже начал здесь скучать, уезжать было нелегко: придется ли когда-либо всё это увидеть снова? С тягостным чувством вспоминал и о вчерашнем разговоре с Виером. Впрочем, ничего особенно неприятного сказано не было; они обнялись на прощанье и выразили надежду, что скоро встретятся в Киеве. «Вот, он и ее сын, и вроде моего воспитанника, а оказалось, совершенно чужой человек, не о чем было разговаривать. Да, большая преграда национальность, и дружеские чувства не выдерживают долгой разлуки».

В ресторане лакей уже сам, без его заказа, принес ему рюмку дузики и бутылку Тенедоса, приветливо улыбался и говорил о погоде. Даже это вызывало огорчение у Констан-

тина Платоновича: никогда больше в жизни не увидит этого лакея. После жаркого он от грусти и из любознательности спросил, есть ли у них хорошее белое вино. Лакей закивал головой и принес бутылку Исмиа. Расплачиваясь, Лейден сообщил, что завтра уезжает. — «Ах, как жалко! Счастливого пути, мосье», — сказал лакей и выразил надежду, что мосье приедет опять. «Едва ли», — подумал Константин Платонович. У дверей оглянулся, обвел ресторан взглядом и удивился своей сентиментальности. На улице он почувствовал, что гулять не в состоянии. Нанял извозчика по часам и кое-как объяснил, что хочет совершить прогулку по городу.

Теперь Константин Платонович уже всё в Константинополе знал и почти не смотрел на дворцы и мечети. Он думал о философии дервишей. Ему всё больше казалось, что в их идее круга и особенно в делении людей на Ба-Шаров и Би-Шаров есть нечто очень глубокое и важное. «Что-ж делать, каждому свое. Я, очевидно, рожден Ба-Шаром и никакой другой жизни в этом мире знать не буду. А дальше по радиусу подойду к центру: там вечная загадка разъяснится... Прожил с плясками, но без воя. А может, надо было с воем? Да и плясок было мало, а в этом мире люди живут только раз», — нерешительно говорил он себе. Думал также о том, сколько ушло у него денег и не следовало ли бы купить несколько рубашек, а то к Флоренции останутся только грязные. «Не войдут в чемодан, и опять переключивать не хочется. Куплю в Италии и обзаведусь еще чемоданом. Там верно и дешевле»... Константин Платонович с досадой замечал, что у него всегда мысли о важном и значительном смешиваются с самыми пустыми соображениями.

Вино на южном солнце выделялось из пор как будто быстрее, чем в России, но Лейден всё-таки был не совсем трезв. На улицах было то же столпотворение. Он печально поглядывал на толпу, теперь особенно чужую. Вдруг он заметил, что они выезжают на площадь, на которой находился рынок невольников.

Почему-то это его взволновало. «Довольно катался, те-

перь погуляю, полезно пройтись». Он остановил извозчика, расплатился, подождал, пока извозчик отъедет, и только тогда вышел на площадь. Еще издали увидел что зеленоглазая невольница сидит на прежнем месте и разговаривает со своей матерью.

На площади по прежнему бегали худые собаки, ворковали голуби, звучали инструменты. «Никакой нет причины подходить к ним, иди прочь, старый дурак!» — сказал себе Лейден. Обе женщины тотчас его узнали. Невольница с радостной улыбкой кивнула ему головой. «Теперь тем паче надо бы уйти!» — подумал он и подошел к ним.

— Добрый день. Как вы поживаете? — сказала мать на ломаном французском языке.

— Я хорошо, а как вы? — ответил он и почувствовал, что его слова глупы. Вдруг дочь с улыбкой обратилась к нему по русски:

— А я знаю, кто ты, господине. Ты русский.

— А ты кто? — изумленно спросил он. Ты не русская.

— Я не русская. Я из Эноса, — ответила она. — Там живут казаки, бывшие ваши, а таперича турецкие. А я у них по вашему выучилась.

— Что же ты у них делала?

— В баштанах работала, огурцы солила. Казаки, по бумаге с турком, не имеют право работать землю. А они нанимают нас или евреек. Мы у них всё делаем.

— И хорошо у них жить?

— Там дыни, — сказала она. — Ах, какие дыни! Лучше здешних.

— Ну, так что же?

— А меня там старики не любили.

— Какие старики?

Она подняла брови, точно удивлялась его невежеству. Удивленный вид очень к ней шел: ее зеленые глаза становились еще лучше. «Черты лица у нее не очень правильные.

Нос вздернутый, глаза слишком широко расставлены. Но мила необыкновенно».

— Дай мне золотой, — сказала она. — Вот спасибо. А у казаков кому пятьдесят лет, тот старик. Как здесь паша.... Нет, не паша, а меньше. А ты еще не старик, господине, — польстила ему она. — Казаки старикам говорят вы. А я тебе говорю ты, значит люблю тебя. Ты не молодой. Это что-ж, ничаво.

Скоро и я буду стариком. За что-ж казаки тебя не взлюбили?

— А так. — Она засмеялась. — А что мне у них делать? До смерти солить огурцы? А я красивая.

Мать слушала их разговор с недоверчивым видом, но, повидимому, не понимала ни слова. Она нагнулась к дочери и что-то ей сказала вполголоса.

— Что она говорит?

— А она говорит, чтобы ты меня купил.

— Купил! Зачем я тебя куплю?

— Ты знаешь, зачем, — ответила она и засмеялась опять. — А я недорогая, господине.

Она назвала свою цену, действительно не очень высокую. В России ревизская душа стоила дороже, даже если душа была простой девкой.

В кухмистерской они пили водку и вино. «Что же это я сделал? С ума сошел!» — растерянно думал Константин Платонович. — «Ну, понятно, я ее тотчас отпущу на волю, так что это доброе дело... Видно нашло затмение в этом зачарованном городе, вот и еще чудо Константинополя! Никогда в России крепостных не имел, так обзавелся на старости лет турецкой рабыней!».

Но как он себя ни ругал, чувствовал, что давно не был так весел. «Чего же ждать? Сначала допьем бутылку. Мне нынче нечего делать, а ей верно и деться некуда. Что я с ней буду делать?» — спрашивал себя он, глядя на нее. Повидимому, она отлично знала, что он будет с ней делать. «Голос,

право, что у Каталани. Только глаза наглые. Добрые и наглые, это бывает». Скоро она перешла на французский язык. На нем говорила гораздо лучше. К некоторому его недоумению, она на вопросы отвечала невпопад, точно не понимала. Ее слова казались бессвязными. Впоследствии он убедился, что это было не совсем так: она только отвечала не сразу: часто впрочем и совсем не отвечала.

— Где же ты научилась по французски? — спросил он по русски. Его веселила ее русская речь. Она иногда вставляла старинные или простонародные слова и выражения, очевидно сохранившиеся точно в ее звуковой памяти; выходило странно и забавно.

— Вон тот старик такой богатый! — сказала она с восторгом, показывая на человека, сидевшего в углу за чашкой кофе. — Он в феске, но еврей. Я хотела, чтобы он меня купил, да он не купил. Значит, старый.

— А тебе всё равно, кто тебя купит?

Она улыбнулась.

— Дай мне два золотых. Я люблю кто щедрый. Вот, спасибо.

Так ты меня любишь?

— А здесь все говорят по французски. А я к языкам очень способная. Я хочу в Париж. Возьми меня в Париж. Я тебя люблю.

— Да я туда и не еду. И никуда я тебя не возьму. Я верну тебя твоей матери.

Она весело засмеялась.

— А какая она моя мать? Я с ней встретила в прошлом году. А ты глупый, всему веришь. Вот я умная. И ты переплатил. Она увидела, что с тебя можно взять много грошей.

Почему-то это ее сообщение было ему приятно. Он впрочем и раньше догадался, что старуха не мать ее: сходства между ними не было никакого, и ушла старуха, еле простившись с «дочерью»: только кивнула головой, оскалив зубы и как бы поздравляя обоих. «Понимаю: если дочь про-

дают родители, то у покупателя больше доверия», — подумал он.

— Кто же твои родители?

— Мать моя была маркитантка. Служила у паши. А потом у грека была. Он строил.. Как это называется? Арсенал. Потом балакали, что он был шпион.

— Как шпион?

— А так. У инглезов был один важный князь в Миссолонги, он за греков воевал.

— В Миссолонги? Байрон, что ли?

— Может, и Байран. А грек за ним был шпион, если не ввали люди. Может он был мой батюшка, а может и не он. Может был турок или сербин или болгар. А я знаю? Это что-ж, ничаво.

— «Это что-ж, ничаво», — передразнил ее он. Она засмеялась и опять он подумал, что никогда такого голоса и смеха не слышал.

А ты кто, господине? Ты барин?

— Нет, не барин.

— Ты врешь, — сказала она. — А я вижу, что у тебя много грошей. Я всегда знаю, у кого много грошей. Тогда человек ходит как паша! Ты богатый, а говоришь, что бедный. Так многие делают. А другие бедные, а говорят, что богатые.

— Да не всё ли тебе равно?

— Как же всё равно? Это не всё равно, кто богатый, а кто бедный! А ты женатый?

— Да, я женат.

Она вздохнула.

— Я люблю тебя. А ты меня любишь? Дай, я тебе погадаю, — сказала она и взяла его за руку.

— Ты умеешь гадать?

— Умею, но еще не добре умею. Буду учиться, а здесь плохо учат. А я в Париж перееду и стану добрая гадалка. — Она опять перешла на французский язык. — Гадать я умею

по французски. Вот видишь, это линия жизни. Ах, какая у тебя длинная! Ты будешь жить сто лет! Болеть будешь, но будешь жить как казак Солтан. А вот этот бугорок у тебя маленький. Это бугорок мудрости. Значит, ты глупый, — удовлетворенно сказала она.

— Спасибо. А если я за дерзость накажу тебя? — пошутил он. — Ты моя раба.

Она засмеялась еще более звонко. На нее ласково оглянулись мужчины с разных сторон кухмистерской.

— Видишь, ты глупый, — сказала она, снова по русски, чтобы не поняли соседи. — Ты всё веришь. А какая я твоя раба? Я свободная и всегда была свободная. Это старуха всё выдумала. И хорошо выдумала, так платят больше, особенно инглезы. Жалко, что ты не инглез: они богатые. Ты будешь мне давать много грошей? А сколько?

— Как же вы не боитесь так обманывать иностранцев? Ведь я могу пожаловаться полиции, — сказал он с досадой.

— Поедем в Париж. Все инглезы едут в Париж. А никто никогда не жалуется: стыдно будет и что хотел купить, и что надули. А почему ты сердитый? Я не раба, но всё равно, что раба, только давай мне много грошей, — сказала она. Язык у нее уже немного заплетался от вина, как впрочем и у него. — А твоя жена здесь?

— Нет, она осталась в России... Ну, что-ж, можешь идти на все четыре стороны, — сказал он. При мысли об Ольге Ивановне ему вдруг стало стыдно. Блондинка удивленно на него взглянула.

— Как идти? На четыре стороны? На какие четыре стороны? Почему?

— Потому что я Ба-Шар, а не Би-Шар!

— Что ты говоришь? Не понимаю. А куда я теперь пойду?

— Это твое дело! К твоей дорогой маменьке.

— А зачем ты меня купил? Нет, я не пойду на четыре стороны. Не хочешь теперь дать гроши, я подожду. У меня

есть, она мне платила мою часть... А только мало, — добавила она, спохватившись. — А где ты живешь?

Немного поколебавшись, он сообщил свой адрес. Она одобрительно кивнула головой. Знала эти меблированные комнаты и их владельца.

— В Париже гадалкам добре, — сказала она. — А он добрый человек. Богатый. У него мы можем жить два: ты и я. У него можно. Он много полиции дает.

«Прожил до седых волос, не зная, что я Би-Шар, прикидывающийся Ба-Шаром или почти Ба-Шаром!» — думал он всё более растерянно. И, к его изумлению, эта, как будто покаянная, мысль наполняла его душу радостью. «Она предлагает, чтобы я отвел ее к себе! Но ведь выйдет скандал, это может стать известным! Как же это станет известным?.. Или разве на одну ночь? Ведь я уезжаю... А то вернуть билет? Переменить?.. Что же ей ответить?» — спрашивал он себя и смутно чувствовал, что вопрос уже решен, что он всё равно побывал бы на рынке, если б его туда не привез случайно извозчик.

— Нет, ты уходи куда знаешь. Ты совершенно свободна.

Она насмешливо смотрела на него.

— А я не кончила гадать, — сказала она и опять взяла его левую руку. — Ах, будет у тебя беда!.. В твоей комнате две кровати? Одна? Это хорошо. Я никогда не храпею... Беда тебе от одной женщины! Но ты не бойся, она уже старая. И у нее есть один молодой, — говорила она, внимательно на него глядя. — У тебя большая комната?

— Большая.

— А кровать широкая?

— Широкая.

— Я не люблю когда узкая. А я чистая... И блох у меня нет. Дай мне золотой за гаданье, — сказала она. — Вот спасибо.

VII

Перикл был так влюблен в Аспазию, что целовал ее два раза в день, уходя от нее и возвращаясь к ней.

Антисфен.

Жизнь в Верховне была привольная, мешали мало, неизмеримо меньше чем в Париже. Но только теперь Бальзак почувствовал, как устал: от забот, от болезней, от каторжного труда, быть может вообще от жизни, несмотря на свою жадную любовь к ней.

К графине приезжали соседи, чтобы познакомиться со знаменитым человеком; официально всё было в порядке: он приехал погостить к друзьям. Бальзак до пяти часов дня работал в своем помещении, куда ему приносили завтрак, а в пять всегда спускался в гостиные. Понимал, что о б я з а н говорить: люди приезжали, чтобы его послушать. Однако особенно для них не старался: это было не то, что разговаривать с Гюго, Гейне, Ламартином. Ему очень нравились необыкновенно учтивые и жизнерадостные, умевшие жить, польские помещики. Внимательно приглядывался и к ним. Бальзака особенно интересовали французы, но неинтересных людей для него вообще, вероятно, не существовало.

В первые дни он разрабатывал и свой план продажи леса во Францию. У графа Мнишека как раз были леса недалеко от австрийской границы. Бальзак писал письма, наводил справки, спрашивал о мостах на Эльбе и на Рейне. По начальному расчету, на деле можно было нажать миллион двести тысяч франков. Потом прибыль сократилась: четыреста двадцать тысяч. Наконец, выяснилось, что будет большой убыток и что вообще дело неосуществимо. Он был очень огорчен: уже снова, в сотый раз, считал себя богачем.

Он переделывал старые произведения, обдумывал новые. Теперь это давалось не так легко, как прежде. Быть может, стал строже к тому, что писал; быть может, ослабел интерес

к творчеству, — будет еще несколько новых книг, не достаточно ли и старых? По вечерам гулял с хозяевами в парке, слушал музыку, писал письма (в Париже он в пору работы обычно ни на какие письма не отвечал). Описывал свою жизнь и многое выдумывал даже в письмах к близким людям. В литературе он — не всегда, правда, удачно — старался изображать правду. В жизни часто бывало обратное. Друзья Бальзака думали, что относительно своих интимных дел он нарочно вводит людей в заблуждение. Так, очень часто изображал себя аскетом и проповедывал целомудрие. Одни просто ему не верили, другие уверяли, что он потерял мужские способности, третьи предполагали, что Бальзак такие сведения о себе предназначает для своих прежних любовниц, — пусть каждая думает, что он по прежнему любит ее. Когда оставался наедине с Ганской, он изображал страстную влюбленность. В общем хорошо изображал, но иногда в его глазах вдруг проскальзывало бешенство. Он и ее видел насквозь.

Визу он получил только до конца года, и в ноябре выехал в Киев просить об ее продлении. После книги Кюстина русское правительство относилось к французским литераторам враждебно. Кюстин был маркиз, его отец и дед погибли на эшафоте в пору революции, высшее общество Петербурга встретило его необыкновенно радушно, его ласково принимал сам царь, — и уж если так подвел этот, то чего можно было ждать от других! В Петербурге, в другой приезд Бальзака, Николай I не выразил желания его принять. В Киеве власти отнеслись к французскому путешественнику любезно, хотя незаметное наблюдение за ним установили. Ведавший этим чиновник был, надо думать, знатоком человеческой души и в частности хорошо знал писательскую натуру. Несмотря на весь свой ум, Бальзак поверил тому, что ему рассказывали. Он писал сестре, что один киевский богатый мужик (*un riche moujic*) читал все его книги, молится о нем в церкви каждое воскресенье и готов заплатить деньги, чтобы посмотреть на него.

Киев ему понравился. «Я видел Северный Рим», — писал он, — «этот татарский город с тремястами церквей, видел богатства Лавры (La Laurat), св. Софии степей. На это хорошо взглянуть. Меня осыпали любезностями».

Визу ему продлили. Но погода была холодная; лисья шуба, заказанная у крепостного портного Ганской, еще не была готова. Кроме того холера всё же не кончилась; ему кто-то сказал и о какой-то «молдавской лихорадке». Бальзак приобрел для гнездышка литографические виды города и вернулся в имение.

Его симпатии к России были неизменны и даже росли. Политические же его взгляды менялись беспрестанно. Он то писал, что русскому крепостному живется лучше, чем громадному большинству французов, то говорил о варварстве, которое замечал в Верховне. В отношении графини к нему продолжались, как он говорил, разные «если», «но», «ибо», «да» и «нет». Он видел, что ответа дождется не скоро.

VIII

L'amour aime à la première vue une physionomie qui indique à la fois dans un homme quelque chose à respecter et à plaindre⁶.

Stendhal.

Ольга Ивановна лишь в первую минуту была не совсем довольна тем, что свалился этот молодой поляк, которого она знала давно, но не близко. Константин Платонович неохотно говорил ей об его матери. По словам Тятеньки, Ян Виер был воспитанником Лейдена. Теперь он привез Ольге Ивановне записку от мужа, передал от него привет, сказал, что Константин Платонович был бодр и здоров, — этого было, и независимо от киевского гостеприимства, совершенно достаточ-

⁶ Любовь возникает при первом же взгляде на лицо, которое выражает одновременно в человеке нечто заслуживающее уважения и нечто вызывающее жалость.

но для ласкового приема. Ольга Ивановна заставила его остановиться у них, хотя он долго отказывался.

В доме была комната для гостей, но она находилась в вертикальном крыле дома, недалеко от комнаты Лили. А так как гость был молодой и красивый человек, то Ольга Ивановна из приличия сочла более удобным отвести ему кабинет. Там был широкий мягкий диван. Белья и подушек в доме было сколько угодно; постельное и столовое белье было слабостью хозяйки, и она каждый год покупала еще, то на Контрактах, то у крамарей, то в лучшем киевском магазине, выписывавшем полотно прямо из Голландии. И по мере того, как она устраивала гостя, ее расположение к нему усиливалось, — точно он был родным. Ей когда-то страстно хотелось иметь сына. Константин Платонович к этому был равнодушен и рождению Лили тоже не слишком обрадовался, хоть позднее очень ее полюбил.

Лиле сразу понравился красивый молодой гость: она его почти не помнила. Это был первый парижанин, которого она увидела в жизни. Правда, не совсем настоящий, — родился в Киевской губернии, — но всё-таки парижанин. — «Какой красавчик! Смотри, Лилька, не влюбись», — сказала ей подруга. — «Сама влюбляйся, мне не до того», — ответила Лиля; едва ли могла бы объяснить, до чего ей. Слова подруги впервые подали ей мысль: «Неужто *сoup de foudre!*». Она называла его «мосье Ян» и не решалась говорить с ним по-французски: так хорошо он владел этим языком. «Вдруг наделаю ошибок? Или скажу что-нибудь не по-парижски?». Услышав, что он во французских фразах не картавит, почти перестала картавить и она. Тятенька ей сказал, что Виер, по слухам, потомок графа Дивьера, любимца Петра Великого. Это тоже произвело на нее впечатление.

— Он католик, Тятенька?

— Заядлый. Но верно и франк-масон.

— Что такое франк-масон? Это те, что собирались там над Днепром?

— Те самые. Глупый, Лилька, народ.

— А почему же он не граф?

— Потому, что по линии незаконных. Да тебе это рано знать. Вот возьму и поставлю в угол, если будешь много спрашивать.

Из-за приезда гостя, теперь к обеду всегда бывало несколько приглашенных. Обе хозяйки требовали, чтобы Виер завтракал и обедал у них каждый день. Он вежливо и твердо это отклонил, хотя денег у него было мало. Но обедал у них часто и почти всегда приносил цветы или пирог. Ольга Ивановна мягко ему говорила то, что в таких случаях говорят гостям:

— Ну, что это? Ну, зачем это? Опять цветы! А уж Лиленьке вы совсем напрасно купили букет. Она еще маленькая.

— Мама, какая я маленькая!

— Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня, — с улыбкой говорил Виер.

С другими приглашенными он всегда бывал очень вежлив и любезен, говорил — очень осторожно — о политике и старался узнать их мнение. Иногда он уезжал дня на два или на три: объяснял, что ездит по торговым делам своей фирмы. Это объяснение Лиле не нравилось. Из их знакомых большинство были профессора нового университета, студенты, врачи, а то «по» или «при» (так назывались чиновники, служившие по канцелярии или при генерал-губернаторе). Были, правда, и люди занимавшиеся торговлей, как Тятенька, и тут никто ничего предосудительного не видел. Но м о с ь е Я н у этим заниматься не подобало.

Тятенька выразил сомнение в том, что Виер приехал по торговым делам:

— Будто уж ваш Ян торговец! Разве такие бывают торговцы! Если он приехал по торговым делам, то он перво-на-перво посоветовался бы со мной. Я, слава Богу, тут всё знаю. Я даже предложил ему помочь связями, а он только, проше пана, поблагодарил и ни о чем не спрашивал.

— Если бы он приехал не по торговым делам, то зачем же он стал бы сказывать, что приехал по торговым делам? — с недоумением спросила Ольга Ивановна, никогда не понимавшая, зачем люди лгут.

— Вероподобно, политика, — ответил Тятенька таинственным тоном. Ольга Ивановна несколько изменилась в лице.

— Избави Бог! Вы думаете, что это поляки?..

— Всё может быть, — сказал Тятенька, довольный эффектом своих слов.

— Да что вы подозреваете? Почему вы так думаете? Что вы знаете?

— Знать я, положим, ничего досконально не знаю. Но иностранные ведомости пишут, что поляки только о том и думают, как воевать Россию. Может, он их эмиссар, их теперь видимо-невидимо.

— Да как же так? Ведь он тогда и нас подвел бы! Хорошо отплатил бы за гостеприимство! Это похуже, чем Кирилло-Мефодиевское Общество!

— Душа моя, я ничего не говорю. А вас подвести он никак не может. ЕСТЬЛИ бы что и было, так ничего тут нет странного, что он у вас живет. Костя знал его мать с детства, друг был. Кажется, был в нее когда-то влюблен, — подразнил Тятенька Ольгу Ивановну. — А к его делам вы никак отношения иметь не могли. Костю в Киеве, слава Богу, знают, и уж какие там вы с Лилькой польские революционерки! Так вы и скажете, ежели спросят. У нас ведь всё-таки не Турция. ЕСТЬЛИ так рассуждать, то со всеми поляками надо было бы разнакомиться, а они бывают и у Безрукого. Только, избави Бог, ничего не пишите о моих словах Косте. На границе еще могут прочесть в черном кабинете.

— Я не ребенок, — сказала Ольга Ивановна, успокоенная словами о генерал-губернаторе. — И никто наших писем не читает, да верно и никакого «черного кабинета» нет.

Провожая в этот вечер Тятеньку в переднюю, Лиля его спросила, что такое эмиссар. Тятенька засмеялся и объяснил.

— Воевать нас хотят поляки. На то и зовут французов, англичан, турок, шлют к ним гонцов. Как у Пушкина сказано, «На Испанию родную — Призвал мавра Юлиан».

— Какая же у мосье Яна «Испания родная»? Разве он русский? Ведь он поляк?

— И то правда, поляк, — благодушно согласился Тятенька. — А воевать без надобности. Да ты почему его, старушка, защищаешь? Смотри, мать моя, без Купидоновых стрел! Эмиссар там пан Ян или нет, но у шановного пана есть одна красотка-паненка.

— Какая паненка?

Тятенька, знавший всех и всё, назвал какую-то Зосю, о которой Лиля никогда и не слышала.

— Откуда вы знаете? Нет, скажите, Тятенька, — приставала Лиля. Тятенька ничего толком не мог сообщить: ему кто-то сказал из польских приятелей.

— Будто бы старый роман, но в письмах, как «Новая Элоиза». Да отец Зоси никогда ее за голыша не отдаст. А насчет эмиссара ты не болтай. Я ведь и вправду больше присочиняю, — сказал он и потрепал ее по щеке.

— *Berlik berlok*, — сказала Лиля.

— Это еще что значит?

Лиля загадочно улыбнулась. Она и сама не знала, что собственно значит это вычитанное ею в романе выражение.

Вечером, уже в кровати, Лиля почему-то вспомнила слова мосье Яна: «Елизавета Константиновна совсем взрослая барышня». Повторила их вслух с его очень легкой, совсем почти незаметной, не-русской интонацией (она недурно подражала чужому говору). Вспомнила и его манеру повторять рассеянно последние слова собеседника. «А что это было досадное?.. Тятенька говорил... Ах, да, Зося... Да мне-то что!.. Посмотреть бы, какая она, эта Зося. Между поляками так

много красавиц. Папа говорил, что нет красивее женщин, чем польки... Мосье Ян немного похож на Михаила Брауна», подумала Лиля, вспомнив одного заезжего женатого петербуржца, который как-то недавно показался в Киеве и поразил ее своим загадочным видом, — Тятенька даже ее дразнил: «Вот это, Лилька, был бы для тебя Д е м о н. Только он, говорят, еще и прохвост». Позднее кто-то сказал Лиле, что Браун овдовел, — «верно уморил жену». Это было интересно, но Лиля не обратила внимания: тогда увлекалась одним гимназистом. «Браун тоже был красивый, да мосье Ян гораздо красивее»... Лиля вздохнула и раскрыла роман Бальзака.

М. Алданов

(Продолжение следует)

**
*

... И воробей на фонаре
И набережная с закатами,
И размышленья о добре,
О смерти, о любви, о фатуме.
Вся жизнь с вопросами проклятыми,
Всё, всё поместится в тире,
Поставленное между датами...

Иван Елагин

ДРЕВО ЖИЗНИ*

“KENNST DU DAS LAND...”

Через несколько минут поезд бурлил, громыхал и летел сквозь предместья Берлина, унося в некоем вихре, начавшемся еще в Москве, троих русских всё дальше и дальше в начертании их судеб — в разветвлениях таинственного древа бытия.

Новый мир, Тане вовсе неведомый, приоткрылся на другой день за Мюнхеном, где ночевали, в стране гор и лесов. Он сгущался, темнел полосами елей по скатам, кипел внизу бурными речками, уходил в поднебесье облачными вершинами. То хмурилось, то прорывалось солнце и тогда вершины зажигались, всё светлело, веселело.

— Папа, какой замок! Это очень древний? А вон на горе лысое место, лес вырублен. Да, понимаю. Смотри, бревна прямо вниз спускают, они катятся по горе.

К вечеру Таня устала, привалилась в купэ к матери и задремала. Глеб один стоял в коридоре, смотрел. Это он любил, с детства привычен был в поезде часами глядеть в окно, в одиночестве. Сейчас самые близкие его сидели в купэ, а ему одиночество, как и всегда, было необходимо. Да, вот почти двадцать лет назад въезжал он с Элли тоже в Италию — из Вены через Земмеринг на Венецию. И тоже граница к вечеру, тоже горы, замки австрийские... — Хоть и двадцать лет, а как сейчас помнится предзакатное сияние в одном месте на вершине Альп, в облаках. «Смотри, точно ангелы проходят», — Элли указала тогда на световые снопы, выкатившиеся из краев тучи, победоносные, эфирно-движущиеся. Потом был какой-то Понтафель-Понтебба: началась Италия.

* См. кн. 28 «Нов. Журн.».

Скоро она и сейчас начнется. Глеб стоял, вдыхал из окна мягкий вечерний воздух — он считал уже: итальянский, иногда и с паровозным дымком. Он был весь полон желанием радости. Не думал ни о России, ни о матери, Прошине, ни о том переломе, который свершился в судьбе их — вот теперь ведь летят они, в грохоте поезда, с маленькой девочкой, с малыми средствами, в страну жизни их, сами, как дети, несмотря на всё пережитое. Значит, уж так им указано.

Верона издала дала о себе знать в темноте россыпями огоньков. Золотые точки, цепочки их и ожерелья то выскакивали, то прятались за поворотами, но всё росло, ярче блестели, как бы говоря: «Большой город».

Большой город принял их в теплом благоухании синей прозрачной ночи. Было часов девять. Ветурич, похлопывая бичем, покрикивая на лошадь, вез их в коляске к Albergo Academia. Таня сидела на скамеечке напротив, усталая, но сейчас всё-таки оживленная. Косички ее побалтывались в такт хода лошади.

— Это теперь уже Италия?

Она говорила не то с гордостью, не то ожидая подтверждения. Но сейчас же сама подтверждала, не дожидаясь: — Верона! Италия! — слова, так часто слышанные от родителей.

Albergo Academia, указанный еще из Берлина — некогда дворец — оказался серьезен и старомоден. Высокая большая комната, куда провели их, была расписана старинными узорами — потолок в милых гирляндах плодов и цветов, амуры и стрелы, летящие гении по карнизам стен.

Ужинали внизу в ресторане. Потом Элли и Таня поднялись к себе, Глеб же пошел побродить. Не хотелось еще ложиться да и Вероны он не знал вовсе.

В итальянской ночи незнакомого города, когда по узкой улочке сплошь в ровных плитах, перед освещенными еще витринами проходят изящные офицеры в голубых плащах, черных сияющих крагах, позвякивая длинными саблями, когда слышится женский говор и легкие девушки пробегают, постукивая каблучками, пахнет сигарами, духами, овощами и тем

нерассказуемым запахом древнего южного города, что пленяет всегда — в этом есть великое очарование и прелесть, навсегда западающие. Да, вот теперь «настоящее», мог бы сказать Глеб, в волнении и поэтическом возбуждении неторопливо направляясь к могильному памятнику Скалигеров. Да, это не Тауэнтцинштрассе. Совсем не Тауэнтцинштрассе.

Данте встретил Глеба на небольшой, слабо освещенной и пустынной площади, по которой некогда ходил. Теперь стоял перед Palazzo del Consiglio, на каменном пьедестале, каменно молчаливый, в венке из лавров, всегда похожем на венец терновый. Нос его, как всегда, горбился, нижняя челюсть выступала. У ног спали голуби. От шагов Глеба сонно вспорхнули и перелетели под аркады портика дворца.

Глеб сел за столик простенького кафэ, под открытым небом. Оно скоро уже закрывалось. Никого больше не было, Глеб сидел за чашечкой кофе. Данте был безглаголен. «Вот бы куда Карла Иваныча!» Глеб улыбнулся даже: «Ну, конечно, он здесь бывал, всё отлично знает»... Но не хотелось ни о чем думать, он сидел в тишине итальянской ночи, на этой площади города — единственного не проклятого каменным молчалником — сидел и молчал и сам наполнялся безглагольностью вечности.

Башенные часы пробили одиннадцать. Глеб допивал свое кофе. Шляпа его лежала рядом, Данте смутно белел в нескольких шагах. Над ним, как и над Глебом, стояли звезды. И в этой тишине, чуть прерываемой иной раз одинокими шагами проходящего да негромкими словами камерьере, собиравшего и уносившего внутрь кафэ столики — вдруг сверху медленно, винтообразно кружась в полете несколько таинственном, спустилось голубиное перо, маленькое и легкое — село на плечо Глеба. Оно было почти невесомо. Оно было почти не вещь. Откуда пришло? Голуби спали. Сколько оно плавало, куда носил его теплый ток? Но прилетело. Глеб снял его в некоем волнении. Данте безмолвно стоял. Данте был совершенно безмолвен. С этим перышком Глеб возвратился в альберго. Элли и Таня спали.

— Ах, это ты...

Элли сонно приподнялась, улыбнулась и легла на другой бок.

— Я рада, что ты вернулся. Я рада, что ты жив.

И мгновенно опять заснула.

**
*

Утром он рассказал ей о перышке. Это вполне было в духе Элли, ей очень понравилось.

— Мы теперь всюду будем возить его с собой. Таня, правда, мы будем беречь перышко? Оно будет у нас волшебное.

Таня могла поправлять ее в делах кухонных и хозяйстве, но в таких беззаветно склонялась.

— Будем возить, моя радость. Мы его всюду с собой повезем и будем его любить.

Глеб передал женщинам маленький свой палладиум и с Танею перышко следовало теперь всюду за ними. Побывало на Piazza delle Erbe, любовалось суতোлкой, пестротой рынка, над которым скромно восстает Мадонна, журчит фонтан и воздвигаются разноцветные дворцы. Подымалось за рекой в отвесные сады Джусты, откуда видна вся Ломбардия чуть ли не до Милана, и на другой день уехало с хозяевами в Венецию.

— Оно у нас чудное, — говорила Элли, разглаживая его нежным прикосновением. — Оно будет нам помогать, охранять нас.

Элли любила такие штуки. В заповедной шкатулочке везла с собой щепотку московской земли. («Когда умру, это со мной в могилку», говорила Глебу). Ехала с ними в коробочке и горсть флорентийской земли, память их молодости. Некогда на вилле Петрайя Элли в итальянской восторженности вдруг стала разрывать в саду землю и собирать в сумочку. Подошел старичек садовник, посмотрел не без удивления. На вопрос для чего это, Элли ответила, что увозит с собой в Москву, на память: потому что любит Флоренцию. Старичек улыбнулся, сказал:

— Signora e molto entusiastica.

Так и странствовал этот прах, мелкий, серо-коричневый, земля Тосканы в русской сумочке по русским землям, а теперь вот, в смиренном облике, возвратился на родину — рядом с московской землей.

**

Во Флоренции Таня не без изумления смотрела, как мать целовала бронзового кабана близ Рынка. (А в молодости подвязала ему раз на морду ленточку). Струйка кристально-хладной воды лилась из кабаньего зева, Элли смеялась, брызгала на Таню водой и сквозь смех даже слезы блистали в ее глазах под сентябрьским солнцем Флоренции.

— Он чудный, кабан, чудный, Таня, — посмотри, какой удивительный!

— Очень красивый, радость моя...

Таня была еще мала. Она выросла в том, что всё, что делает или говорит «главная всей России» — необыкновенно и непредсказуемо. Так что удивление длилось минуту, а потом быстро всё вошло в норму: если чудо мое восхищается, значит есть чем — духа критики в Тане еще не было, и хоть сама она кабана этого никак бы не поцеловала, всё-таки восхищалась сейчас без затруднения: по доверию.

Глеб, как и Элли, находился в состоянии некоего блаженного полоумия. Дня ему было мало, глаза неустанно глядели, ноги неустанно носили. Эти дни во Флоренции как бы повторяли для обоих времена молодости, как бы побеждали само время — побеждали и страшное пережитое российское.

Таня покорно ходила, покорно смотрела и одобряла, но утомлялась и для нее это было, конечно, не то. И Глеб, и Элли вполне понимали, что держать ее долго в таком мире нельзя. И они тронулись на тихую жизнь в Барди, близ Генуи.

Рыбацкий этот поселок, на берегу моря, открыли революционеры царских времен. Некогда русский писатель поселился недалеко, в Сори, вокруг него стали ютиться бо-

лее молодые, так и отпочковалась некая горсть для Барди, понравившееся чудесным пляжем (редкость на генуэзском побережье), простотой рыбацкого населения, прелестью окружающих гор в лесах, мирно благоухавших. Немирные русские, вроде тех, что в бандитских шляпах разгуливали по Арбатам и чьи шрифты, прокламации прятала Элли у себя в московском диване — именно они и поселились среди лигурийских рыбаков, понемногу привлекая к себе и других.

Глеб и Элли бывали здесь и до войны, Барди любили как итальянское Прошино. Странный быт изгнанников был им знаком. Помнили «каторжную виллу»: высоко, в виноградниках и оливках, целая компания русских сняла большой дом — все они вместе бежали из Бутырской тюрьмы: времена довольно таки простодушные! С ними бежала и их надзирательница. И над Барди, среди виноградников, пред дивным видом на море, основали они как бы коммуны. Только не трудовую. Трудиться не приходилось — их поддерживали со стороны, а они, как и все эмигранты в Барди, вели жизнь праздную, достаточно горестную и невзрачную.

Но подошла революция. Сколько восторга, надежд! Барди опустело. Все, кто выжил — почти сплошь народники — уехали в Россию, сначала в опьянении успеха, а потом, чтобы вновь познать прелесть борьбы с прежними своими соперниками по революции: но не такими противниками, совсем не такими, в каких прежде бросали бомбы. И Сибирь, лагеря, стенка вновь выросли перед ними в небывалых размерах.

Из прежнего населения Барди остался один Эдуард Романыч, давний знакомый Глеба и Элли, литератор народник. С этим Эдуардом Романычем Глеб и списался. Он нанял им целый этаж в доме синьоры Джулии, несколько выше здания станции.

Джулия, полная и благодушная итальянская матма, встретила их как своих, давно знакомых. По настоящему знакома она и не была, но это *russi, amici del signore Edoardo*, русские же находились здесь вообще на хорошем счету: странные люди, конечно, не простые. Иногда шумные, много пьют,

но вполне обходительные и часто добрые. — такой же, приблизительно, взгляд был и у русских на обитателей Барди...

— Я помню синьору, говорила Джулия, ласково блестя карими глазами, — еще *avanti la guerra*. Но тогда у синьоры не было дочери.

И отворив во втором этаже ключем дверь, ввела в просторную, светлую квартиру окнами на дорогу, на станцию и за ней море.

— Ах, прелесть!

Элли чувствовала в себе самой кипение итальянской крови. В глазах, в улыбке синьоры Джулии было для нее нечто от собственной *matm'ы* с Земляного вала. Море как будто бы ей принадлежало — в сиреневой его тишине был тот мир, какого и надо ей было. Когда Джулия привела ее в кухню и, объясняя по хозяйству, отворила окно, выходившее в другой, горный, садовый и лесной мир, и оттуда потекло сладкое благоухание лимонных и апельсиновых деревьев, смешанное с запахами овощей в огороде, а издали донеслось веяние смолистых лесов, Элли даже ослабела от блаженного ощущения отдыха и какого-то райского привета.

— Да, да, *molto grazie*, — бормотала бессмысленно и не очень то слушала объяснения Джулии, где шкафы для белья, где посуда, как затапливается плита. Это всё не было важно. Но здесь Италия, а не герр Бунге. За небрежение кухонное тут никто не осудит. Обзор хозяйства закончился указанием на укромное место — Джулия распахнула дверцу и перед неким мраморным сидением с торжеством заявила:

— *Latrina inglese!*

Это была гордость виллы, недавно проведенная канализация. И в подтверждение слов мощно дернула она за ручку, мощный ток воды, как в фонтане Треви, вскипел в раковине и омыл каррарский мрамор.

Въехали и разместились быстро. Всё пришлось сразу к месту и уже через час и Элли и Таня чувствовали себя дома. Глеб раскладывал свои книжки, рукописи. Таня поставила на

комод с раковинками московский образок Николая Чудотворца, а рядом перышко из Вероны. Тут же, в коробочке, земля Москвы и Флоренции — всё в порядке.

— Таня, у нас нет сахару! Пойдем купим... Тут где-то близко, я помню... Такая лавочка, синьоры Кармелы.

— Идем, чудо мое.

Лавочка Кармелы оказалась действительно через дорогу.

— Погоди, Таня, как это по итальянски? Ну, сахар, конечно, *zucchera*, вроде как по немецки. А кусковой?

Таня скромно заметила, что по итальянски еще ничего не знает.

— Ах, конечно, я просто сама стараюсь вспомнить.

И в момент, когда входили в лавочку, Элли вдруг преиспала.

— Вспомнила, вспомнила!

Теперь Кармелы, некрасивой итальянки с усиками, уже не было. Ее дочь, тоже с тенью на верхней губе, приветливо им улыбалась:

— *Signorina, prego... zucchera... in pezzi...*

От прилавка обернулась к ней лицом худенькая высокая девушка с миндалевидными темными глазами, тонким носом без переносицы, как на этрусских вазах. Когда увидела Элли и Таню, по лицу ее пробежало нечто, как бы тень облака, и когда тень прошла, открывая прошлое, вдруг сдавленным, приятным, но и неуверенным голосом она сказала:

— *Elena?*

— Мариуччиа! Это я, Елена, милая, мы опять здесь...

Перед глазами Кармелиной дочери Элли и Мариуччиа обнимались и целовались. Да, это и была та тоненькая девочка Мариуччиа, что с давних времен приросла к русским. Жила некогда с бабкой, *fratello* служил в Специи, а в конце концов, просто она сиротка. Около наших народников прижилась, как бы дочь полка. Понимала по русски. Некая Леечка выучила ее читать, она вовсе овладела языком, говорила лишь с милым итальянским акцентом. И забираясь на гору Сант Анна, пред сиреневым морем читала она вслух Леечке Толстого.

Глеб и Элли хорошо ее знали, одно время, когда Элли носила Таню во чреве, Мариуччиа даже служила у них, помогала на вилле. И теперь вот тут...

— Ну, как? Что? Хорошо живешь? Замужем?

— No, no, Elena, saга...

— Да ты по русски ведь говорила?

Мариуччиа засмеялась.

— Да, прежде... Теперь забывать стала.

— А это дочь моя, Таня, ты ее никогда не видала.

— Oh, che bella fanciulla... А муж?

Элли подтвердила о Глебе.

Таня была смущена, но поняла, что ее одобряют. Мариуччиа со своим длинным и тонким носом, этрусским профилем ей очень понравилась.

Волнуясь, перебивая друг друга, перескакивая с одного на другое, бессвязно они болтали — Элли и Мариуччиа.

— Senta, — сказала, наконец, Элли, — мы тут рядом у Джулии. Пойдем к нам, расскажешь про себя.

Мариуччиа опять обняла ее, подобрала свою сумку с покупками и сказала, что сейчас не может, должна итти кормить бабуку — всё еще она жива, хоть и полупарализована.

— А как можно будет, то сейчас же... *vengo subito*.

— Да, непременно. Слушай, Мариуччиа, а твой брат?

Мариуччиа опустила голову.

— *Morto*. Убит на войне... — Голос ее дрогнул. — Я одна теперь. Что поделать. Бабушка совсем старая. Не слышит. С ней почти нельзя говорить.

Она опять улыбнулась, как бы через силу. Кивнула Элли, закрутившей рукой нежно провела по голове Тани и быстрой, изящной, как бы древней походкой предков с этрусских ваз, удалилась.

Элли была взволнована. Барди точно бы раскрывалось. Выпускало бывшее. Ощущение это усилилось, когда поднявшись к себе, увидела она в столовой Эдуарда Романьча.

— Батюшки! Вот чудно! Милый, здравствуйте... Это моя дочь.

Эдуард Романыч, маленький, волосатый старичек в чесунчовом пиджачке, в очках, пожимал ей руку.

— Извините, что не встретил. Никак не мог, никак. Нельзя, даже для такого случая.

В Барди считался Эдуард Романыч вроде алхимика, колдуна и великого знатока болезней. Нынче ему пришлось идти за три километра в горы: девочка одна обварилась, он мазал ей маслом ножку и заговаривал ожог.

— Ничего не поделаешь. Знаете, туда в ущелье, наверх. Там одна casa такая синьоры Лукреции. Вот девченка и дала маху, пришлось ее подправлять. Лукреция говорит: «Я докторам не верю, а вот если синьор Edoardo захочет, сразу бамбину вылечит».

Джулия, помогавшая нынче, для первого дня, обратилась к Элли.

— Синьор Edoardo очень хорошо помогает. У нас все тут его зовут.

Эдуард Романыч притворно хмурился.

— В Италии медицина не совсем на высоте. Посмотрели бы вы их деревенских врачей...

Джулия выставила фиаску темно-тяжеловатого Barolo. Спагетти и курица, горгонзола из Генуи — всё должно было согреть путников, подымать, веселить встречу. Оно так и вышло. Все были в духе. Даже Таня, трудней других привыкшая к чужому, шепнула матери: «Мне тут очень нравится» — она всего не договаривала, да и не могла бы словами передать, но простота, простор, что-то домашнее в этой вилле казалось знакомым — не возводило ли незаметно и ко временам Прошина?

Глеб охотно вкушал Barolo и чокался с Эдуардом Романычем. Элли рассказывала, как она встретилась с Мариуччией.

— Хорошая девочка, — говорил Эдуард Романыч. — Нелегкая жизнь. В работе, работе... Замуж не вышла, всё с этой бабкой. Постоянно вспоминает наших русских, которые тут жили. Кажется... это лучшее было для нее время.

Разговор перешел на русских. Вспоминали общих знако-

мых, прежнюю жизнь. Эдуард Романыч стал волноваться, несколько пыхтеть. Бородавки на его лице русско-лигурийского колдуна и клочья небритой шерсти зашевелились в такт душевного возбуждения.

— Да, были, да... Не отрицаю. Люди были. Но вот революция... Ну, это Бог знает что, а не революция. Должно было быть всё другое... А они все одурели, сейчас же домой бросились — этот будет министром, тот послом... Всё пустяки. Вот теперь и населяют тундры севера.

То, что в Россию не возвратился, Ленину не поверил, Эдуард Романыч ставил себе в заслугу. Он всегда Ленина презирал, не за то, что тот был революционером, а за то, что революцию делал, не спросясь Эдуарда Романыча.

— Проходимец... над народничеством всегда издевался. Русского крестьянина... не понимал. Общину никогда не ценил. Вот его городам жрать сейчас и нечего. И приходится выдумывать разные нэпы...

Глеб спросил:

— Эдуард Романыч, вам в деревне подолгу приходилось жить?

Эдуард Романыч налил себе еще вина.

— Более в острогах проживал-с и ссылках. Да это неважно. Вовсе и не нужно жить в деревне, чтобы быть народником. Есть наука, есть статистика... есть политическая экономия. Наука утверждает, что победит община, как бы там разные марксисты ни шипели. А вот вы изволили как раз в деревне немало жить... если не ошибаюсь, в одной из центральных губерний? Как там народ? Наша партия?

Неожиданно вмешалась Элли.

— Эдуард Романыч, я в деревне голосовала за вашу партию...

Он одобрительно посопел.

— У нас Кимка был, работник. Болван страшный, но хороший малый. Когда началась война, он мне раз говорит: «Лена, Лена, знаешь... Италия такая... гы-ы-ы... ну, Италия... так тоже воевать начала... гы-ы...» А когда подошли выборы в Учреди-

тельное Собрание, спрашивает: «Лена, Лена, за кого будем подавать?» Я говорю: «За эсеров, Кимка, за номер третий». Он задумался, почесался... «А нам с тобой за это по шее не дадут?» «Да кто же даст-то?» «Да большевики... смотри, дадут нам по шее». Ну, мы всё-таки за вас голосовали.

Глеб добавил:

— И никто по шее не дал. Так что при всей мудрости своей народной Кимка тут ошибся.

Эдуарду Романычу рассказ этот не весьма понравился. Он посапывал и тянул свое *Barolo*. Кое о чем, однако, и сам спросил, тоже остался недоволен. Выходило не совсем так, как ему нужно было.

— Во всяком случае статистика и политическая экономия сильнее случайных наблюдений. Община победит.

Разговор, однако, на общине не задержался. Итальянское солнце спокойно ушло за Тирренское море, к Генуе пролегли по нем серебряные дороги, фиаска понемногу пустела и предметы более мирные заняли внимание русских: Эдуард Романыч показал Тане камешки, которые он собирает на пляже. Это любимое его занятие и одно из немногих развлечений.

Тут он имел много больше успеха, чем с общиной. Не только Таня, но и Элли и Глеб ахали над изящными голышами — веками обирали и облизывали их волны, веками шуршали они среди других своих сотоварищей по пляжу, и стихийный труд этот создавал из разных их пятен и прожилок иногда удивительные узоры, а то и целые рисунки — морду льва, лестницу, башню. Таня воодушевилась:

— Эдуард Романыч, я тоже буду вам помогать. С завтрашнего же дня.

**
*

Глеб вышел с Эдуардом Романычем, вместе шли они в синеве ночи до поворота: Эдуарду Романычу вверх по тропинке, Глебу налево, к морю — он хотел побродить в одиночестве.

О, как знал он этот проход под насыпью, по которой про-

носятся поезда в Рим, Геную! Мягкий песок пляжа, где сначала нога как бы тонет, а потом привыкаешь, и дойдя до узкой полосы, атласящейся от вечных набегов волн, идешь по ее твердой, лоснящейся поверхности уже совсем вольно.

Глеб именно шел. Месяц стоял над Сестри, Венера в эластично-зеленоватой прозрачности клонила к водам, ночь влажна и душиста. Мягко ухаает море — всё так же мягко, как и много лет назад, в другой жизни, когда впервые попал он в это Барди и вот так же, в благоуханной тишине ночи вышел к морю. Как смятенна была его душа! Как нуждалась в спокойствии и умиротворении. И как сразу же это мерцание звезд, ароматы лесистых долин, запах моря и слабо-бухающий, довременный плеск его вдруг обняли, омыли, успокоили... Стало легче дышать и вот он тогда так же шел, и на тоненькой кампаниле Барди, где позже он прочитал надпись: “*Dominus det tibi fortitudinem*” — часы медленно стали бить, возвещая с высоты Божьего дома мир и благоволение всем душам, всем бедным, заблудшим и грешным, как и великим и святым.

«Да, этого никогда не забыть...» Но сколько перемен! Вот в доме Джулии Таня завязывает косички, Элли ложится, а как легла и о чем думает сейчас мать в Прошине? Ксана, Прасковья Ивановна... Вот прошло больше года. А они всё дальше заезжают, и эта Италия — лишь остановка. Там, за горами, за Альпами уж и Париж.

В комнате Кривоарбатского, заваленной чемоданами, Геннадий Андреевич обнимает Элли. «Чудно бы во Флоренции встретиться... «Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся...» И на другой день извозчик, увозящий мать в пролетке, огибает угол Трубниковского и мать медленно уплывает с ним в пространство.

Возвращаясь домой, Глеб прошел несколько в сторону и подошел к церкви. На кампаниле, в свете высоко стоявшего месяца, он разобрал надпись:

— *Dominus det tibi fortitudinem.*

ТИШИНА БАРДИ

Сколько бы Элли ни увлекалась в юности Ибсенами, Гамсунами, российскими символистами, как бы ни ужасался тогда Геннадий Андреич, что вот она принадлежит к богеме и «декадентам-с», в ней сидел дух земель московских, русских предков, рода, семьи. С годами это росло. А за границей еще сильнее проявилось. В России отец, мать, Земляной вал, сестры Анна и Лина, и нисходящее потомство, неукоснительно разрастающееся. Всё это — е е мир, в нем она родилась и выросла, потому и менее замечала, пока была в Москве — как не замечает человек воздуха, которым дышит: воздух и воздух, так и надо. Когда же он заменяется другим...

В Германии слишком еще была занята новизной жизни, да и Россия казалась под боком, ну, уехали, Глеб отдохнет, оправится, в это время и дома многое переменится — можно будет вернуться, свободно работать. Так что всё это — лишь некоторые каникулы. А свой, московско-семейный мир Земляного вала всегда с ней и разрыва нет.

Всё-таки и тогда переписывалась она с домом жадно, главнейше с Анной. А теперь, основавшись более по домашнему, первым делом занялась письмами в Москву — матери, отцу. Писала быстро, восторженно, фразы мчались, обгоняя друг друга. Глеб, Таня, Италия, Барди — тот самый отец, с которым раньше и ссорилась, и которого в детстве боялась, теперь придвинулся, да, это всегда свой, кровный и настоящий. Вот Анна пишет, что ее старшая, Лизочка, уже замужем, скоро будет младенец, у Лины тоже не сегодня-завтра внуки, всё это и восходит к отцу с его монетами и печатями, к матери и небесным ее глазам. Являлась у Элли и некая семейная гордость: — Мой отец очень известный нумизмат, — говорила она Эдуарду Романычу, бывавшему у них постоянно. — Его знают и европейские ученые, а про Москву и говорить нечего.

Эдуард Романыч набивал табачком гильзу из вековой интеллигентской машинки, приехавшей еще из России, совер-

шенно такой же, какой отец Глеба набивал свои папиросы в Прошине.

— Нумизматика, археология... почтенно, но далеко от жизни. К живой жизни русского крестьянства не имеет отношения.

— А что же, чтобы все общиной вашей занимались?

Эдуард Романыч закуривал желтыми от табака пальцами папироску, мрачно ею попыхивал.

— Община не моя, а российская. Россия крестьянская страна... социальный вопрос всё равно впереди всего, а в России приводит он тотчас к общине.

Элли к общине вполне была равнодушна. Но сочла, что нечто тут задевает отца, и рассердилась.

— А по-моему, мужики только и хотят каждый иметь свое, какая там община...

Тут он запыхтел уже не без грозности.

— Об общине знаете вы мало. А если бы были осведомлены в специальной литературе, то...

— Какая там специальная литература? Я сама годы в деревне жила.

Стычка могла бы быть бурной, но вот входит Таня.

— Эдуард Романыч, какая завтра будет погода?

Он побуркивает еще, но при виде Тани смягчается. Она поклонница его камешков приморских, восторгается, собирает сама и даже недавно подарила ему довольно ценный образец.

— Погода, погода... Я разве предсказатель?

— Мне Мариуччия говорила, что вы всё знаете. Вы как-то по луне, по облакам, по ветру высчитываете... А мне бы хотелось, чтобы завтра хорошо было — Мариуччия обещала свести в горы.

Он подходит к окну, посвистывает, рассматривает море, белые барашки на нем, садящееся солнце...

— Когда Корсика на закате видна, значит завтра хорошая погода.

Отворяют окно настежь, облитые нежным закатным огнем ищут в вечернем ветерке Корсику.

— Вон она, вижу.

Таня видит, действительно, в эфирной дали полупрозрачный силуэт — не то горы, не то замки — еще какой-то новый волшебный мир, кроме особенного этого, полного уже вечернего благоухания апельсиновых рощ и тихих лесов по ущелиям Барди, в одно из которых, в гости к синьоре Лукреции, поведет завтра Таню Мариуччия. Ну, вот и слава Богу, что хорошая погода.

**
*

Элли и Мариуччия сидят на высокой скале, над дорогою в Сестри. Место это называется Сант Анна. Некогда тут был монастырек, близ древней римской тропы-дороги: по ней шествовали мулы легионов с поклажей в Галлию.

Сейчас тут сосновый лес, благоухание, тихий гул, звон в вершинах, солнце. Мелкие ящерицы по камням на припеке и перед глазами, как туманно-сияющая бездна — море. Оно дышит смутно. Как будто само входит в воздух, сливается эфирной своей синью с ним, под солнцем же местами блестит белым, как снеговое поле.

— Под этой пинией, Елена, я любила сидеть с Леей... мы тут читали вместе. Она мне рассказывала о вашей стране. Она была худенькая такая... хорошая, и как это по-русски: una ebréa?

— Еврейка.

— Мариуччия, как у вас тут прекрасно... Да, прекрасно, но вот мне сейчас грустно... не знаю сама. Всё о своих думаю, там, в России. А тебе бывает иногда грустно?

Мариуччия подняла на нее огромные, продолговатые глаза.

— Мне, Елена, всегда грустно. Вот я и вспоминаю... вот, что раньше было. Лею вспомнила. Ах, я рада, что с вами опять встретились.

Мариуччия опустила голову. Предвечернее солнце обрисовало на камне тонкую тень её носа.

— Елена, я ведь совсем одна.

Элли полуобняла ее, поцеловала в белую полоску посредине головы, узенькую, ровно разделявшую смоляно-черные, гладко причесанные и блестящие волосы.

— Мать тоже умерла?

— Sì. Когда узнала, что убит figlio. Она... она...

Мариуччиа спрятала лицо на плече Элли.

— Как прочитали телеграмму... побледнела и... *essola morta. Subito.*

Она откинулась немного, как бы изображая: вот так мать умирала.

Элли гладила ей на голове волосы.

— Ты всегда была ласковая, Елена. Ты... как это сказать по-русски: светлая? Ну, *come il sole.*

И неожиданно поцеловала она ей руку.

— Я отлично помню и тебя, и *tuò marito.* Но тогда вы приезжали сюда будто в гости. А теперь... *emigranti?*

Элли стала рассказывать. Мариуччиа понемногу успокоилась. Но задумчивость продолжала ее осенять, как на них самих надвинулись удлинившиеся тени сосен.

Мариуччиа будто о чем-то думала. Потом тихо спросила:

— Значит, ты оставила там, а *Mosca*, всех родных? И *Glief* тоже?

— И Глеб.

Мариуччиа держала в руке травинку и откусывала кусочки. Потом подняла на Элли темнеющие свои, с влажным блеском глаза.

— А тебе не было страшно?

Элли слегка смутилась.

— Как страшно? Почему?

— *Sono molto vecchi...* старые. А если без вас умрут?

— Мы ведь надеемся возвратиться...

Элли произнесла именно это, и уста ее лучше говорили, чем сердце. Хотелось еще что-то добавить словами, увязать сердце крепче, чтобы вернее было.

— Да, да, ты понимаешь, как сейчас в России... Невозможно. Глебу там нельзя писать, пока не изменится, нельзя.

И она почувствовала, что дело крепче. Стала рассказывать, какая в России жизнь, что происходит. Мариуччиа лежала теперь на спине, закинув руки под голову. Слушала внимательно.

— Non c'è libertà... — а Лея говорила тогда, что они стараются, чтобы в России была свобода. Значит, не удалось, Елена?

— Не удалось. Из тех, прежних, многие как раз погибли или оказались в ссылке.

— А Лея жива?

— Не знаю. Может быть, Эдуард Романых знает. Он из одной с ней партии.

Мариуччиа усмехнулась.

— Signore Edoardo...

— Ты чего это? Он особенный, но достойный человек.

— Я знаю, — скромно ответила Мариуччиа. — Конечно.

Потом вдруг поднялась, и уж сидя, глядя на Элли прямыми, без всякого лукавства глазами, в которых опять была грусть, добавила:

— Не люблю его. No, Elena, я его не люблю.

Элли несколько удивилась.

— За что же?

— Гордый. Очень. Я его знаю. Почти одним хлебом да чаем питается — ему чай присылают da Parigi, у него там друг. А от нас, здешних, ничего не возьмет.

Дочь полка знала всё. С детских лет, когда мать еще была жива, помнила она этого *signore Edoardo*, так же, как теперь, жил он в той же пыльной комнате у синьоры Марты, вдовы рыбака, высоко над Барди, среди оливковых деревьев.

— Когда я была девочкой, он дарил мне такие же камешки, как теперь твоей *Tania*. Он не похож на других, è vero, я его не совсем понимаю.

— А ты Глеба моего понимаешь?

Длинные глаза Мариуччины выразили некое замешательство, смесь смущения и сочувствия. Она даже слегка покраснела.

— Русские все писатели. Я их много видела.

Элли улыбалась.

— И все чудачки?

— Нет, Elena, я не то говорю.

Она опять полюбила Элли, посмотрела на нее долгим взором.

— Я тоже тебя... e tuo marito давно знаю, но это другое. Elena, я вас всегда... вы уж будто родные. А signore Edoardo — другое. Он... конечно... но он вроде stregone.

— Колдун?

— У нас некоторые так говорят. Но я не верю. Не колдун, а колючий, еж...

Элли вспомнила заросшую, в буграх и клочковатостях голову Эдуарда Романыча, его маленькую сутулую фигурку, нескладность и действительно какую-то шершавость — и засмеялась.

— То колдун, то еж...

— Наши девушки ходят к нему гадать, он карты хорошо раскладывает, но его все боятся.

— Очень уж вы робки, ragazzi. А вот погоди, к нам приедет Ника с женой, увидишь еще русских и тоже, пожалуй, скажешь, что они stregoni.

Мариучча замолчала, несколько была смущена. Не слишком ли много наболтала? Про русских, про signore Edoardo?

Они вскоре поднялись и по старой римской дороге, а потом просто по тропинке через оливковую рощу с серо-змееобразными стволами в буграх и мелкой серебристой листвой спустились вниз к Барди.

Здесь вечер сильней чувствовался. Солнце уже за горой, глубокие тени на прибрежных скалах и весь пляж в тени, и линия железной дороги. В клубе белого дыма резко катил в Рим экспресс. У переезда шоссе женщина с огромным животом подняла флажок и опустила шлагбаум — перед ним остановился ослик в двуколке с худым стариком в соломенной шляпе.

Поезд весело прогрохотал и влетел в туннель, откуда

медленно стал выходить, потом дым, как из ружейного ствола после выстрела.

Мариуччиа простилась с Элли: надо идти к бабке. Элли же, не доходя до своего дома, издали увидала Глеба и Таню. Они, видимо, возвращались с пляжа.

Таня тряхнула косичками, побежала к ней.

— Радость моя, без тебя телеграмма: завтра приезжают Ника и Марина.

**
*

Глеб сидел на скалах, недалеко от пляжа. Рядом туннель и дорога в Сестри. Внизу волны играли — набегали и отпрядывали, оставляя белый узор-кайму. А сами, зеленые и прозрачные, охватывали в лобзании прощальном все неровности, шишки, ложбинки камней этих, некогда свергшихся с гор, а теперь мирно лежавших — русские часто на них сидели.

Но скатилась волна, и потом вновь как ухнет! — Тут уж белые брызги фонтаном. Да еще это сентябрь, в ноябре так будет заливать дорогу, что и не пройти по ней в Сестри.

Нынче теплый вечер, облачный. Море спокойное, серо-сиреневое. Корсики не видеть.

Утром Глеб получил письмо из Москвы, от приятеля. Читал уже его, сейчас перечитывает.

Приятель провел часть лета в Прошине — мать, которую все называют, как и прежде, «бабушка», всё еще живет там, даже в прежнем доме. Бабушка всё такая же, т. е. изумительная. Здоровая, бодрая, бесконечно хлопочет по хозяйству и не поддается ни на какие уговоры — хоть сколько-нибудь передохнуть. Во флигеле теперь изба-читальня, летом пустовавшая. В цветнике были цветы, дорожки расчищены, попрежнему перед главным балконом шар. А другая терраса, деревянная, почти завалилась. Там нельзя уже пить чай, как прежде...

Да, терраса, утренний чай. Теперь завалилась, да и всё завалится, это уж так. На террасе этой по утрам отец пил чай, курил, читал Диккенса или Щедрина, хохотал над ними до слез

и закладывал страницу спичкой, чтобы не забыть, где остановился. «А то придется опять перечитывать всё с начала». На Глебовы именины на этой террасе к обеду подавали пирог, индюшку, являлась и бутылка шампанского. Приезжали приятели из Москвы. И вот пишет то это как раз один из уцелевших.

Мать, слава Богу, здорова. А лет ей уж много, клонит к восьмидесяти. Он иногда видит ее во сне. Но не так, как изображено в письме. Не в этом простом жизненном тоне. Во сне и она и всё Прошино погружены в печаль. Всё как-будто на месте, и дом, и флигель, но и всё в мертвом запустении. Мать, с палочкой, в зимней бобровой шапке безмолвно проходит мимо амбара, останавливается, опять куда-то бредет. Да, уж конечно, сон, а всё-таки и другой мир, всё будто с того света.

Сны эти действовали на Глеба довольно сильно. Отец ушел во-время, на своей постели скончался еще в Прошине. А мать... — Как о ней не думать? Иногда начинал он даже впадать в фантазии — как бы ее сюда выписать, если они останутся за границей долго.

Но сейчас в это не стал вдаваться. Вдалеке, на пляже, видны несколько рыбаков, Таня и Ника разговаривают с ними. «Рыбу, наверно, вышли покупать, только что пойманную...»

Он подымается, спрятав письмо в карман, медленно идет вниз по тропинке и потом по пляжу, по твердой атласной полоске у самой воды, с ракушками, медузами, всяким морским добром.

Рыбаки отплывают. Босоногий юноша отпихнул лодку от берега и, пробежав несколько шагов по кипуче-набегавшей волне, вскочил на корму. Другие два ставили в это время парус — оранжевый в заплатках. Чуть поколыхиваясь, двинулось суденышко, подобное тем, вечным, на Геннисаретском озере, в простодушный путь к Сестри. Кое-что выловили, кое-что продали, и домой.

Ника и Таня не видали Глеба. Они шли по побережью вдаль. У Тани в руке маленькое ведерко, она им слегка помахивает. Вдруг они спохватились, болтая что-то весело, побежали

вдоль прибоя, по твердому песку. Потом Таня остановилась, взмахнула ведерком и выплеснула из него что-то в море. Ника, худенький, элегантный, в светлых штанах, с тонкою длинною шеей, выходившей из отложного воротника рубашки (что давало ему вполне юношеский вид), вдруг присел и на согнутых коленях, страшно загребая вперед руками, обошел два раза вокруг Тани — это называлось у них ходить драконом. Вряд ли в эйритмии доктора Штейнера такой номер существовал. Он являлся собственным творчеством Ники — выражал добро-восторженное состояние его духа.

Теперь они Глеба увидели. Таня со всех ног к нему бросилась.

— Папа, ты нас застал на месте преступления!

Но у нее был такой веселый вид, что на криминал походило мало.

Глеб улыбался.

— Что такое? Почему Ника вытанцовывает?

— Да ты понимаешь... Мариуччия поручила нам купить рыбы у рыбаков, она там дома сейчас готовит. Мы и купили, а рыбки начали плескаться в ведре, нам стало жалко... их сейчас жарить начнут, или варить. Я говорю Нике: а если мы их назад, в море? Ты как думаешь? Он даже обрадовался, говорит: отлично, мне самому жалко. Бросай скорей, чтоб никто не увидел. Я и бросила. А ты как раз и увидел.

Подошел Ника и сделал Глебу некий приветно-торжественный знак рукою.

— Рыбы возвращены морю по голосу сердца ребенка. Приветствую стихию моря!

И он воздел над ним руки, как бы вступая в тайнодействие.

Глеб обнял Таню.

— Вон рыбы ваши, наверно, знакомым теперь рассказывают, как было страшно, когда их поймали и кинули в ведерко...

Дома Мариуччия действительно занималась на кухне — Элли и Марина сидели в марининой комнате и разговаривали.

— *E dove sono pesci?* — спросила Мариуччия.

— *Niente pesci*, — слегка разводя руками, ответил Ника.

— Мариуччия, — сказал Глеб, — тебе придется сходить к Кармеле, взять... ну, ветчины, что-ли, или спагетти, чего там вздумаешь. Они, знаешь, что сделали — вот эти две фигуры: рыбу купили, а потом пожалели и выпустили. Прямо так в море и бросили...

— *Santa Maria!* Тания, правда, *e vero?*

— Мариучченька, я сама схожу к Кармеле, папа даст денег.

Ника вынул пачку лир.

— *Ecco denari...*

И направился к себе в комнату. Там лежала на письменном столе кипа листков — он писал нечто мистико-философическое в штейнерианском духе.

Мариуччия, оправившись слегка от итальянского остолбенения скромной девушки, для которой каждое сольдо ценно («выбросили в море!»), будто вспомнила что-то давнишнее, полузабытое, улыбнулась, вздохнула.

— *Russi, russi...*

И вместе с Таней, по мраморной лестнице мимо кабинета с сидалищем из каррарского же мрамора, побежала к Кармеле восстанавливать положение.

**
*

Элли и Марина подымались по тропинке. Они шла зигзагами — вправо, влево, иногда прямо вверх. Из-под плит ступеней пробивалась кой-где травка. За невысокой оградой, местами и развалившейся, тянулись серо-блестящие оливки. По тропинке этой ходили некогда мулы, нагруженные корзинами с тучной землей, — на скалистую почву упорно выгружали ее, и вот теперь на подсыпанных террасах то-ли огороды, то-ли виноградники: всё это многолетний труд.

Кой-где навоз дымился еще, пестрели тряпочки в мусорудобрении с генуэзских фабрик. Пахло чем-то острым. В дру-

гих местах виноградные гроздья свешивались за ограду. Их можно бы и срывать проходящим, здесь это дозволяется. Но ни Элли, ни Марина о винограде не думали: постоянно его ели.

— Высоко живет колдун, — сказала Марина, слегка задохнувшись. — Погоди, переведем дух. Ты знаешь, при моей склонности к туберкулезу и слабом сердце...

Остановились на небольшой площадке. Марина прислонилась к парапету, спиной к горе.

— Море, море! Прелестно...

Сквозь мелкий узор листьев оливковых, а правее и совсем открытое, лежало внизу море, тихо серебрясь, сияя беззвучным струением. Серые, большие и выпуклые, кругловатые, как нередко у полек, глаза Марины трепетали некоей нервностью.

— Очаровательная страна, но и странная. Вы, русские, очень ее любите, я знаю, да и мы, впрочем.

Марина всё это время была в непокойном, тревожном настроении. Всё представлялось ей в жизненном ее устройстве не совсем правильным, и с Никой не весьма налажено — она была за ним вторым браком — теперь ей казалось, что это из-за того, что у нее нет детей. Скучала и по концертам, музыке. Конечно, Ника хочет работать, писать, ему тут удобно, но Барди дыра, даже рояля хорошего у Джулии нет. В Сестри убогое синема...

— Странная страна, — повторила она с оттенком нетерпения. — Подумать, у Ники все бумаги в порядке, а мы лезем на эту кручу к stregone...

Элли засмеялась.

— Не сердись, Марина, взлезешь.

Элли знала ее хорошо. И была уверена, что ничего у ней нет ни с сердцем, ни по части туберкулеза. Просто живое воображение и мнительность.

— Италия есть Италия. Эдуард Романыч здесь живет годы, его действительно все знают — и в Сестри, и в Киавари. Мы сейчас придем, он будет очень рад тебе помочь. Не спорь только с ним об общине. Это его злит.

— Мне, золотко, до вашей общины никакого дела нет.

«Вашей» значило русской. К русским относилась Марина со своей польской высоты несколько пренебрежительно. Она считала себя «европейской» женщиной.

“Casa” Марты, вдовы рыбака, находилась теперь в двух шагах. Такая же давняя, благородно-ветшающая, как и разбросанные кое-где здесь другие лигурийские cas’ы.

Всё-таки два этажа, двор с курами и девченкой, оробелой указавшей древнюю лесенку, по которой они поднялись, постучали в древнюю дверь. Да, тут жилье Эдуарда Романыча.

Комната поклонника общины тоже ветхая и не без пыли. Много книг, пачки газет, журналов. Деревянный стол, на котором брошюры и машинка для набивания папирос, просыпанный табак, раковинки и обласканные морем голыши. У старой чернильницы порыжелая от годов ручка пера.

Хозяин, в люстриновом пиджачке, поднялся на стук — такой же сморщенный и волосато-клочковатый.

— Очень рад...

Он и действительно был рад. Не так легко оказалось усадить пришедших, но и это устроилось. Два шатучих стульчика всё-таки нашлось, сам же он прилачился, именно притулился с папироскою во рту (в комнате и так накурено, душно) на краешке аскетической постели.

Марина огляделась.

— Тут у вас по-особенному...

Эдуард Романыч молчал, покуривал, рассматривал ее. К Элли уже привык. Считал хоть и фантазеркой и неосновательной, но давно ее знал, будто своя. А эта нарядная дама, тоже нервная, но по другому, со своими браслетами, кольцами, запахом дорогих духов и слегка капризным, если не сказать надменным выражением выпуклых глаз казалась ему тоже не совсем обычной рядом с его старыми газетами.

— Вы уж меня извините, что побеспокоила, не предупредивши. Элли сказала, что можно. У меня к вам маленькое дело. Я просительница.

Эдуард Романыч сочувственно наклонил голову.

— Представьте, мой муж получает из Дании от отца день-

ти. Едет в банк в Киавари, показывает паспорт, ему говорят: это, конечно, так, но мы вам всё-таки по чеку не выдадим. Вы иностранец, приезжий, фамилия трудная — мы вас не знаем. Эдуард Романыч улыбнулся.

— Обыкновенная история. Не роман Гончарова, а повседневность здешняя-с...

Марина закипала. В живом ее воображении вновь возникла сцена в Киавари, когда Ника смущенно мялся перед чиновником, путал слова и заплетаясь пытался доказать, что он именно и есть тот, о ком говорит чек. Чиновник же уперся и ни с места.

— Обыкновенная... мне дела нет до Гончарова, но ведь денег он нам не выдал. Хороша обыкновенная... Наконец, говорит: «А-а, вы из Барди... Да, знаю, там всегда русские жили. И там есть один такой... *signor Edoardo*. Его мы отлично знаем. Если он подтвердит, что вы действительно *signor Varte-pi-ev*, тогда выдадим. А так нельзя. Ведь и сумма большая — тридцать тысяч лир!» — Вот какие у вас тут порядки. Так что приходится вас беспокоить...

— Видите, Эдуард Романыч, какой вы могущественный, — сказала Элли. — Вас на всем побережье знают и вон как ваше слово расценивают.

Эдуард Романыч вынул изо рта папиросу. Легкая краска проступила на его лице. Не желая выдавать чувств, он сказал преувеличенно мрачно:

— Не первый случай. Когда наших тут было много... и получались переводы, меня не раз в Киавари возили. Помните, — он обратился к Элли: у нас был такой... Косарев, тоже наш, хороший товарищ. Но вы над ним почему-то смеялись... хм-м... и звали Кобыльей головой.

— Помню. Я на него раз из второго этажа водой плеснула, мы были тогда молоды и всякие глупости устраивали. Я думала так, пошутить, брызнуть, а вышло, что здорово его облила, он даже обозлился.

— Вот, вот, Кобылья голова. Ему особенно не везло. Как из Парижа деньги, так чиновник не верит, что он Коса-

рев... именно скорее за Кобылью голову считает, как и вы тогда полагали. Значит, подавайте сюда Эдуарда Романыча, для удостоверения личности. А он был серьезный член партии, верный товарищ.

«И в общину твердо верил», чуть было не сказала Элли, но во-время спохватилась.

Эдуард Романыч, конечно, охотно согласился доказать свое могущество.

— Мы возьмем хорошую коляску, отвезем вас с удобствами в Киавари, позавтракаем там.

— Это всё несущественно. Это неважно-с...

Марина немножко отошла. Другой ветер подул в существе ее, вдруг стало казаться, что всё хорошо, даже это логово отшельника с книгами, камушками, ракушками. Она попросила показать камушки. Он стал выкладывать свои коллекции.

— Этот особенно ценю: видите, на нем вырисовалась как-будто японочка с зонтиком. Ведь это игра волн и трение гольшей-с! В собрании моем номер первый.

Он пыхтел, клочковатости на лице его задвигались, он оживился и начались мечтания: коллекция его драгоценна, он продаст ее американцам за большие деньги, уедет в Париж и там издаст свою книгу об общине.

Элли знала всё это наизусть — книгу он пишет годы и всегда переделывает и всем рассказывает, но толку никакого. Глеб весьма даже подозревал, что вообще книга — миф, дающий ему возможность жить — груда бессвязных листочков, мелко и неразборчиво написанных. Не зря Мариуччия считает, что все русские — писатели.

Сейчас в голове Элли было другое. Она чувствовала это, но не сознавала ясно. И только когда, поблагодарив, собрались уходить, вдруг спросила:

— А вы знаете что-нибудь о Кобыльей голове? Что он? Как?

Лицо Эдуарда Романовича изменилось.

— Знаю.

— Что же?

— Он имел глупость уехать в Россию. Вы вот верующая... в церковь ходите. Так поставьте свечку за упокой души раба Божия Василия.

Элли глухо спросила:

— Как же это случилось?

— По нашим сведениям-с, — холодно ответил Эдуард Романыч, — он вначале занимал какой-то «пост», а потом его нашли неподходящим, заподозрили и вывели в расход. Дело простое.

Спускаться от Эдуарда Романыча было гораздо легче, чем к нему подыматься. Спускались в обратном настроении: Марина в нервном, почти веселая, Элли помалкивала. Уже близ виллы Джулии, проходя мимо неказистого двухэтажного дома с закрытыми сейчас ставнями, она сказала в задумчивости:

Тут мы и жили с Глебом тогда... еще и Танюши на свете не было. Из этого окна, из озорства, я и плеснула водой на Кобылью голову.

Когда подымались к себе по лестнице, по насыпи за дорогой пролетал, гремя, римский экспресс. В тишину Барди внес он свою обычную бурю, мелькая роскошными вагонами, рестораном. Элли вошла в столовую. Промелькнул последний вагон с надписью: «Roma-Parigi». В полуоткрытую дверь в комнату Ники видно было, как Ника, вскочив из-за стола, в такт бега поезда выбивал ногами по

«Яро мчится дирета-ч-ч-ио
Дретана-н-ндра-ка-ка-ччио!
Яро мчится диретиссимо,
Диретана-ндра-ка-киссимо!»

Марина махнула рукой.

— Что с вами русскими поделаешь! На каждый поезд вскакивает и приветствует своей чепухой, с Таней рыб в море обратно пускает...

Эли улыбнулась.

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Оставь, он чудный у тебя.

Да уж конечно, раз стихи пишет и занимается философией, надо что-нибудь такое вытворять.

Эли прошла к себе в комнату, по другую сторону столовой.

Благословенный свет наполнял ее, лился из раскрытых окон вместе с благоуханьем апельсиновых, лимонных рощ — это был тот свет Италии, который всегда пробуждал в Элли волнение и восторженность.

У комода со всякими безделушками, с фотографиями родных Джулии в рамках из раковин, Таня стояла с метелочкой, перебирая мелочи, смахивая пыль. На лице ее была тихая улыбка.

— Радость моя, я как раз перед твоим приходом вынимала из чашечки папино перышко. Которое в Вероне на козлика нашего спустилось. Я его поцеловала, обмахнула и опять поставила, и вот даже под этот стеклянный колпак, видишь, где Джулины бронзовые часы — пусть под колпаком хранится, а то Мариуччиа будет убирать комнаты, по ошибке и выбросит.

Элли обняла ее.

— Храни, храни. Люби нашего книбеля.

Таня засмеялась.

— Это я его так называла, когда маленькая еще была, в Прошине. А ты знаешь, мы сегодня с Мариуччией ходили на кладбище, там ее мама похоронена. Она плакала на могилке. А потом сказала, что у них первого ноября праздник Всех Святых, и у кого близкие на кладбище, то на могилках вечером зажигают свечи, цветы приносят, сидят — будто в гостях у своих. И недалеко показала могилку, говорит: Тапа (знаешь, она не может хорошо выговорить наше я), тут один русский похоронен, это давно было, но твоя татша наверно помнит, она как раз тогда тут жила.

-- Помню... нет, не при нас, но мы скоро потом сюда приехали, и все говорили об этом. Он, кажется, утонул?

-- Да, купался, утонул.

ДРЕВО ЖИЗНИ

Таня прижалась слегка к матери.

— Он там один лежит. Мариуччия сказала: к нему никто не приходит. Эдуард Романыч знал его, но он ничего этого не любит, а больше никого нет.

Таня помолчала.

— Его звали Антон. Он был из простых. Вроде рабочего. Я за него молиться буду... что ж он, так один. А еще, знаешь: в этот день Всех Святых пойдем к нему в гости. Снесем цветов, свечечки зажжем...

Элли слушала молча. Потом вскочила, обняла ее и поцеловала.

— Пойдем. Зажжем.

Свет вливался эфирной влагой, его волны втекали из окон, наполняли, переполняли комнату виллы Джулии. На глазах Элли блестели слезы.



Так, медленно и незаметно, из вседневных малых событий, слагалась жизнь их теперь в этом Барди — таинственная ткань, которая с таким же постоянством, в разных направлениях прядется и для всех людей, пока дано им видеть свет Божьего дня. В Прошине были у матери в это время свои заботы и свои одинокие дни, в Музее у Геннадия Андрейча другие, а для Глеба, Элли, Ники и Марины на мирном побережье генуезском третьи.

Взгляд Мариуччии на русских («все — писатели») подтверждался. Слева от столовой, в комнате с окнами на море, строчил Ника. Справа, с окнами вдоль дороги и на горы, Глеб. Но не так упорен был как Ника, занимался лишь до завтрака. Ника тоже прерывал труд к часу дня, выходил худенький, побледневший, наскоро глотал, что надо, острил в духе Владимира Соловьева (т. е. несмешно, но сам радовался), и пока Глеб утешался еще красным вином, горгонзоллой и фруктами, убегал вновь к столу, на котором кипа листов росла с каждым днем.

Путешествие в Кивари оказалось удачным. Эдуард Романыч хмуро сидел в коляске рядом с Мариной — Ника напротив на скамеечке, как ученик. В банке всё обошлось сразу хорошо. («Ah! Signor Edoardo, come sta? Sta bene? Anch'io, grazie. Sono i suoi amici? A tanto meglio...»). На этот раз не спросили даже документов. («E amico del signor Edoardo...»). Марина была в восторге. Забрав у Ники половину денег, тут же угостила signor Edoardo завтраком в хорошем ресторане с pollo arrosto и бутылкою Asti. Тут же клятвенно обещала теплый зимний жилет. А на обратном пути, когда проезжали мимо Воспитательного дома, велела извозчику остановиться, долго рассматривала здание, восхищалась белыми младенцами, пеленашками на голубом эмалевом фоне над входною дверью — вечные медальоны делла Роббиа — и остальную дорогу, до дому, была задумчива.

Пеленашки эти произвели в ней некий перелом. Не первый уже день, тоскуя, что у ней нет ребенка, мечтала она взять приемную дочь — именно девочку, ангельски-евангельского ребенка (в Евангелии, смутно помнила, очень восхвалялись дети).

А теперь эти изящные медальоны. И надо же так, что проезжали как раз мимо них! Нет, не зря указание. Из высших духовных сфер подаются знаки.

Вернувшись домой, она почти и забыла о всей истории с банком — какие пустяки! Есть кое-что поважнее. О чем бы ни заговаривала с Элли, сводила на это. О чем бы сама ни думала, кончалось тем, что девочка, очевидно, должна быть итальянчочкой — черноглазый ангел, которому она даст отличное и воспитание, и образование.

Ника отнесся к предприятию туманно. Мало занят был подобным — у него свое дело.

— Да, конечно! Как хочешь... странно немного... итальянская девочка.

Потом вдруг вскочил и оживился.

— Знаешь, как в анекдоте приглашает к себе в гости: «зову, но не настаиваю».

Ему очень это понравилось, он дико захохотал и пройдясь драконом, всё повторял:

— Но не настаиваю! Не настаиваю!

Марина осталась недовольна. («Ах, эти русские!»). Но у Элли имела еще менее успеха. Элли в молодости сама была склонна к сумасбродствам, но сейчас вдруг проснулся в ней здравый смысл камышниковско-владимирской крови.

— Знаешь, Марина, это всё чушь. Выдумки.

Тут уже Марина рассердилась, а потом и заплакала. («Ты мой друг, а меня не поддерживаешь»). Но Элли всё-таки не поддержала. И Марина дулась на нее. Но от намерения не отказывалась и решила написать старой русской даме, одной из помощниц Доктора в Дорнахе. Вот как она скажет, так и будет.

Но дама не отвечала, время шло. Марина совсем изнервничалась. Наконец, решила во что бы то ни стало ехать в Киавари, в Воспитательный дом.

Опять коляска, пара лошадей, опять путешествие по приморской дороге на Лаванью, мимо октябрьского, бело-кипящего прибоем моря. Только вместо *signore Edoardo* — Глеб рядом с Мариной, а Ника опять мальчиком напротив на скамейке.

Когда переезжали по мосту в Лаванье через реку, здесь впадающую в море, Глеб сказал:

— Это Энтелла. Река Энтелла. Упоминается в Божественной Комедии.

Марина рассеянно, нервно слушала.

— Энтелла... да, Божественная Комедия... Данте, конечно, был посвященный.

Ника встрепенулся на своей скамейке.

— Как и Рафаэль.

В приемной Воспитательного дома встретили их вежливо. Но не без удивления. Пуская в ход весь свой итальянский арсенал, Глеб объяснил, в чем дело. Их повели к директору. В другой приемной, более обширной и довольно сумрачной, они ждали несколько минут. Наконец вышел доктор,

немолодой и серьезный итальянец — Глеб опять рассказал, в чем дело. Постарался изобразить так, что вот люди со средствами, бездетные, хотят взять и хорошо устроить, как собственного, ребенка — впоследствии он получит наследство.

Глеб сам на себя удивлялся. По итальянски говорил вообще плохо, но тут разошелся. Почему, собственно, неизвестно. Всё предприятие казалось ему авантюрой, но этот странный театр, полусумеречная комната старинного дома в мало кому ведомом городке Киавари, серьезное лицо доктора — всё было необычно, точно на сцене, и Глеб, на чужом, но милом ему языке, в необычных обстоятельствах, ощутил даже некое вдохновение. Ему захотелось убедить! — редкий для него случай.

Доктор слушал внимательно. А когда Глеб кончил, сказал тихо, любезно и непреклонно:

— Это совершенно невозможно. По закону мы можем отдавать детей только итальянским подданным и при условии, что взявший живет в Италии.

После краткого молчания, неопределенных полу-возгласов, полу-вздохов, оставалось только подняться и раскладываться.

Назад ехали в ином настроении. Марина молчала — явно была расстроена. Глеб же и Ника помалкивали загадочно-весело. Когда подъехали к реке, Ника вдруг сказал:

— Вот опять и Энтелла, до которой ни нам и ни Данте нет дел-ла!

И захохотал. Марина гневно на него взглянула.

— Вечные дурацкие остроты!

«Ничего», думал Глеб: «скоро будет Барди, позавтракаем, всё пойдет и спокойно, и правильно».

Когда подъезжали к вилле Джулии, из окна высунулась Таня.

— Козлик, где же *bambina*?

— *Niente bambina*, — весело крикнул Ника, выскочил из экипажа расплачиваться.

В тот же день, к вечеру, подали телеграмму из Дорнаха:
— «Dievotchke otgajitess».

Элли улыбалась.

— Я рада, — тихонько сказала Глебу. — Всё вышло хорошо. — Ot-ga-j-i-tess!

**
*

Дни, однако же, шли, незаметно накапливаясь, незаметно уходя, но оставляя след как на горе Сант Анна благоухание фиалок с ветерком из Пармы. Это именно было то, за что и Глеб и Элли любили Италию и поклонялись ей.

По утрам два писателя, подтверждая взгляд Мариуччи, трудились пред раскрытыми на море окнами, в кухне Мариуччи скромно главенствовала в свободные от бабки часы. На побережьи у моря виднелись иной раз две фигуры — старый и малый: Эдуард Романыч с Таней собирали камешки.

После провала девочки Марина впала в еще большую нервность, стала торопить Нику с отъездом. Теперь непременно надо в Сицилию, и именно в Таормину. Никуда больше. В этом райском месте найдет она истинное успокоение. Ника не возражал, но сказал, что Сицилия это почти то же, что Цецилия — Марина, блеснув круглыми серыми глазами, заметила, что это глупо. «Ты утомляешь меня своими бессмысленными остротами».

За несколько дней до отъезда их, в день 1-го ноября, Элли, Таня и Мариуччия зашли перед вечером на кладбище. День был серый. Вдали море шумело. Белое ожерелье его ярко очерчивалось по пляжу.

Пожилые итальянки с цветами и свечечками, приодетые девочки бродили среди мраморных памятников. Несколько кипарисов, дальний вид на пустынную вод моря — так остался этот день Всех Святых в памяти Тани, так и ушел с ней в дальнейшую ее жизнь. И отец, и мать говорили уже, что недолго теперь оставаться здесь, к декабрю надо трогаться в Париж, устраиваться оседло, начинать учить Таню.

Положили цветов на могилу матери Мариуччи, подошли и к Антону. Засохший букетик лежал еще у креста. Прибавили и ему цветов и поставили свечку. В начинавшихся сумерках светила она слабо, невещественно-тонко. В одинокой свече одинокой могилы было нечто пронзающее. Это все трое чувствовали.

— Мариуччиа, — сказала Элли. — Когда мы уедем, ты заходи иногда к нему.

— Sì, — ответила Мариуччиа. — Понимаю. Он русский. И родных нет. Буду заходить. Пожелай мне, Elena, чтобы когда умру и ко мне кто-нибудь зашел.

Элли вздохнула.

— Милая Мариуччиа, мы разбросаны все по свету. Вот и мои родные остались в Москве и не знаю, увижу ли их когда... А ты живи, ты надейся, Мариуччиа. Где Господь нам укажет, там и ляжем. И будем друг друга всегда помнить и любить.

— Ah, Elena, вы позабудете меня скоро в Parigi... Parigi e una città splendida, не то, что наше Барди.

— Я тебя не забуду, Мариуччиа, — сказала Таня. — У меня и в России есть подруга, дочь нашей кухарки Прасковьи Ивановны. Я ее никогда не забываю, и она меня не забудет — мы так условились, когда в Москве прощались. А ты теперь вторая. Я тебя тоже люблю и не забуду.

Мариуччиа наклонилась к ней тонкое, остроносое лицо свое, обняла ее и поцеловала.

— Tu e buona, Tania, come mamma. Как твоя мама, добавила она вдруг ясно по-русски, точно чтобы крепче было.

Борис Зайцев

(Продолжение следует)

ЛОСИ

I

Всё выше в звездную синь неба уходит луна. Оседает иней. Красив и мертв лес в тишине наступающей ночи. В лунном свете лес сплелся ветвями, как белыми кораллами. Тишина. На сотни верст расхлестнулась дремная глухомань, спрятавшая буревалы, кочи и норы в пуховом снегу. Глушь. Ни звука, ни шороха. В березовой поросли, в непролазном болотном чапыжнике — залегли лоси. Осели тут на зимовье.

С осени они избороздили огромные пространства. Были у Ветлуги, переметывались к истокам Керженца, появлялись на Пышуге и Ухтыше, — и везде неугомонный человек и стук его топора. В предрассветную пору, пробираясь к этим местам, лоси и здесь видели тихий лесной кордон. Жалобно скрипели на утреннем ветру полусломанные, расхлябанные ворота. Но лоси были уже далеко; гуськом, след-в-след, ударились они сюда, в дикую болотную чапыгу, — подальше от запаха жилья и человеческих следов.

Уже вторая ночь, жгуче-морозная, медлительная, охраняет лосиный покой. Уже обтаяли под ними в снегу лёжки — бурые котловины. Тут быть и зимовью. В густо заиндевавшем чапыжнике, как раз под узловатой болотной березкой, темнеет на белом двойное взбугрившееся пятно — матка и теленок, головами в разные стороны. Поодаль, из лежанки дыбится копной округленная к спине матерая туша рогачалося. Морду он подвернул к боку, и рога, приложенные к спине, в бледном свете луны обрисовываются четко и роняют

на синий снег ветвистую тень. Челюсти изредка жуют жвачку. Широкие лопастные уши время от времени сторожко прядают. Чутко дремлет рогац. Тонкий слух настрожен неусыпно. Но кругом тихо.

II

Луна в зените. Еще ярче, еще призрачней лес в морозной синеве. Среди бурвала, причудливо укрытого снегом, вьется, виляя меж деревьями, свежий лыжный след. Вблизи он тускло стеклянится, слабо отражая в себе лунный отсвет, а дальше — теряется в матовой искрометной белизне. Огибая высоко вздыбившийся выскирь* бурелома, по следу бесшумно выплывает на полянку человек, черный в окружающей белизне и синеве, лохматый в шапке-ушанке, с ружьем за спиной.

На полянке прислонился плечом к дереву — и будто задремал, одеревянев, как та темная стволина. Долго стоял он так, неподвижно, повесив веревочки от лыж на руку. С другой стороны, от ровной болотной низины нарастали тихие размеренные шорохи-вздохи.

Человек у дерева шевельнулся, тихонько двинулся по стеклянневшейся лыжне навстречу шорохам, — и вот, под огромной осиной, странно-зеленой в свете луны, сошлись два человека. Они некоторое время молчали. Стояли и молчали. Видно было, что не впервые они сошлись в эту ночь на уторённой лыжне. Потом заговорили — разговор их был краток, тих.

В кругу ли?

— В кругу.

— То-то.

Еще постояли, неподвижно, молча. И вдруг, оба враз, по-солдатски замахали руками — для согрева. Первый, у которого было ружье за спиной, снял рукавицу и ошипывает сосульки с усов и бороды. Потом он отогнул у шапки уши и несгибающимися пальцами долго завязывал их у подбородка.

А другой — приземистый, до глаз по-бабьи обмотан

* Выскирем наз. дерево, вывороченное бурей с корнями и землей.

платком, кудряво-заиндевшим от дыхания. При его малом росте голова в платке казалась огромной. Моргая белыми бровями, он глухо, простуженно засипел из-под платка.

— Скружим еще раз. Да и на кордон, вестить...

Еще помахали руками и разошлись — один в одну сторону, другой в другую. Будто растаяли.

Недолго тихонько пошорыхали их лыжи среди бурелома и бело-коралловых кустарников, нарушая звенящую тишину.

III

Тягуча и долга зимняя ночь в дикой лесной глухомани. В такую ночь и сон, и явь по одной тропе бродят. Но вот звезды начинают тускнеть. Меньше горит искра на белом пуху. Луна пошла книзу. Ее диск уже не так ярко, он чуть зарумянился золотым налетом, а вокруг — венчик легкой золочёной дымки. Тени на земле удлиннились. И лес, вверху сплетшийся ветвями, понизу загроможденный буреломником, стал уже не так воздушен и прозрачен, — ушло сказочное, ночное. Чутется близость утра.

Лесная дорога корытцем, еле приметная, козыряет так и этак, увертываясь от низин и увалов. При ней кордон — длинная старая изба шестистенная, упятившаяся службами в гущу бора. Ни огня, ни звука. Странны в предутреннем лунном свете полусломанные, распахнутые ворота. Над воротами чучело какой-то большой нелепой птицы на шесте...

Городские троечные пошевни, видные в настежь открытом дворе, поблескивают гвоздиками и наугольниками жестяной обойки задка. Во въезжей, на сене, настланном во весь пол, спят трое охотников. Натоплено жарко. Люди разметались как попало. Один густо всхрапывает, и усы тихонечко шевелятся, вздымаясь и оседая. Косо и тускло врезался сюда предутренне порозовевший свет луны и затейливыми изломами отпечатал на спящих охотниках крестовину оконной рамы. Лунным же лучем выхвачен из сумрака край грубого стола и желтая спинка стула с прорезом в виде сердца. На освещен-

ном краю стола поблескивает плечиком бутылка, бело разбросаны окурки папирос, торчит ножик, воткнутый в хлеб.

Валяются какие-то ремни, патронташи. За стеной, в людской, луч кладет косую крестовину рамы во весь пол и загибает ее на бревенчатую стену, освещая обувающиеся ноги лесников.

В сумраке виснут густые и тягучие вздохи, зевки, хруст потягивающихся тел, азартный чёс. Но вот торопливо, ядрено и твердо проскрипели по двору шаги, направляясь от ворот к людской. Где-то на сеннице яростно залаяла собака, но тотчас перешла на дружелюбное повизгивание.

Рыкнула смерзшаяся дверь в людскую. Вошедший крякнул. Зевки и чёс сразу сменились оживленным говором.

В подпольи запел петух; кто-то ругаясь искал рукавицы; а дверь то и дело рыкала, — и людские голоса и шаги уже расплзались по двору, застревая в сарае, на сеннице, что-то улаживая под окнами.

Завозились в сенцах въезжей, шаркая по стенам. Что-то упало там, — решето ли, кузов ли, — и мужичий голос, частобаем выругавшись на баб, твердо сказал:

— Пора будить... Самый клёк.

IV

Увеличенная, потерявшая правильную округлость, теперь медно-багряная луна скатилась уже до верхушек леса, и самые высокие ели рисовали на ней четкие крестики. Сбоку же, невесть откуда взявшись, прильнуло к ней длинное серое, тусклое облачко, косо растянувшись по небу, будто своим длинным хвостом зацепилось за вершины леса.

Иней стал оседать. В его призрачном пологе небо утратило свою бездонность, почти слилось с белизной земли и леса, тут и там слабо отчеркнутое вершинами.

Мороз мякнул.

Укрытые чапыжником и березовым молодняком лоси попрежнему мирно лежали на болоте. Их хребтины припоро-

шило инеем. Они теперь почти неприметны. Дремля затяжной утренней дрёмой, теленок положил свою голову под самый бок матки, а та, вытянув шею, поместила угловатую свою морду вдоль спины детёныша.

Самец давно перестал жевать жвачку, но уши его, время от времени, всё-таки лениво прядают.

Кругом тихо. Бело, ровно. Быль и небыль...

Уши рогача вдруг тихонько вздрогнули и насторожились, но дрёма еще не покинула лося. Потом уши внутренней стороной сразу вывернулись как-то влево, поддержались малое время так, потом — вправо. Ноздри с шипением потянули в себя воздух. Дрёма уже потревожена. Лось что-то почуял. Но кругом тихо.

Еще два-три мгновенья и лось невероятно быстро и легко, будто пружиной выброшенный, взвился из логова на ноги и замер, неподвижный: среди белого — темная скала, красивая в своей неуклюжести, с высоко поднятой головой, ветвисто увенчанной рогами.

Уши быстро вывертывались туда и сюда, настораживаясь, а широкие ноздри шумно вдыхали острый утренний воздух болота — знакомую горечь березняка, гниющих подснежных мхов, осинового коры... В тот же миг и так же быстро и легко вскочили самка и теленок. И так стояли трое.

Всхрапнув, самка тоже запрядала ушами, а лосёнок, посовавшись у ней под брюхом, сначала спросонья потянулся на передние ноги, потом на задние, встряхнулся и беспечно начал охмыстывать с молодняков почки.

Красная, расплывчатая в усилившейся мгле инея, луна катилась за лесом, за вершинами деревьев. Ночь отходила. Тишина. Но в ней что-то притаилось.

V

Почти ободняло.

Белесая утренняя просинь залегла и в небе и понизу — меж стволов и обвисших ветвей. Где-то одиноко затенькала синица. Дымчатым комочком вылезла из дупла белка и,

вспушив хвост, воздушно перемахнула на другое дерево. На дороге, на укатанный лесной проселок, оставляя позади себя правильную прошву следов, осторожно пробралась лиса. Вышла, обнюхалась и деликатно, по-собачьи, присела задом в корытце наката. Глазки острые, по-лесному дремлы — какая-то древняя зелень в них лесная. Вдруг лиса зашмурыгала острым носиком, тихонько подняла зад, прислушалась, прямо поставив уши — и быстро скрылась, оставив за собой на снегу правильную стёжку следов.

Вскоре, скрипя и покёркивая, по дороге вытянулся обоз — тридцать два воза со щепным товаром. Мужики, сонные ветлужане, в распахнутых, заиндевелых тулупах, как в ризах, с кнутами подмышками, тыкающейся походкой бредут за возами. Долга была ночь в пути, много переговорено, устал язык, устало тело, онемели ноги. В самый бы раз навалиться на ведёрный самовар — упреть, да на часок в медовую дрёму, пока кони кормятся...

От возов приятно несет сухой липой и лаковыми ложками. Из-под увала обоз медленно, как большая змея, выползает на поляну, к распахнутым воротам кордона — тут и кормежка. Так уж водится испокон века.

Передние возы что-то замешкались, встали, — и весь обоз, убавясь в длину, сомкнулся, стал: хвост спустился под увал, голова — на поляне, у кордона. От задних возов не видно, почему встали. А итти туда лень.

Лошаденки, мухрастые вятки, понурились, парят ноздрями, носят боками, — отдыхают. Передние мужики сгрудились у ворот кордона, обступили что-то своими широчеными тулупами, тыкают кнутовищами, гудят и дивуются, сбивая шапки со лба на затылок.

Ну и матёр... Вот туша, братцы, а!

— Пудов, чай, полста. А рога энти самые...

— Да-а... Ватажный, одно слово.

— А што я скажу вам, — подошел еще один, обсусоливая снеговой бородой цыгарку, — на зорьке сѣдни, сюда едучи, видели двух неподалеку... Ну, только — корова

и телок. Пронеслись, значит, вихорем через дорогу, альни пух летит... Вот и Митрий скажет...

Лесники на крыльце, те, что ночью скружали лосей, чистят ружья, протирают их, а запасная пакля — в зубах.

Петух на сеннице орет и орет, так что эхо в лесу раскатывается. Ворона, откуда ни возьмись, села на поднятые оглобли городских пошевней во дворе.

На середину двора вышла молодуха, рябая и босая с подоткнутым подолом, с толстыми икрами поросячьего цвета и начала вытряхивать огромный рыжий самовар. Ворона сорвалась и боком, делая круг, полетела куда-то за крыши служб.

Скрипя и повизгивая, обоз понемножку распрягался. Оглобли подымались стояком в белесое утреннее небо. От обоза попахивало липой, лаком и овсистой помётю.

Из трубы старого кордона закудрявился сизый дымок. Остро и приятно в свежине воздуха шибало в нос этим дымом и овсяным киселем, — жильем пахло. Фыркали лошади, хрустя заданным сеном. Домовито звучали голоса — люди пробирались от возов в тепло избы. Тощая собака, сделав хребтину дугой, поджимая хвост под самое брюхо, мелко дрожа, слизывала кровавое пятно на снегу и налету ловила языком яркие красные капли, что сочились из паха рогатой туши, уже взваленной на дровни.

Игорь Красуский

Ж И З Н Ь

Не дорóгой — тропой дремучею
Мчишься гоголевским Хомой.
Оседлала меня, замучила,
Наглумилася надо мной...

Осадить бы! В крапиву свалится!
Только страшно! Ведь в тот же миг
Обернется она красавицей
И предсмертный раздастся крик.

Будет стройною, черноокою
На земле лежать, не дыша.
И заплачу над ней, жестокою,
Той, что всё-таки хороша!

**
*

Мы с тобою ее запомнили,
Эту медленную весну:
Гиацинты на подоконнике,
Восковую их белизну;

А за ними, весь в колких лужицах,
Тихий дворик, московский, тот,
Что — прикажет весна — закружится,
Защелкает и зацветет.

С Новодевичьего, с соседнего,
Мерно пели колокола.
И любовь наша тоже медленной,
Вот как эта весна, была.

Всё прилаживалась, примеривалась,
Подмерзала то там, то здесь,
Чтобы, словно сперва не веря в нас,
После вдвое щедрей расцвести.

...Вспоминаешь, и в сердце — лужицы,
Гиацинты, колокола,
И та девушка, в косах, в кружевце,
Что тобою тогда была.

Д. Кленовский, 1952

Мы плыли вдоль улиц
(Мой дом, мой ковчег),
А к ночи наткнулись
На звезды и снег.
Мы здесь заночуем,
Здесь окна горды
Ночным поцелуем
Полярной звезды.
И куст, что от дома
За день отнесло,
До боли знакомо
Задел о стекло.
Дорога дневная
Шумна и пуста
И все что я знаю —
Доплыть до куста.
Всё, всё что я знаю
О дне прожитом —
Всё — только дневная
Разлука с кустом.

Иван Елагин

1

Сияет огнями Париж,
Кончается нежное лето,
Луна над квадратами крыш
Ослепла от яркого света.

Всё то же: шуршание шин,
Автобусов грузных стремленья,
Прямых быстроходных машин
Холодное щучье скольженья.

В полях елисейских, в раю,
Во сне золотом и хрустальном,
Свое я с трудом узнаю
Лицо в отраженьи зеркальном.

А тучи идут и идут,
Как копоты черные хлопья,
И в ярости небо метут
Прожекторов острые копыя.

2

И после девятого вала
Подвижница Муза опять
Таинственно нас волновала,
Сердца заставляла звучать.
Пленительно-смутное пенье
Во тьме, в пустоте ледяной...
Так тянется к солнцу растенье,
Лишенное почвы родной.

3

Сохрани на память, милая,
Свой платочек голубой.
Реет сила шестокрылая
Над тобой и надо мной.

Ветки свесились зеленые,
Тень ложится с высоты
На парижские хваленые
Храмы, арки и мосты.
На чужбине — много надо-ли?
Стань поближе, не тужи.
Чтобы слезы вновь не падали,
Туже память завяжи.
Бог послать тебе захочет
Счастье, милая моя.
Незачем так мять платочек,
Теребить его края.

4

Заката осеннего свежесть,
Высокие облака.
На камне оставила нежность
Твоя дорогая рука.
И кажется всё просветлело
От счастья и теплоты,
Пока так прощально смотрела
На небо вечернее ты.

5

В доме тишина глухая.
Не могу забыться сном.
Сколько гроз в начале мая
Прошумело за окном?
Сколько листьев в прах упало
Поздней осенью в саду?
Каждый год весну встречало
Сердце, чувствуя беду,
Сердце билось, замирая
От такой-же тишины,
Каждый год не доверяя
Обещаниям весны.

6

Здесь ничто, ничто не вечно,
Всё проходит, всё пройдет,
Счастьем, юности беспечной
Тоже гибель настает.

Как утешиться — не знаю,
Но зачем-то нам дана
Эта музыка земная,
Эта звонкая весна?

Налетает вдохновенье,
Настигает налегке,
И волна смывает пенье,
Словно надпись на песке.

Ю. Терапиано

У М А Я К А

Здесь на юг пролетают птицы,
Обгоняя случайный шквал.
Здесь с разбега волна дробится
В горьковатую пыль у скал.

Здесь прибой потрясает гривой,
Словно вздыбленный белый конь.
Здесь ночами во мгле бурливой
Зажигает маяк огонь.

Но привычные к тьме безлюдья,
Не понявши зачем и как,
Перелетные птицы грудью
Ударяются о маяк.

И крылатое, став свинцовым,
Исчезает в морской пыли...

Вдалеке благодарным ревом
Откликаются корабли.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

До раскрывшегося цветка
Добираюсь тропой крутою
И сползаю. Полна рука
Мокрой глинистою землею.

Сжать кулак, и она тогда
Между пальцев ползет щекотно.
Если б жизнь ощущать всегда
Так объемно, свежо и плотно,

Как вот этой земли кусок,
Как жужжанье пчелы над ухом,
Как на крепких зубах песок —
Осязанием, вкусом, слухом!

И нацеливаться сорвать
Тот дурманящий, тот колючий...
И карабкаться вдругорядь
По отвесному склону кручи.

Николай Моршен

МЕЧТА

Не хочу, чтоб ты меня любила,
Поджидала ночью у ворот,
По пятам, как тень, за мной ходила,
Надувала свой пунцовый рот.

В этой жизни подлой, беспощадной,
Стал и я бесчувственно-жесток.
Как дурак, за будкой лимонадной
Ни у чьих уже не млею ног.

Замолчала пламенная лира
И мечта моя лишь об одном:
Задушить кутящего банкира
И ограбить мертвого потом.

САМОУБИЙЦА

На скучном свадебном обеде я
Сидел и свадьбы проклинал.
А рядом в комнате трагедия
Разыгрывалась и не знал

О том никто. Икра, шампанское...
Домохозяин был речист.
И что-то ухарски-цыганское
Играл подвыпивший пьянист.

«За новобрачных!» Тост классический.
И наступила тишина.
Но крик раздался истерический:
«Он выбросился из окна».

С тех пор лишь год прошел, не более.
Живем. Забыт тот день давно.
«Припадок острый меланхолии».
И этим всё объяснено.

И поросла травой забвения
Могила. Замужем вдова.
Ни ужаса, ни удивления,
Пустопорожные слова.

Но в час вечернего молчания
Я часто на могиле той.
И странное очарование
Тогда овладевает мной.

И будто слышу — и так внятно — я:
«Мне хорошо. О, не зови.
Здесь светит солнце незакатное
Неугасающей любви».

Владимир Злобин

**
*

Над черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.

Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.

Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом.

И Ангел плакал над мертвым ангелом...
— Мы уходили за море с Врангелем.

**
*

Луч зари позолотил окно,
Утреннюю не затмив звезду.
Это всё обман — давным давно
Я живу в аду.

Я уже давным давно привык
К паукам Геены, к свисту змей...
Слизывает дьявольский язык
Свет с души моей.

Я давно измучился вконец
В мутных днях, которым нет конца...
Медленно летит во мгле свинец
В сердце из свинца.

И когда протянет руку друг,
И когда глаза любви сверкнут,
Всё равно не разорвется круг
Сатанинских пут.

Лишь во сне, в тумане, вдалеке,
Луч зари над золотом реки...
— И горит звезда в моей руке
И не жжет руки...

**

*

Осталось немного — миражи в прозрачной пустыне,
 Далекие звезды и несколько тоненьких книг,
 Осталась мечта, что тоской называется ныне,
 Остался до смерти короткий и призрачный миг.

Но всё-таки что-то осталось от жизни безумной,
 От дней и ночей, от бессонниц, от яви и снов,
 Есть Бог надо мной, справедливый, печальный,
разумный,
 И Агнец заколот для трапезы блудных сынов.

Из нищей мансарды, из лютого холода ночи,
 Из боли и голода, страха, позора и зла,
 Я выйду на пир и увижу Отцовские очи,
 И где-нибудь сяду у самого края стола.

**

*

Никогда не услышишь... — и вдруг далеко, далеко,
 Ближе, ближе, сначала чуть слышно, как дальнее эхо,
 А потом как ручей, что звенит между скал высоко.
 А потом как касанье к щеке драгоценного меха.

Еле слышно, но вот уже ближе и громче, и вот
 Мир гремит как оркестр, и как ласточки скрипки взлетают.
 И орган как гроза, и о счастья арфа поет,
 И вдали барабаны трагический ритм отбивают.

Всё печальней, всё выше, всё сладостней зовы трубы,
 Тихо флейты запели, волторны, виолончели,
 И волшебным легко распадается клетка судьбы,
 И душа в этих звуках летит как орлица в метели.

И тогда, о! тогда... — но уже утихает струна,
 Глуше, дальше, как эхо, как сон, как погибшая слава.
 Тишина. Пред тобою немеет глухая стена,
 Над тобой потолок и в грошевом стакане отравя.

Влад. Смоленский, 1951

**
*

Стали подниматься на ступени
Душ обезображенные тени:
Жабы, крабы, змеи, попугаи,
Пауков подслеповатых стаи,
Всяческих размеров черепахи
И за ними черные монахи.
По ступеням солнечным всё выше...
Телеграфные столбы и крыши,
И лунатикам любезные карнизы —
Спрятали монашеские ризы.
Выше, выше! Через кантик тучи,
Но чем выше, тем ступени круче.
На лужайке, с розами в руках,
В нестерпимо ослепительных лучах,
Мальчик в рубашонке, на краю
Незлобливо улыбается в Раю.

**
*

Ветхий, очень ветхий дом,
Редкий дом, в котором ром
Подают к обеду —
Я туда поеду!
Прохожу зеркальный зал,
Император танцевал
В нем с веселой Настей,
А теперь-то страсти:
Посреди стеклянный гроб
И в гробу несчастный Боб,
Бывший сумасшедший,
Свой покой нашедший.
Ветхий, очень ветхий поп,
Обходя раскрытый гроб,
Шевелит кадило.
Вырыта-ль могила?
Глухо стонет ветхий дом,
Пьют в столовой крепкий ром
И ведут беседу...
Нет уж не поеду! *Юрий Одарченко*

ПОДЛИННОЕ И ЗАКАЗАННОЕ

Что к явлениям советской художественной литературы наших дней немисливо подходить с традиционными мерками критических суждений и оценок, — не требует, кажется, доказательств. Пересказывая и разоблачая в наших статьях, в первую очередь, несообразности в произведениях советских авторов, мы действуем, преимущественно, по инерции. Инерции здоровой, устойчивой непримиримости, но в плане литературоведческом вряд ли нас особенно обогащающей. В самом деле: за пятилетие 1946-1951 гг., прошедшее со дня постановления ЦК ВКП(б) о служебно-пропагандистской роли литературно-художественного творчества, в заказе¹, предъявляемом советским мастерам пера, уточнены все «стандарты», следование которым для авторов совершенно обязательно.

И они следуют. Вряд ли можно взять наудачу два каких-либо новых советских романа без того, чтобы один из них не был посвящен теме колхозного строительства, не изображал бы сияющего всеми добродетелями колхозного парторга, зреющего в лучах этого сияния колхозного председателя, не упоминал бы о главном источнике сияния — в Кремле и т. п., применительно к подлости заказанного шаблона. Очень часто, поэтому, зарубежный обозреватель, подвергая разбору того или иного советского автора, сознательно выступает не столько в роли художественного критика, сколько в роли социолога: фиксирует искажения действительности, отмечает случайную правду, отыскивает в произведении явное или замаскированное отражение подлинной советской жизни и психологии советских людей.

Однако, если в литературной продукции партийного за-

¹ Он обозначается у нас часто термином «социальный заказ». Это употребление — особенно без кавычек — звучит весьма наивно: социальный заказ, как выражение вкусов и пожеланий широкого читателя существует во *всех* странах, *кроме* тоталитарных. В последних, именно в пренебрежение к общественному мнению, социальный заказ подменяется заказом *партийным*.

каза отбросить всё органически, по своей творческой природе, бездарное, — собственно эстетический подход ко многим из произведений современной советской поэзии и художественной прозы может дать много весьма интересного и поучительного. При этом подходе взору критика открываются два вполне разнородных плана: план «заказанного» автору и план субъективно-творческого, не подвергшегося искажению заказом, — план подлинного.

Истоки этого второго плана лежат в изначальной внутренней свободе творческого акта, в ее стремлении к самоутверждению. Вне этой сокровенной свободы не возникает и не может возникнуть собственно эстетической субстанции, гармония. Искать этой свободы в обход партийного заказа естественно для каждого творца так же, как естественно человеку, которому приказали бы всё время ходить на цыпочках, ступать всё же на полную ступню, когда надсмотрщики отворачиваются.

Природа творческой гармонии, как ее (в различных методологических аспектах, но обычно весьма единообразно) определяет нематериалистическая философская мысль, лежит в слиянности реального, чувственного и идеального, — сокровенной слиянности в творческом акте воплощаемого и творца.

Так называемая марксистско-ленинская эстетика² с ожесточением отвергает «сокровенное» в искусстве, ибо по природе своей в существование сокровенного верить неспособна:

«Марксистско-ленинская эстетика изучает не законы красоты вообще и не общие законы художественного творчества вообще, а закономерности развития искусства в нашем обществе — искусства, активно участвующего в строительстве коммунизма» («Лит. газета» № 83, 1951).

В свете этого партийного осмысливания проблем красоты и творчества разгрому подвергаются все попытки создания

² «Так называемая» потому, что как наука марксистско-ленинская эстетика — лишь одна из многочисленных советских фикций: не существует никаких сколько-нибудь исчерпывающих, обобщающих теоретических разработок в этой области. Впервые в текущем году составлен проф. Сарабьяновым проект программы по эстетике для высших учебных заведений, вызвавший своей эклектичностью и расплывчатостью формулировок схоластические споры на страницах советских газет (см. №№ 4-76 «Советск. иск-ва»).

каких-либо надклассовых научных общеэстетических концепций, «попытки протаскивания надклассовой теории искусства, как некоей вечной самодовлеющей субстанции».

Однако, жалобы на «сознательное исключение из сферы научного исследования как общеэстетических вопросов, так и вопросов теории творчества», на недопустимость «выбрасывать категорию прекрасного за борт марксистско-ленинской эстетики»³ встречаем неизменно на страницах советских газет.

Лишенные возможности рассматривать творческий процесс вне «закономерностей искусства, борющегося за построение коммунизма», советские теоретики вынуждены отказать от анализа природы творчества вообще, взаимоотношений «действительного» и «идеального», творчески воплощаемого и творца⁴. Им приходится выдвигать в этой области некие теоретические «эрзацы». Таково, например, положение о «диалектическом единстве формы и содержания» (форма, как прием и средство воплощения, противопоставляется воплощаемому) и — в развитие этого тезиса — «диалектическом единстве содержания и идеи» (воплощаемому противопоставляется его творческая субъективная интерпретация). К этому пристегивается обычно и пресловутая ленинская «теория отражения». Всё в целом, в конечном счёте, является лишь материалистическим «пересказом» нематериалистических концепций и могло бы в какой-то мере проложить подступы к исследованию творческих проблем, если бы не упиралось в рогатки партийного заказа, претендующего, как известно, на оба элемента «диалектических единств», т. е. диктующего художнику и содержание, и творческую волю.

— О каком же тогда «творческом» плане вы говорите? — спросит меня читатель. — Где и как может художник в обход партийного заказа искать творческой свободы?

³ «Лит. газета» № 74, 1951.

⁴ «Правда» № 301, 1951 г., в статье «Против рецидивов антипатриотических взглядов в литературной критике» клеймит эстетические воззрения критика А. Гурвича: «Автор сводит предмет искусства к некоему абстрактному душевному миру человека. Он пишет: «Неизвестная величина, над которой бьются поэты, это резервы человеческого духа. В каких бы формах ни проявляла себя эта сила, она общепонятна, она объединяет людей, разделенных пространством, временем, уровнем культуры»... — «Под такими рассуждениями, — иронизирует газета, — подпишется любой представитель буржуазной эстетики».

**
*

В середине двадцатых годов московский литературовед проф. В. Переверзев выдвинул любопытную «марксистскую» теорию о классовой обусловленности литературного творчества. Согласно этой теории, автору удаются полноценно лишь социально однородные ему образы (автогенные) и менее удаются образы социально чуждые (гетерогенные). Так, например, для И. А. Гончарова автогенным являлся образ Обломова и гетерогенным — Штольца. Теория, чуть нашумев, подверглась партийному изничтожению, так как не годилась для наметившейся уже в то время «унификации» бесклассовой литературы.

Было в ней, однако, некое «рациональное зерно» — противопоставление творческого субъекта и объекта, как метод анализа. Этим «зерном» я и воспользуюсь, кладя в основу противопоставления не классовую, а этико-эстетическую природу сопоставляемых элементов.

Именно: для меня вполне очевидно, что подавляющее большинство тем и их интерпретаций, навязываемых советскому писателю в качестве творческих объектов, — ему гетерогенны и таланту его (а я и говорю только о подлинных талантах) чужды органически. Гетерогенна и чужда ему тема «социалистического изобилия», «радости и энтузиазма социалистического труда» — потому что творческие его впечатления фиксируют лишь нищету, усталость и отчаяние; чужды ему героика предательства, пафос бесчеловечности, цинизма и пресмыкательства — потому что этих героики и пафоса он органически, а стало быть, и творчески ощутить не может; враждебна вообще обязательность воспевания тоталитарных фикций, потому что, как фальшь, эти фикции не образуют «поэтической» (по выражению Белинского) действительности.

Поэтической, иначе — автогенной, творчески близкой, остается для художника лишь та действительность, в которой принудительные коэффициенты партийного осмысливания и обобщения вынесены за скобки творчества. Подлинное, без партийно-пропагандного камуфляжа, кипение жизни; страдания, страсти и чаяния людей; не переосмысленная партийно-любовь, не подгоняемая дубинкой мечта о счастье; словом — всё то, что, как объект творческих ощущений, в соединении с творческим «я» художника, только и может быть гармонически претворенным в прекрасное.

Лишенный в тоталитарных условиях какой бы то ни было возможности выбора творческого объекта в целом, советский писатель, тем не менее, стремится отбирать мозаичные элементы автогенного в чужеродном ассортименте творческих «заготовок» партийного заказа. Именно этим объясняется, что во многих современных романах, повестях и поэмах среди бледных композиций «заказанного» встречаются фрагменты подлинного, большого мастерства. Именно в этом направлении осуществляются подневольным художником робкие поиски творческой свободы.

Отталкивание от гетерогенного (сознательное и интуитивное) является творческим сопротивлением партийному заказу и выражается в весьма интересных приемах обхода метода «социалистического реализма», на которых следует остановиться.

**

*

Один из не частых, но показательных приемов такого обхода — выбор автором темы прошлого. Автор в таких случаях, нарушая основной параграф партийной инструкции («тема современности — важнейшая тема советской литературы»), знает, что от него ждут фальсификации истории, но предпочитает поддурманивание былей прошлого — облыганию настоящего: поддурманивать приходится, обычно, немногое, остальное оказывается возможным сохранить в системе художественной правды.

Более обычным является прием гетерогенного «обрамления» темы, по природе своей — автогенной, творческой. Но четкое разграничение планов «заказанного» и «подлинного» практически встречается не часто: подлинное, автогенное представлено обычно оазисами в унылой пустынности предписанного автору целого. Анализ этих «оазисов», установление взаимоотношения автогенного с гетерогенным в произведении советского писателя — одна из интереснейших задач литературоведа-исследователя.

Я остановлюсь лишь на одном из случаев такого взаимоотношения, важном, как мне представляется, не только для литературоведов, но и для социологов, — на случае сближения автогенного с гетерогенным, творческого с «заданным». Природа этого сближения, при котором читателю кажется, что совершенно явная фальшь заказа воспринята и разработана автором искренне и убедительно, — весьма различна. В основе ее может лежать чисто ремесленное мастер-

ство имитации художественной правды (очень сейчас культивируемое), могут лежать и субъективные качества автора — наивность, например, или цинизм. Цинизмом (вполне условно) называю я мироощущение, усвоившее ту переоценку этических норм и ценностей, которая лежит в замысле апостолов тоталитаризма. В продукции «инженеров душ» этот цинизм чаще всего проявляется, как тенденция (см., например, поэму «Павлик Морозов» Степана Щипачева, поэтизирующую предательство и получившую за это первую сталинскую премию в 1951 г.). Но в отдельных случаях он может быть выражен и творчески. Так, например, поэтизация человекоистребительного труда в концлагерной или почти концлагерной обстановке Севера, осуществленная другим сталинским лауреатом, Василием Ажаевым, в романе «Далеко от Москвы», автору несомненно творчески удалась. С такой же несомненностью психология автора содержит все основные признаки психологии чекиста, — условие, при котором только и возможна была творческая реконструкция в образе Батманова типических черт Ягоды — в качестве черт «положительного героя сталинской эпохи»⁵.

Однако, в целом, создание творчески-подлинного в сфере цинизма — задача вряд ли осуществимая, и случаи, когда мироощущение чекиста является органическим для художника, представляют исключение. Сближение автогенного с гетерогенным осуществляется, как правило, другими путями.

Основные темы современного советского творчества, представляющие для такого сближения наиболее благоприятную почву, — темы патриотизма и мира.

Патриотизм советский отличен, разумеется, от патриотизма в его общепринятом понимании (как свидетельствуют об этом, например, партийные нападки на Сосюру, Прокофьева и даже на Симонова), но само ощущение родины, ее души, ее природы — элемент автогенный для всех (и даже тоталитарного) видов патриотизма. Именно этим объясняется значительное количество подлинно творческого в советской

⁵ О своеобразии чекистского романа В. Ажаева я писал в нескольких критических обзорах 1949 года. Интересно отметить, что в «Новом мире» (№ 9, 1951) советский критик А. Гурвич в статье «Сила положительного примера» отмечает роман «Далеко от Москвы», как *единственный* во всей советской литературе, в котором образ положительного героя в свете «требований эпохи» на самом деле удался автору...

поэзии и советской прозе, вдохновленного патриотическим подъемом военных лет. В той же мере и желание мира не может не быть органическим для большинства советских людей, переживших ужасы последней войны, если даже коммунистическая интерпретация «кампании мира» им и враждебна.

Тема «мир» позволяет циклам автогенного и гетерогенного совпадать, если не центрами, то сегментами столь крупного размера, что читатель иной раз фальши партийного заказа не ощущает совсем. Тем сильнее его впечатление (добавлю: и «запланированное» пропагандное воздействие). Как пример, приведу опубликованную в № 10 журнала «Октябрь» поэму Маргариты Агашиной «Мое слово».

Эта небольшая поэма, по творческому замыслу и характеру, — подлинная апелляция к душам и сердцам, почти совершенно избежавшая обычного в советских поэмах декламационного пафоса. Русская женщина-мать рассказывает американской матери о пережитом в годы войны. Рассказывает с искренностью, захватывающей читателя, и — с таким совершенством простых и вместе убедительных форм поэтического выражения, какие не часты в современной советской поэзии.

«Автогенное» начинается с описания студенческих лет и встреч с любимым. Затем — мечты о жизни, семейном счастье, обрываемые войной. Первые бомбы. Проводы и одиночество разлуки.

«Состав ушел. Вокруг меня стояли
подруги, институтские друзья...
А мне казалось, что на всем вокзале,
на всей земле одна осталась я».

Потом известие о гибели любимого и одиночество отчаяния:

«Но кому рассказать?
К чьей руке прикоснуться рукою?
Перед кем же мне встать,
не скрывая заплаканных глаз?
Где мне силы найти
для того, чтоб увидеть такое,
отчего и одной
мне не быть одинокой сейчас?»

Вплетается мотив Родины:

«Разве я не такая,
какой ты меня воспитала?
Разве ты не учила
быть честной и сильной всегда?
Посмотри на меня,
помоги мне: я очень устала;
помоги: у меня
непривычная, злая беда...»

«Злая беда»... Но утешением — тот, кто должен родиться. — Тот, «о котором убитый мечтал»: сын!

«Он придет: ведь его
не удержат ни войны, ни грозы.
Он поддержит меня,
он без слов мне прикажет: — Иди!
Пусть же слёзы мои,
несдержимые, горькие слёзы,
пронесутся над ним,
словно щедрые жизнью дожди.

Пусть от них забелеет цветами
оконная рама,
разольются ручьи
лепестков и былинки в саду.
Он к окну подбежит,
бросит мячик и крикнет мне:
— Мама!

И куда я тогда
от него, золотого, уйду?

И кому я отдам,
и на что я его променяю,
если он — это я,
если он — это больше, чем я,
если он — это то,
для чего не сдаваться должна я,
чего ждешь от меня ты,
родная Отчизна моя.

Я готова всё вынести,
я уж вынесла много.
Я впервые в беде
и ее победила, беду.
И лежит предо мною
одна, и прямая, дорога.
И по этой дороге
я сына вперед поведу.

Сын мой!
День мой!
Большой, дорогой, неустанный,
Вечера допоздна,
ночь бессонниц, тревог и труда.
Здравствуй, первая трудность,
которой гордиться я стану!
Настежь двери — пусть видно,
как в комнату входят года!..»

Вряд ли можно оспаривать творческую подлинность вышеприведенных фрагментов, которые я столь полно цитировал, как иллюстрацию совпадения заказанного с жизненной правдой, обеспечившего автору полноту поэтического выражения. Да, в таком оперении тема «мир» достигнет читательского восприятия, занеся в него и те тенденциозные антиамерикански заостренные занозины, которые вкраплены в заказанный «тематический» стержень поэмы: обращение к американской матери, например:

«Как твой, мой мальчик тоже любит книжки,
как твой, не плачет, падая с крыльца...
Но, слышишь, мать нью-иоркского мальчишки?
— У моего ребенка нет отца...»

О совпадении планов «заказанного» и «подлинного» неустанно и с ожесточением пекутся партийные инструктора советской литературы. Поскольку этого совпадения в плане «коммунистического мироощущения» не удастся достичь, — допускается мозаичное «оснащение» чужеродного заказа — личным, творческим автором. Всё чаще и чаще раздаются в советской критической печати откровенные сетования на безликий, казенный пафос безликих, казенных героев совет-

ских повествований и пьес, — пафос партийного заказа, творчески неоправданный, не впечатляющий читателя и зрителя:

«Образы получаются *безликими*, схематичными»... (Сов. иск.» № 60 — 1951).

«Часто бывает, что... идейное богатство составляет как бы внешние доспехи героя и не касается мира его души». («Сов. иск.» № 73 — 1951).

«Эти справедливые и прекрасные слова мог бы произнести *любой* человек, потому что они не выстраданы именно этой героиней, потому что не являются выражением ее внутренней неповторимой сущности»... («Сов. иск.» № 80 — 1951).

«Выношенное, выстраданное, неповторимое» в художественном образе — это выношенное, выстраданное и неповторимое самого художника, творца. То, что так редко может найти советский художник в поисках творческой свободы среди предписанной ему в качестве объекта и инструментария макулатуры партийного «метода».

Усилie теоретиков «марксистско-ленинской эстетики» декларировать «диалектическое единство» принуждения и творческого порыва, заказа и подлинного мастерства — одно из наиболее безнадежных усилий тоталитаризма.

Досадно было бы, если бы мы, в качестве зарубежных наблюдателей «самого свободного в мире творчества», не уделили этим усилиям достаточного внимания.

Л. Ржевский

ПОЭТЫ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ

В «Городе Муз» — Царском Селе — долго, до самой революции, существовали бок-о-бок два совершенно несхожих мира. Один из них — торжественный мир пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами, мир, в котором, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минареты и китайские пагоды. И второй мир (тут же, за углом!) — мир пыльного летом и заснеженного зимой полу-провинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню, с вениками подмышкой, гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостинным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году — в августе, в день открытия местных учебных заведений. Эти два мира очень ладно уживались рядом, при чём второй, старея, понемногу «вросал» в первый. И когда высокая белая гусарская лошадь, по старости лет «переведенная» из гвардии в извозчицьи оглобли, с неожиданной резвостью тряхнув стариной, лихо подкатывала к чугунным воротам парка — прыжок на столетье назад был как-то совершенно незаметен, как незаметно было потом возвращение в обыденность провинциальной (несмотря на близость столицы) современности.

Я не знаю, что сохранилось сейчас, после войны, от Царского Села. Говорят, многое разрушено. Но если что и сохранилось, то границу между «старым» и «новым» было бы, вероятно, еще труднее провести, чем прежде. Ведь из «нового» за полу столетие многое стало «старым», не только внешне приобрело аромат старины, но превратилось исподволь в исторический памятник, реликвию, элизиум теней... Таково, например, то неказистое казенное здание «Императорской Николаевской Царскосельской Гимназии», что высилось на углу не помню уже каких двух улиц. Архитектурной досто-

примечательности оно никак не представляло. Но через его классы, коридоры и кабинеты прошли такие замечательные люди нашего недавнего литературного прошлого, что, очутись я сейчас в Царском Селе, с таким же трепетом подошел бы к нему, с каким подходил когда-то к зданию пушкинского лицея.

**
*

Я был в младших классах Царскосельской Гимназии, когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были подстать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два-три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном восьмом классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык.

Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами подмышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом. Может быть, в эти минуты он слогал заключительные строки к своему знаменитому сонету:

«...Как серафим у Ботичелли,
Склонивший локон золотой
На гриф умолкшей виолончели».

Так или иначе, но среди смертных Анненского в те минуты не было. В стенах Царскосельской Гимназии находилась только его официальная, облеченная в форменный сюртук, оболочка.

**
*

Стояла революционная зима 1905 года. Залетела революция и в стены Царскосельской Гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкапами, хорошенькую белокурую учительницу французского языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа была «химическая обструкция» (так это тогда называлось): в коридорах стоял сизый туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был он окружен воюющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной, гимназической толпой.

В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли.

Когда, уже осенью, гимназия опять открыла свои двери, вернувшиеся в свою а l m a m a t e r ученики были ошарашены ожидавшими их переменами. Коридоры и классы были чисто выбелены и густо увешаны географическими картами, гербариями, коллекциями бабочек. В застекленных шкапах ласкали взор чучела фазанов и хорьков, раскрашенные гипсовые головы зулусов и малайцев. В классах стояли новенькие светлые парты и озонирующие воздух елочки в вазонах. Полусумасшедший Мариан Генрихович, невоздержанный отец дьякон и слишком соблазнительная француженка — бесследно исчезли. Исчезли и усатые второгодники. Но не было больше и Анненского. Великая реформа явилась делом рук нового директора, Якова Георгиевича Моора, маленького, сухонького, строгого, но умного и толкового старичка. Он привел с собою плеяду молодых способных учителей, навел чистоту, порядок. Гимназия приняла благообразный вид.

Моор, фазаньи чучела, головы краснокожих, елочки в вазонах — всё это произвело на молодые души потрясающее впечатление. Все приумолкли, присмирели, стали прилежнее учиться. Моор проходил по коридорам деловитым шагом, опустив голову, внимательно глядя себе под ноги. Гимназисты, стоя рядом у стен, почтительно расшаркивались. Если кто приходил в гимназию в неряшливом виде, Моор подзывал его к кафедре и, подняв палец, стыдил перед всем классом, повышая на каждом слове свой тоненький голосок:

«И это есть ученик Императорской Николаевской Царскосельской Гимназии!!»

Его не любили, но боялись и слушались. Гимназия стала на хорошем счету. Появились в ней сыновья графа Гудовича, лейб-медика Боткина, свитских генералов.

Казалось, «подметено» было в стенах Царскосельской Гимназии так, что и пушинки прошлого не осталось. Но, — странное дело, — ни Моор, ни педагоги, ни штукатуришки, ни озонирующие воздух елочки не выветрились из этих стен духа той высокой поэзии, которая в них переночевала.

Ведь Иннокентий Анненский был не единственным поэтом Царскосельской Гимназии! В годы его директорства в ней учился Николай Гумилев, закончивший гимназию одновременно с уходом из нее Анненского и быстро завоевывавший себе в Петербурге литературную известность.

Хотя я уже писал в то время стихи и зачитывался поэтами, но Гумилевым едва ли бы заинтересовался. Помог случай.

Появилась у нас однажды в семье новая горничная, Зина, хорошенькая черноглазая девушка. О такой, примерно, как она, сказал в свое время Ходасевич:

«Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока».

Перед тем, как поступить к нам, Зина служила у Гумилевых. И вот однажды, вся зардевшись, показала мне она свое сокровище: тщательно завернутую в бумагу книжечку. Это был «Путь конквистадоров» Гумилева, с авторской надписью поэта — первый сборник его еще слабых, полудетских стихов. Книга всё же очаровала меня, уже одним своим существованием. Еще гимназист, а напечатал книгу! Это подбадривало меня в моем собственном творчестве.

Думаю, что втайне Зина была влюблена в своего прежнего «молодого барина»... Книжечкой его и надписью на ней она гордилась явно. Может быть никогда ничего гумилевского она больше и не прочла, но в те дни «высокое слово» коснулось ее немудреной девичьей души.

Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской — он ведь был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его, как следует... А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет. В гимназическом жур-

нальчике была на него карриатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках. Любил он быть на гимназических балах, энергично ухаживал за гимназистками. Но разве это важно?! Важно то, что он сам, лучше всех других, рассказал о своих гимназических годах в единственном посвященном им стихотворении, рассказал о своих встречах с Анненским в его директорском кабинете:

«Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи.

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза.
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза».

Здесь, в этом строгом кабинете, который почему-то представляется мне всегда каким-то огромным кипарисовым ларцем, происходили встречи мастера и ученика. И невольно думается: не так уж важно, пожалуй, что Анненский не справился со своими директорскими обязанностями по отношению к своим тремстам гимназистам; важно, что он исполнил свой высокий поэтический долг по отношению к одному из них. Да и не к одному только. Мне рассказывали, что когда на педагогическом совете гимназии стоял вопрос об исключении одного ученика за неуспеваемость, Анненский, выслушав доводы в пользу этой строгой меры, сказал:

— Да, да, господа! Всё это верно! Но ведь он пишет стихи!

И юный поэт был спасен.

**
*

Шли годы. Не было уже ни Анненского, ни Гумилева в стенах Царскосельской Гимназии, но занесенный ими туда дух поэзии всё еще их не покидал.

Давно был обезличен до неузнаваемости директорский кабинет Анненского, давно сгорели в гимназической топке изрезанные гумилевским ножом парты, но еще до самого октябрьского переворота сохранила Царкосельская Гимназия свои высокие поэтические традиции.

Сколько молодых поэтов росло под неодобрительным взглядом сугубо-прозаического Моора! Конечно, с ним никто о стихах не советовался! Но музы, обходя его, еще долго бродили, «не понимая, что всё это значит» (Гумилев), по классам и коридорам. Скрепя сердце, разрешал Моор художественные вечера, на которых ученики, кроме своих, непременно читали стихи Анненского. Издавался свой литературный журнальчик. Многие юные поэты подражали Гумилеву, но были и самостоятельные таланты.

Вспоминается мне Коковцев, способный, своеобразный поэт. И в жизни он был своеобразен. Когда на Страстной ученики гоголи в круглой гимназической церкви, Коковцев, большеговлый, с характерными, какими-то средневековыми, чертами лица, становился впереди всех, истово крестился, долго, никого не замечая, молился, а время от времени падал ниц, касаясь лбом земли, и лежал так долго-долго. В этом не было рисовки, религиозность не была тогда в моде. Коковцева звали средневековье. Едва окончив гимназию, студентом, уехал он в Германию, бродил по старым ее городам, вдыхал готику. Вернулся с книгой стихов «Скрипка ведьмы». Вскоре жизнь его трагически оборвалась: он умер от холеры.

Чуть ли ни в каждом классе было одно время по Оцупу. Не помню точно, сколько их было, но что-то уж очень много. Из них двое, если не ошибаюсь, вышли на широкую литературную дорогу.

Был еще Всеволод Рождественский, хорошенький, большеглазый мальчик. Он посвятил впоследствии много душевных стихов Царскому Селу. Рождественский опоздал к Ин. Анненскому лет на десять, вероятно, даже вообще никогда его в глаза не видал, но с нежностью называл его «мой директор». В стихах о Городе Муз Рождественский не злоупотреблял обычной бутафорией, не тревожил тени Камерона и Монферана и больше писал о том втором, провинциально-интимном мире Царского Села, где:

«...каждый дом сутулится,
Как в сказке братьев Гримм».

Где перед этими домиками, зимою:

«Дорожки воробьиные
Пересекают двор».

А если подойти к окну и заглянуть в него, то видно, как:

«У Фаусек, у Ждановых
На нотную тетрадь
Склонен пробор каштановый,
А в кресле дремлет мать».

Для всех, кто знает Город Муз, царскосельские стихи Всева Рождественского — источник светлой радости.

А сколько еще разных «мелких» поэтов росло в стенах Царскосельской Гимназии! Повернись иначе колесо истории, возможно иные из них выросли бы по-настоящему. Многих раздавила война, революция, социальный заказ. Интересные стихи писал Пунин, сын гимназического врача. Подавал надежды Влад. Ястребов, сын профессора; он ушел добровольцем на фронт и там погиб. Всех не перечесть! Многие имена выпали из памяти, многие подробности забыты...

**
*

После захвата власти большевиками поэтические традиции выветрились из стен Царскосельской Гимназии. Не было там больше для них почвы... Сам Город Муз некоторое время прозябал под нелепым названием Детского Села, затем стал Пушкиным. Но одно только это славное имя можно «там» открыто упоминать из всех имен царскосельских поэтов. Имена трех других больших поэтов Города Муз — Анненского, Гумилева, Анны Ахматовой (связанной с Царским Селом и жизнью своей и творчеством) — в стране советов в той или иной степени под запретом.

Город Муз не только перестал быть колыбелью поэтов, его пытаются разрушить и как их некрополь. Но для всех, кому дорога русская поэзия, он сохранит навсегда это свое певучее имя. В послевоенных своих развалинах, в духовной своей нищете, унижении, стыте — он остался для нас городом не одного, но четырех поэтов, городом Высокого Слова, бессмертных строк, немолчно поющих книг.

Д. Кленовский

О СЕРГЕЕ КЛЫЧКОВЕ

Сергей Антонович Клычков родился в 1889 году в деревне Дубровка, Московской губернии. Я познакомился с ним в 1906 году в Москве. Это был рослый, синеглазый, пышущий здоровьем, красивый юноша. Копна темных волос обрамляла его загорелое румяное лицо. Характера он был бойкого, не стеснялся ни в элегантных студиях, ни в богатых городских квартирах. Некоторые приемы московской богемы были им быстро усвоены.

Мы вместе с Клычковым начали печатать стихи в «Двухнедельнике Литературы и Искусства» в 1906 г. Ближе мы сошлись с Сережей, когда стали членами литературно-художественной группы, собиравшейся каждое воскресенье в студии скульптора Константина Федоровича Крахта на Пресне. Из поэтов, посещавших эту студию, вспоминаю Андрея Белого, «анархиста» Николая Русова, переводчика Бодлера — Эллиса, Бурнакина, Клычкова, Рубановича; из музыкантов певицу Хренникову, виолончелиста М. Букиника; из художников — Крахта, Кузнецова и, кажется, Яковлева. В очень уютной обстановке мы любовались новыми скульптурами и полотнами, слушали пение и фиоритуры певучей виолончели, но больше всего, конечно, читали и слушали стихи. Клычков в ту пору читал довольно монотонным деревенским говорком (на «о») стихи, вроде следующих:

«Невеста мне березынька
С зеленою косой,
Украшенная вечером
Туманной полосой,
Обрызганная ветрами,
Серебряной росой...»

Деревенские песни Клычкова пользовались у членов кружка успехом. В этой приятной и дружественной атмосфере мы подружились с Сережей. Он стал моим частым гостем и часто засиживался до полуночи. Клычков был в то время

верующим, но с вывихом в старую веру, о которой он уже немало знал. Были у него и связи в старообрядческой среде. Это дало ему впоследствии материал для его лучших романов: «Чертухинский Балакирь», «Князь Мира», «Сахарный Немец» и другие.

Однажды Клычков предложил мне на страстной неделе 1913 года совершить паломничество в старинный монастырь около г. Дмитрова. Надо было пройти пешком (через его родимые Дубровки) около 70 верст. Я согласился. Пошел с нами и художник Беляев. Первую ночь мы провели в тесной и душной избе у родителей Клычкова. Отец Сережи, густоволосый и чернобородый с проседью, угрюмый мужик старался быть приветливым с нами, горожанами, но несмотря на это мне с ним было жутко. Когда же я узнал, что, напиваясь до зеленого змия, он колотит и таскает за волосы свою безответную и безобидную жену, мне стало так тягостно, что я начал торопить моих попутчиков. Сережа очень тяготился своим семейным положением, он любил свою мать и страдал за нее, но оставаться в деревне для ее защиты и помогать отцу в крестьянстве, не решался. С одной стороны ему казалось, что он никогда не решится поднять руку на отца, с другой — Москва и жажда стать поэтом владели всем его существом.

Дело было в начале апреля, мы должны были поспеть в Монастырь к страстной пятнице и провести там три дня. Воспоминания о нашем времяпрепровождении в Монастыре за давностью лет поблекли; осталось, однако, воспоминание, что Клычков глубже всех нас переживал это паломничество в выбранный им старинный, запущенный и бедный монастырь.

Помню, как в Светлое Христово Воскресенье, после обеда, мы расположились на поляне перед монастырской церковкой, которая произвела сильное впечатление на художника Беляева. После трапезы он углубился в работу и довольно скоро один из углов монастыря начал вырастать на картоне под его кистью. Этюд мне очень понравился, и я был счастлив, когда Беляев обещал мне его подарить. Этот этюд я бережно храню до сих пор, и иногда, в сумерки, неслышным благовестом для меня звучит эта нарисованная колокольня, и я, вынув картон из рамы, читаю стихи Сережи Клычкова на обороте:

«У горних, у горних селений
Стоят голубые сады.
Пасутся в долине олени,
В росе серебрятся следы...»

Светают за ними овраги,
Ложится туман на луга,
И жемчугом утренней влаги
Играют морей берега.

Пасутся в тумане олени,
И кто-то у горних излук
Склонил золотые колени
И поднял серебряный лук».

Читая романы и повести Клычкова, писанные через десять-двадцать лет после этого, я чувствовал, что годы лихолетья не унесли и не развеяли из духовного бытия Клычкова религиозно-мистических настроений. Может быть, наоборот, загнанные в заповедную глубь его духа, прячущиеся от окриков цензоров и политотделов, они продолжали жить еще более интенсивно.

В последние два десятилетия надсмотрщиками политической благонадежности в СССР Клычков был зачислен в категорию «кулацких поэтов». Советские критики полагали, что он уступает Есенину и Клюеву в силе поэтического дарования, но зато и они высоко расценивали его прозу. Кроме этого, они уверяли, что он больше своих коллег исполнен «старозаветного деревенского консерватизма».

Клычков задумал монументальную поэму в прозе «Живот и Смерть», первая часть которой «Чертухинский Балакирь» признается весьма талантливой даже самым его жестоким критиком Лелевичем. Надо напомнить, что некоторые рецензии в советских журналах и газетах, включая и только что упомянутую, носили характер явного доноса на «антисоциалистический» уклон автора.

В романе «Чертухинский Балакирь» Клычкову, как будто, удалось спать в одно органическое целое самую гущу подлинной деревенской реальности, в которой он вырос, с фантастическими полусимволическими фигурами Спиридона, его дочери Маши и самого Чертухинского Балакиря.

С каким мастерством Клычков описывает в своем романе смотрины, прощанья, свадьбу! Вы чувствуете весь колорит многовековой крестьянской традиции. Автор иллюстрирует свое описание подлинными песнями и поговорками. Вот, например, образец прощальных песен:

«О, как в тихой заводи по паводи
Утка рябушка что надумала:
На волне крылом трепыхаяся,
На далеком отлет тонко крякала...»

А вот обращение песенниц к жениху:

«Ты склонись, склонись к земле,
Частый ельничек, зелен березень,
Проплыви мимо утицы,
Пролети, сизый селезень...»

Уже в 1928 году, когда Клычков был еще в апогее своих литературных успехов, когда его романы, повести и стихи печатались чуть ли не в каждом номере «Красной Нови» и в других советских журналах, против него была направлена критиком Лелевичем первая отравленная стрела. Начав за здравие, т. е. с того, что он очень высоко расценивает талант Клычкова, как прозаика, Лелевич кончает указанием, что — вот откуда грозит опасность! Он обвиняет Клычкова в «реакционной установке». По мнению Лелевича, Клычков «столь же опасен, как кулацкие поэты Есенин и Клюев, и как городской огарок В. Шершеневич. Все они против городской культуры и техники, против пролетарских поэтов». Чтобы доказать, что в основе творчества Клычкова лежит реакционная идея, Лелевич тревожит даже «великого Ленина», на двух страницах разбирая теории учителя о мелкобуржуазной и мелкопатриархальной стихиях и о неустанной борьбе этих стихий против социалистического строительства. В условиях советской действительности статья Лелевича прозвучала, как донос. Сразу сшибить Клычкова ему не удалось, поэт продолжал еще печататься в течение пяти-шести лет, но это был первый удар, ставший началом конца успехов Клычкова.

Я с большим интересом следил за прозой Клычкова, но никогда не переставал ценить и его стихи. У него мужицкая стихия не — манера, не — направление, не — маска; это — он сам. Он родился и вырос в деревне, и так с нею сросся, что до самого безвременного конца его жизни (точных данных о месте и времени его кончины я не нашел в советской печати) он не смог отодрать ее от себя. Конечно, Есенин, как поэт, много талантливее Клычкова, но зато у Клычкова нет той накипи беспардонного озорства и имажинистического манерничания. Клычков — мастер стиха не самого высокого и утонченного вкуса, но зато у него своя, ни на кого не похожая творческая манера.

«Надела платье белое из шелка
И под руку она ушла с другим.
Я перекинул за плечи кошёлку
И потонул в подвечёрный дым.

О СЕРГЕЕ КЛЫЧКОВЕ

И вот бреду по свету наудачу,
Куда подует вешний ветерок,
И сам не знаю я: пою иль плачу,
Но в светлом сиротстве не одинок.

У матери, у придорожной ивы,
Прильнув к сухим ногам корней,
Я задремлю уж тем одним счастливым,
Что в мире не было души верней.

Иными станут шорохи и звуки,
И спутаются с листьями слова,
И склонит облако сквозные рукава,
И словно не было и нет разлуки».

В больших городах, среди пролетарских поэтов и пролетарских прихлебателей, в редакциях журналов и газет, на декадах союза писателей и в канцеляриях Госиздата Клычкову, действительно, было тесно. Это не поза и не рисовка, когда он восклицает:

«И хорошо уйти — уйти в безвестный путь
И где-нибудь уйти в ковыльную почудь,
Прильнув на грудь земли усталой грудью...

.....

И верю я, идя безбрежной новью,
Что сладко жить, неся благую весть.
Есть в мире радость, есть: приять и перенести,
И, словно облаку закатному доцвести,
Стряхнув с крыла последний луч с любовью».

Уже в эту эпоху сравнительного советского благополучия в стихах Клычкова начинает проскальзывать отчаянье, загнанность, ожесточенность; уже в эту эпоху поэт жалуется на то, что все хаты нахмурены, что никто, ни бедный, ни богатый не пустит бродягу на ночлег. Бродяга, конечно, сам поэт; кому какое до него дело? Бродяга крепко сжимает в руках своего неизменного попутчика и собрата — свой суковатый «подожек».

«И ниже полевой былинки
Поникла бедная душа:
Густынь лесная и суглинки,
Костырь, кусты и пустоша —
О, даль моя, ты хороша,

Но в даль иду, как на поминки!
 Заря поля окровавила,
 И не узнать родимых мест:
 Село сгорело, у дороги
 Стоят пеньки и, как убогий,
 Ветряк протягивает шест.
 Ты разгадаешь, что тут было —
 Вот только спотыкнулся крест
 О безымянную могилу».

Чем ни дальше, тем стихи Клычкова сильнее отражают борьбу и разлад с окружающей средой. Основные мотивы их становятся всё более горестными. То Клычков мечтает о том, чтобы взглянуть без дум и без слов в недолгие зимние зори дремотных прозрачных лесов и в предчувствии предвечного покоя прильнуть воспаленной щекой «к груди лебединой сугроба». То жалуется на приводящий в отчаянье горький опыт его неравной борьбы с окружающей мертвящей казарменностью:

«И потому так горек опыт,
 И каждый невозвратен шаг,
 И тщетен гнев и жалок ропот,
 Что вместе жертва ты и враг,
 Что на исход борьбы напрасной
 Падут в неведомый тайник
 И образ юности прекрасной,
 И оскорбительный двойник!»

Отдельные элементы отчаянья начинают вырастать в трагические вопли. Поэту кажется, что его превратили в зверя, что он оброс шкурой, но каким-то чудом не теряет способности плакать. Собственная душа ему иногда кажется берлогой; издевательство над самим собой, необходимость кривить душой перед цензорами и официальными критиками превращаются в предсмертный вопль:

«Меня раздели до-нага
 И достоверней были,
 На лбу приделали рога
 И хвост гвоздем прибили...
 Пух из подушек растрясли
 И вываляли в дегте,
 И у меня вдруг отросли
 И в самом деле... когти...»

И вот я с парюю клешней
Теперь в чертей не верю,
Узнав, что человек страшней
И злей любого зверя».

Сколько горьких обид, дружеских подножек, профессиональных допросов, ловушек и моральных пыток должен был перенести добрый, веселый и приветливый Клычков, чтобы воскликнуть в 1929 г.: «Я у людей не пользуюсь любовью, да я и сам их тоже не люблю!» По моей памяти правдивый и простодушный, он в той же седьмой книге его стихов соznается: «Мы изредка обходимся без лжи». Клычкову в это время было всего 39 лет, но он уже чувствует приближение старости:

«И дух такой морозно-синий,
Что даже распирает грудь...
И я отряхиваю иней
С висков, но не могу стряхнуть».

Всё чаще попадают унылые напевы, предчувствие недалекой смерти, которая на все лады врывается в его поэзию.

В 1930 году журнал «Новый Мир» дает место лжи и клевете на Клычкова некоего Бескина, оформленной типично большевистским жаргоном. В этой «рецензии» на книгу Клычкова «В гостях у журавлей» утверждается, что Клычков настоящий «кулацкий» писатель, лишний раз демонстрирующий «крепость» и «нерушимость» классово-враждебной пролетариату природы клычковского творчества... «Крепко сбита собственническая, хозяйская идеология получает в этой книге новое платформенное оформление», пишет Бескин. Констатируя в книге, наличие всех «мракобесно-реакционных» настроений творчества Клычкова, Бескин с «удовлетворением» отмечает один очень «положительный политический показатель»: «струя мрачности, желанье отрешиться от жизни, признание в том, что душа дошла до исступленья у жизни яростной в плену, одним словом, все показатели бессилья, вернее, бессильной злости в этой книге гораздо сильнее, чем во всех предшествующих». «Это значит, что удары пролетарской диктатуры попадают в цель (это в нищего-то поэта из беднейших мужиков!?) и сокрушая позиции кулака в политике и хозяйстве, заставляют его признаваться в своей отвлеченности в стихах и прозе».

Так советские критики, один за другим, травили самобытного, самородного и, по их же собственному признанию, весьма талантливого поэта. Эта травля продолжалась до тех пор, пока Клычков не был загнан на пути, ведущие... на Колыму.

В предчувствии трагического конца, цепляясь, как утопающий за соломинку, Клычков обратился к хорошо к нему относившемуся влиятельному коммунисту В. Попову. Тот предложил ему совместно написать очерк «Зажиток», в котором попытаться подвести более подходящие идеологические основания под произведения Клыčkова. Очерк вышел в свет и подвергся обсуждению на одном из «декадников» союза советских писателей, на котором, судя по отчету в «Литературной Газете» от 22 января 1934 года, было отмечено, что эта работа ублюдок, помесь глубокого, сочного и оригинального языка с плоскими и трафаретными высказываниями рядового газетного хроникера. В. Попов хотел помочь Клычкову «выправиться», «переменить ногу» и с лучшими намерениями собственноручно портил рукопись Клыčkова. Результат получился неожиданный. В рецензии на этот очерк, помещенной в «Литературной Газете» под заглавием «Куда идет Клычков?», несчастного, уже загнанного поэта продолжают только подхлестывать. Надо бы было, дескать, еще показать сложность роста ударника-колхозника в процессе классовой борьбы и еще поколоритнее очертить роль политотдела.

В 1934 г. по всему СССР пронеслась волна чисток среди писателей и поэтов. Повидимому, был вычищен и Клычков. По крайней мере, он исчез со столбцов всех видов печати и не только не был допущен на Всероссийский Съезд советских писателей, но и разговоров там о нем (как и о Клюеве и об Орешине) не было. Его не было не только среди членов с решающим голосом, но даже и совещательного не дали писателю, имя которого в течение 16 лет не сходило со страниц крупнейших журналов и семь томов стихов которого были изданы Госиздатом.

Два писателя Ди Пи, знавшие Клыčkова, сообщают, что в 1934 году он был сослан, потом будто бы в 1937 году помилован и приспособлен к переводам мордовской поэзии. Но и это счастье продолжалось всего несколько месяцев. В 1938 г. Клычков пропал бесследно и, повидимому, навсегда.

Григорий Забежинский

БЕСПРИЗОРНИКИ

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ*)

О П Я Т Ь С М И Ш К О Й

«Я такой же, как вы, пропащий,
Мне теперь не уйти назад».

С. Есенин «Москва кабацкая».

Осенью 1936 года по дороге в Крым мы расстались с Мишкой. Прошло три с половиной года. За это время я ничего о нем не знал, но никогда его не забывал. И теперь я был взволнован и обрадован новостью, только что сообщенной встреченным на улице старым товарищем: Мишка вернулся в наш город, сейчас он со своей бражкой на Тереке, товарищ только что от него...

Была ранняя весна, но дни уже стояли безоблачные, жаркие. Я быстро шел вдоль заросшего кустарником берега Терека. От Терека веяло прохладой. Эта отдаленная от города, глухая и безлюдная местность пользовалась дурной славой. Горожане не отваживались заходить в эти края, а ненароком забредших сюда немилосердно обчищали, а иногда, случалось, и убивали. Это были «наши места», здесь обыкновенно собиралась публика нашего мира.

Пройдя около версты, я остановился и прислушался. Вдруг совсем недалеко зашуршал кустарник и грубый голос окрикнул меня:

* См. кн. 26-ю, 27-ю и 28-ю «Нов. Журн.».

Н. Воинов просит нас сообщить, что «Беспризорники» печатаются в «Нов. Журн.» с значительными сокращениями. — РЕД.

Эй, ты, дай закурить!

Я оглянулся. В нескольких шагах стоял голый по пояс, коренастый парень с татуированной грудью. По виду я сразу узнал в нем нашего. «Дай закурить» или «дай копейку» были обычным вступлением, с которым наши обращались к тем, кого хотели обчистить. Парень был заметно пьян.

— Дай закурить, — передразнил я его. — А ну, подойди, понюхаешь дыму, — и предчувствуя, что драки не миновать, я приготовился.

Загнув трехэтажное ругательство, парень кинулся на меня. Но я опередил его и изо всей силы ударил в челюсть. Парень пошатнулся, но удержался на ногах, пронзительно свистнул и тут же с удвоенной яростью бросился на меня.

На его свист послышался шум бегущих ног, сучья затрещали и из кустов выскочили трое парней с финками в руках. Я сразу узнал одного из них. Это был Мишка.

Мишка с удивлением посмотрел на парня.

— Чего рассвистался! С одним справиться не можешь?... — вскрикнул он. — Тоже... Учить надо! — И держа финку наготове, Мишка решительными шагами пошел на меня, но сразу же приостановился.

— Кажись, рожа как-будто знакомая!.. — протянул он.

— Друзей, Мишка, узнавать перестал!

— Колька! — радостно вскрикнул он и мы крепко пожали друг другу руки.

— Да тебя и не узнать, — оглядывая меня с головы до ног, говорил Мишка. — Вырос-то как... меня перерос... Эх ты, растяпа, — повернулся он к моему противнику, — нашел с кем связаться. Моей школы человек! — И Мишка хлопнул меня по плечу. — Ну, такое дело запить надо, у нас тут водка есть. Пошли, Колька!

Мы обогнули заросший густым кустарником бугор и вышли на небольшую поляну, на отлогом берегу реки. В тени под деревьями, на измятой траве валялись разбросанные карты, бутылки, одежда. Тут же, в одном белье лежала, загорая на

солнце, девушка. Услышав наши голоса, она приподнялась и, облокотившись, посмотрела в нашу сторону.

— Гришка с пьяных глаз со своим столкнулся, — крикнул ей Мишка. — Моей бражки девчонка, — добавил он, подмигивая мне, — Олькой звать — баба правильная.

Олька, прищурившись, покосилась на меня и снова растянулась на траве.

Мы с Мишкой уселись под деревом, а его товарищи расположились поодаль и возобновили прерванную игру в карты. Одного из них, Жорку, я встречал уже прежде. Мы когда-то сидели с ним вместе в тюрьме. Двух других я не знал. Все они выглядели года на два, на три старше Мишки, но несмотря на это, я сразу понял, что Мишка пахан. Он мало изменился, но сильно окреп и возмужал. А складки у рта, всегда придававшие его лицу какое-то насмешливое и дерзкое выражение, теперь обозначились еще резче. Во всем облике Мишки была та же решимость и уверенность.

— Давно здесь? — спросил я Мишку.

— Недавно с бражкой приехал. В Ростове гастролировали. Таких там делов намутили! Всю лягу на колеса поставили... Пока живем не работая — высматриваем. Одно дело есть, куш оборвать можно. Пойдешь с нами?

Я посмотрел на подходившую к нам Ольку и ничего не ответил. Подойдя к нам, она лениво наклонилась, взяла бутылку и закинув голову, отпила несколько глотков, затем вытерев губы, зевнула и, сучающе поглядев на нас, под села к играющим в карты.

Крепкая, здоровая, загорелая, своими движениями, походкой, самоуверенностью Олька мало чем отличалась от своих товарищей и, как большинство блатных девушек, ни в чем им не уступала. Ее тонкое, правильно очерченное лицо с откинутыми назад темно-русскими волосами, было бы даже красиво, если бы не острый взгляд черных раскосых глаз, придававший ей какое-то хищное выражение.

Отвернувшись от Ольки, я поймал на себе испытующий взгляд Мишки. Лукаво улыбаясь, он отвел глаза и вытащив из кармана пачку папирос, протянул мне.

— Чего скалишь? — проговорил я, беря папиросу.

— Так... ничего... А кстати, куда ты оборвался, когда в Крым с тобой ехали?

— Шухарнулся. Искал тебя всю зиму — из города в город шатался...

— Да-да — задумчиво протянул Мишка. — А я в Одессе долго работал. Погорел раз — драпу дал. В Ростове своих нашел.

— Это всё твои? — кивнул я на играющих.

— Вся на лицо. Ты мои правила знаешь — чем меньше, тем лучше. Ребята те еще, битые птицы. Только во как держать надо! — он сжал кулак. — Уж больно горячие, напропалую лезут, а наше дело порядок любит. Пока не подучил — не раз потрепал. Эй ты, акула, расскажи, как морду вздуло! — весело подмигнув мне, обратился он к Гришке.

— Точно, — хихикнул Гришка, проводя рукой по припухшей от моего удара щеке, — не то еще бывало.

— Часто путали? — спросил я Мишку.

— Приходилось. В Одессе сидел, в Херсоне сидел, в Ростове сидел — обрывался. Нашего брата долго в кичмане не удержишь... А ты где живешь?

— Где придется... то у друзей пересплю, то в детдоме...

— В детдоме? — удивился Мишка. — Ну, брат, пропадешь. Перематывайся к нам — вместе работать будем.

— Нет, на меня не рассчитывай, — резко ответил я.

— То-есть, как это? — не понимая, проговорил Мишка.

— Так... воровать порвал.

— Ха-ха-ха! — хлопая себя по ляжкам, неестественным смехом залился Мишка, но тут же оборвав смех, скривил рот и со злой иронией сказал:

— Ты еще может и в школу ходишь? Комсомольцем заделался?

— А что ж, и в школу хожу, и комсомольцем стал.

— Что!? — вытаращил он на меня глаза.

Игравшие в карты покатились со смеху. Я хотел было их осадить, но Мишка опередил меня.

— Чего ржете? Колька парень свой — голова на плечах есть, знает, что делает, — нахмурив брови, резко проговорил он.

Смех утих. «Сам на меня злится, а другим, небось, в обиду не дает», подумал я. Без всякого раздражения, но с искренним сожалением глядя на меня, Мишка серьезно проговорил:

— Это плохо, брат.

— Что плохо? Что учусь? У каждого, Мишка, свое, тебе одно нравится, мне другое. Не все на один манер скроены.

— Ослиная ты башка! Не то плохо, что учишься, а что с чертями водишься. Хреновую путёвку взял — пропадешь. — И с участием глядя на меня, он покачал головой: — Я, брат, уже давно в тебе это подметил. Умная голова, да дураку досталась. У меня вот корешки есть, битые парни, институты окончили, за этих не страшно, знают, что делают. Аферисты выйдут те еще, будьте покойны. А у тебя другое — ты чорт знает для чего учишься, да еще с сиксомольцами, с чертями связался.

— Тебе всё — черти да черти, а не знаешь, что чорт чорту рознь, — и я тут-же рассказал ему о Володе, о его семье, и привел еще несколько примеров, объясняя мои мысли и новый взгляд на жизнь и людей, сложившийся у меня за последние годы.

Лежа на спине, жмуря глаза от солнца и небрежно пуская кольца табачного дыма, Мишка внимательно слушал меня. Когда я кончил, он присел на корточки, сплюнул и слегка усмехался.

— Ну и что ж? Много ты вот таких, как этот Володька встречал? Пусть все черти грызутся себе на здоровье, да друг за другом шпионят, а наше дело сторона. Мы одно — они другое. Что у чертей делается, нас не касается. Сами виноваты, коли терпят. Плевать на них, какая у них жизнь! — со злостью сказал Мишка. — Они нас выкинули да еще травят. Кто нам жизнь покалечил? Я тоже, может, затылок чесал, когда у голодного крал. Думаешь, ты один такой умный...

Мне хотелось объяснить Мишке, что на самом деле всё это совсем не так просто, что среди чертей были и такие, ко-

торые не только понимали нас, но и хотели помочь. Я начал ему рассказывать о преобразованиях в детдоме, о дяде Феде, об его стараниях вывести нас в люди.

— Заботятся, говоришь!.. Заботятся!.. — злобно повторял Мишка и засмеялся тяжелым, недобрый смехом. — На хитрости пошли... на экскурсии водят... куском хлеба купить хотят... А откуда эта забота взялась? От кого идет? От тех, кто родителей наших забрал... — с возрастающей злобой говорил он, — увидели, что голодом не сломить, в лагерях не ликвидировать, так хлебом приманить захотели... Думаешь, приманят?.. — хрипло прокричал он: — Не нужна нам эта их забота... Они думают, я забыл? Нет, я знаю, с кого спрашивать и кому глотку резать... Выкинули на навозную кучу, чтобы подохли, а мы вот выжили. Как за бешеными собаками гонялись... а справиться не смогли. Детишки поумнее их оказались. Сплотились... а теперь нам никакая сила не страшна. Достаточно на своей шкуре вынесли, теперь вот до жизни дорвались — пришло и наше времячко. Грабь, бей, наслаждайся пока жив...

**

— Мишка здесь? — спросил я у отворившего дверь Гришки.

— Здесь, входи!

Я прошел в небольшую комнату и, как предполагал, застал всю компанию в сборе. Мишка, полуголый, лежал на диване, а Жорка, согнувшись над ним, старательно татуировал ему спину. Они оба о чем-то оживленно спорили. Жорка горячился, и когда я перешагнул порог комнаты, он повидимому вонзил в его спину иглу немного глубже, чем следовало. Мишка зашипел и подскочил на месте.

— Смотри, чорт, что делаешь!.. А-а, товарищ комсомолец пришел! Добро пожаловать!.. Сворачивай к хрену твои инструменты, — садясь на диван и дергая от боли плечами, обратился он к Жорке. — В другой раз кончишь. Хватит на сегодня человека мучить

— Дай посмотреть, — подошел я к нему.

Мишка повернул спину к лампе.

— Ни черта не разберешь, что у тебя тут... — разглядывая рисунок, проговорил я.

— Как не разберешь? Жорка, слышишь, разобрать ни черта нельзя! — всполошился Мишка.

— Чего скрипишь! Не окончено еще! — обиделся Жорка и принялся стирать тряпкой тушь со спины Мишки.

Приглядываясь к рисунку, показавшемуся мне необычным, я разобрал очертания креста, могилы и стоявшей над ней женщины. Наколка была еще не закончена, но что-то в облике сгорбленной, закутанной в какое-то одеяние женщины, создавало впечатление, что Жорка хотел изобразить старуху. Это меня удивило; когда у нас изображали женщин, то непременно голых и молодых.

— А это к чему? Могила, крест?..

— А это моя могила, — живо ответил Мишка. — А над ней мать стоит и плачет... сынка поминает... рисунок тот еще выйдет.

— Это ты что, сам выдумал?

— Сам! Подохну, плакать некому будет, так пусть хоть на спине останется... А на грудь орла посажу, вроде как у Гришки, — кивнул он в его сторону.

— Не хватало бы еще задницу разукрасить!

— Уже — разукрашена, да только не у меня. Гришка, покажи! — закричал Мишка.

Гришка тут же растегнул пояс и спустил штаны, выпятив зад. На одной половине его зада была изображена кошка, на другой мышка. Он сделал несколько шагов и рисунок пришел в движение: кошка, махая лапкой, старалась поймать мышку, а мышка от нее пряталась.

— Жорка и тебе наколоть может. Он у нас по этому делу спец! — говорил Мишка.

Хоть наколка, действительно, была очень забавна, но я отклонил предложение.

— На заднице больно, жуть!.. — натягивая штаны, говорил Гришка, явно тоже очень довольный своим рисунком.

Мы подошли к столу. На нем стояла бутылка с водкой и была разложена закуска. Мишка налил стаканы. Все выпили и закусили. Потом Гришка, сдвинув на угол стола водку и закуски, разложил карты и принялся гадать. Сидя верхом на стуле и положив голову на руки, Жорка внимательно следил за его гаданьем. Гришка был коренастый парень, лет двадцати пяти, лопоухий, с скуластым лицом, длинным горбатым носом и низким лбом. Его маленькие, бесцветные глазки то быстро бегали, то тупо и неподвижно смотрели в одну точку. На тонких губах всегда играла наглая и злая усмешка. Движения были ловки, тело гибко и во всей мускулистой фигуре чувствовалась большая сила; но ни сметливостью, ни умом он видимо не блистал.

Жорка — низкий, широкоплечий малый, с толстой, как у быка, шеей и скорее правильными, но довольно грубыми чертами лица, как наружностью, так и характером был прямой противоположностью Гришке. Волосы темные, вьющиеся, глаза серые, живые, губы яркие, чувственные. Вид у Жорки был всегда мрачный и только когда он изредка оживлялся, глаза его загорались и он начинал с увлечением говорить. Говорил он отрывисто, но довольно складно. Был вспыльчив, раздражителен и сдерживать себя, как Мишка, не умел, да и не пытался, а, напротив, всегда безудержно отдавался всякому своему чувству. Он был сметлив, изворотлив и, попав в беду, всегда умел из нее выкрутиться.

О третьем Мишкином приятеле — звали его Соловей — было не легко составить себе представление. Соловей был крайне молчалив, часами просиживал, не произнося ни слова, и часто, в компании, его как будто и не замечали. Но вместе с тем, по тому, как к нему относились товарищи, было видно, что его и любят и ценят. Сложен он был хорошо, лицо тонкое, красивое, подвижное, взгляд прямой и задумчивый, губы упрямо сжаты, волосы густые, светлые. Когда я вошел в комнату, Соловей, развалясь на стуле и положив ноги на стол, равно-

мерно покачивался, усердно чистя ногти концом большой финки. Внимательно слушая разговоры и изредка поглядывая на окружающих, он сам ничего не говорил; только в зависимости от того, нравилось ли ему, о чем говорилось, или нет, он хмурился, улыбался, поднимал бровь и сплевывал.

Когда Гришка собрал карты, Мишка попросил его погадать о деле, которое он намечал на завтра.

— На какую карту?

— На туза червей.

Перед делом у нас часто гадали и многие верили картам. Гадание было простое. Задумывали одну карту, а затем метали колоду, приговаривая: да, нет... да, нет... Если задуманная карта выходила на «да» — успех, на «нет» — неудача. Гришка стал метать. Все, вытянув головы, напряженно следили. Туз червей вышел на «да». Лица всех прояснились. Конечно, Мишка всё равно пошел бы на дело, но после гадания стало всё-таки спокойнее и никто уже не сомневался в успехе.

— Пойдешь с нами завтра? — небрежно, как бы между прочим, спросил меня Мишка, но по его глазам я увидел, что он с нетерпением ждет ответа.

— Пойду! — так же небрежно ответил я.

Еле заметная, торжествующая улыбка пробежала по его лицу.

Мне было очень интересно узнать, что это за дело. Но задавать вопросы не хотелось. Мое любопытство только увеличилось бы Мишкино торжество. Я решил выдержать пока он не заговорит сам, или, может быть, что-нибудь выяснится из общего разговора. Но все молчали. Гришка продолжал раскладывать карты. Жорка возился с наганом, а Соловей всё чистил ногти, время от времени отхлебывая из стоявшего рядом с ним на столе стакана. Мишка, болтая ногами, сидел на столе, куря папиросу. Наконец, не выдержав, я спросил:

— Мокряшка?

— Позычем, — небрежно проговорил Мишка. — Припрёт, так подмочить придется, — и помолчав добавил: — Грошевых объездчиков пугать будем.

— А где петлю затянуть думаешь?

— Недалеко от рабочего поселка большой кооператив есть. Мы уже выследили, он у них на объезде последний. Дело выгодное — по темноте, на окраине...

— Эх, и стукнемся! — разбирая наган и с нежностью оглядывая каждую его часть, с азартом проговорил Жорка. — Только я их чертей знаю. В клетке орлы, на воле серуны. Сопротивляться не станут... сразу руки вверх задерут.

— Вот герой откопался! — презрительно усмехнулся Мишка. — Волк прямо! Без резни не может! — Мишка посмотрел на Жорку с тем высокомерным сожалением, с каким умудренные опытом люди смотрят на мальчишек. — Не потехи ищем, а куш. Потеху в б..... найти можно. А с твоими повадками без пересадки в кичман угодишь.

— Плевал я на кичман! Люблю публику ошарашить, чтоб под носом вещички вынести и глядеть, как это на них действует, да как черти мотней трусят. А начнут трепыхаться и финочками поработать можно. А что толку на тихую работать? Ты мне скажи днем пойти, на глазах у всех... это я понимаю! — с жаром говорил подвыпивший Жорка. — А ты всё ночью, да ночью, да осторожно! Всё равно голову оторвут, так хоть пожить до этого! Чего ржешь? — злобно сверкнув глазами, крикнул он насмешливо улыбавшемуся Мишке. — Тоже!.. осторожный!.. Тогда и работай, как знаешь, а другим не мешай!..

— А я что, держу тебя, что ль? Не нравится, — проваливай!.. — всё с тем же спокойствием и тем же ленивым тоном проговорил Мишка, но в голосе его послышалась угроза.

Жорка трехэтажно выругался, но разговора не продолжал и, хлебнув водки, снова принялся чистить наган.

«Скрипит, а слушается!» — глядя на Жорку, подумал я. В течение всего вечера я наблюдал за Мишкой и всё более убеждался, что за годы нашей разлуки, в нем, на самом деле, произошла большая перемена. Он научился владеть собой. Внешне держал себя очень ровно, не терял хладнокровия. Своей невозмутимостью и равнодушием он всех обезоруживал. Найти

его слабое место и задеть его было невозможно. Из разговоров бражки мне было ясно, что никто из них с методами его работы не соглашался, а между тем все за него держались, беспрекословно подчиняясь ему. Иногда достаточно было одного его острого взгляда или повелительного слова и споривший, хоть и с неудовольствием, но замолкал. В Мишке всех привлекала его решительность, уверенность в себе, умение владеть собой, одним словом, все те качества сильной личности, которых не доставало многим из нас. «Придет время, и не такой шайкой управлять будет. Далеко пойдет...», думал я, глядя на Мишку.

— Что-то карыш мой не идет, — взглянув на часы, проговорил Мишка. — Видно запил, сволочь!

— Кого ждешь?

— Да вчера на улице на корешка напоролся. Одно время вместе работали, потом разошлись, по другой дороге пошел — художником стал.

— Ну, этим не разживешься.

— Кто как! А он, будь спок, обламывает. Ксивы делает.

Я подошел к окну, сел на подоконник. Голова кружилась от выпитого, но на душе было как-то спокойно и легко. «Как хорошо, что я со своими...» радостно думал я. Обо всем здесь можно говорить откровенно, ничего не тая, не боясь друг друга, не стыдась, не задумываясь, как на это посмотрят, да что об этом скажут... никого здесь ничем не удивишь, ни хорошим, ни плохим. У домашних товарищей разговоры умней и интересней, но как все там далеки и чужды друг другу, как не схожи их понятия о дружбе с нашими. Здесь, несмотря на грубые, подчас даже враждебные отношения, все спаяны в одно. Всё общее — опасность, радости, деньги, и каждый может рассчитывать на другого, как на самого себя. Потому-то здесь и дышится легко и свободно.

В комнате зашумели, уходя. Все вышли вместе. По лестнице загромыхали их тяжелые, не совсем твердые шаги; еще некоторое время с улицы доносились их громкие голоса, потом всё стихло, только во дворе собака тихо и протяжно подвывала на луну.

Мишка сел ко мне на подоконник и, закурив, молча глядел в окно.

— Один живешь? — спросил я.

— С Олькой. У ребят свои хавиры¹ есть.

Об Ольке я совсем позабыл и теперь только заметил ее отсутствие.

— Где она?

— У себя в комнате. Спит давно. Хочешь позову?

— Да нет. Пускай дрыхнет.

— Ты пойди к ней. Наедине скорее сойдетесь. Время ночное... самый раз, — подмигнул Мишка.

— Захочу, и без тебя сумею.

— Что, по школе душой болеешь? А? Вот к Ольке сходишь — сразу тоску прогонит.

— Уж больно ты, Мишка, напрашиваешься. Думаешь, не вижу, что удержать хочешь. Боишься, что передумаю, да уйду?

Мишка усмехнулся.

— Нет, пришел, значит, не уйдешь, — сказал он твердо.

— И правильно, Колька, сделал. Мозгуй, не мозгуй, всё равно к одному придешь. Разве мало таких, что из нашего мира уйти хотят? И уходят... А думаешь, мало возвращаются? Я уже насмотрелся. Вон Соловья возьми. Его тоже всё куда-то тянет, всё о чем-то думает, а остается, знает, что места там себе не найдет. Мы к свободе, Колька, привыкли, вот что! Потому и ты вернулся... Ну, а насчет Ольки как-же — хитро прищурясь, проговорил Мишка.

**
*

На следующий день, в условленный час вся бражка встрети-лась в сквере, недалеко от той улицы, где решено было на-пасть на линейку объездчиков. Соловья послали на разведку к кооперативу. Он должен был дожидаться появления линейки и немедленно дать знать. Настроение у всех было напряженное, взволнованное. Сидя на скамейке, мы поминутно поглядывали

¹ Квартиры.

в ту сторону, откуда должен был показаться Соловей. Один только Мишка казался спокойным. Растянувшись на скамье, закрыв глаза, он равнодушно грыз семечки. Ольки с нами не было. Она участвовала только в тех делах, где нужна была женская рука.

Прогуливаясь взад и вперед по дорожке, я беспрестанно поглядывал на часы, но стрелка их как будто не двигалась.

— Может, стервы, не приедут вовсе, — пробормотал Гришка.

— Приедут... А по темной лучше.

— То-то и плохо, что по темной... интересу мало, — мрачно бормотал Жорка.

Мишка, прищурившись, посмотрел на него.

— Шум подымешь — по черепу, так и знай!

Из-за поворота, на дорожке показался Соловей. Все разом вскочили. И быстро направились к выходу из сквера.

По обеим сторонам узкой, обсаженной деревьями улицы, где мы должны были совершить нападение, стояли невысокие дома, населенные рабочими. В этот вечерний час улица была совершенно пустынна, только на другом конце ее, довольно далеко, играли дети и до нас доносились их голоса. В некоторых окнах уже зажегся свет.

Трудно было предположить, что наше нападение пройдет незамеченным, но бояться особенно было нечего. Ни у кого из жителей на этой улице телефонов быть, конечно, не могло и предупредить милицию ни у кого не было никакой возможности. Вмешаться же и придти на помощь объездчикам никто бы не рискнул. Не говоря уже о том, что наши жертвы далеко не пользовались симпатией населения. К тому же, мы знали по опыту, что прохожие, если бы таковые и оказались поблизости, непременно поспешат убраться подальше от греха. Поэтому всё наше внимание было сосредоточено только на повороте улицы, из-за которого должна была показаться линейка.

Ждать долго не пришлось. Не успели мы занять заранее указанные Мишкой места, как вдали послышался быстро при-

ближающийся стук колес и топот подков по мостовой. Наступила решительная минута. Счастливый исход дела зависел только от быстроты нападения. Надо было сразу ошарашить наших противников, не дав им времени опомниться и схватиться за оружие. Опустив подкладку фуражек на лицо, мы спрятались за деревьями и, затаив дыхание, держали наганы наготове.

С сильно бьющимся сердцем я видел, как линейка заворачивает за угол. Две девушки и парень со смехом выбежали из соседнего дома. Увидев нас, они остановились, с испугом переглянулись и бегом пустились по улице.

В линейке сидело четыре человека. В глухих частях города объездчики обычно ездил быстро но на крутом повороте лошадь попридержали. Как только она замедлила ход, я бросился к ней наперерез. Лошадь шарахнулась в сторону. Хватая ее под уздцы, я успел заметить, как товарищи уже окружили линейку, а конвоиры подняли руки. В то время, как Мишка вскочив на подножку, проворно вытаскивал большую кожаную сумку, остальные отбирали у наших противников оружие.

— Сармак² тут! Дуй братва! — заглянув в сумку крикнул Мишка.

Перерезав возжу и изо всех сил стегнув лошадь оставшимся у меня в руке поводом, я отскочил в сторону. Испуганная лошадь понесла. А мы рассыпались в разные стороны.

Дело заняло не более двух минут и прошло исключительно удачно.

Через полчаса все мы были уже в сборе на квартире у Мишки. Сидя за столом и мусоля пальцы, Мишка деловито пересчитывал деньги, раскладывая их ровными пачками.

— Живем, братва! Одиннадцать с мелочью, — торжественно объявил он, когда подсчет был закончен.

Нам повезло — никто из нас такого барыша не ожидал. Каждому досталось по две тысячи. Мишка, как пахан, взял себе три и мелочь.

— Хорошо сезон начали! Правильно нагадал Гришка, —

² Деньги.

с блаженной улыбкой разваливаясь в кресле и закуривая папиросу, сказал Мишка.

— Поплыло государственное имущество! — рассовывая по карманам деньги, злорадно бормотал Гришка.

— Вот кому, поди, сейчас болванки чешут! Тоже, небось, сидят, счета подводят! — смеялся Жорка.

Все мы были в повышенном, радостном настроении. В крупных кражах и грабежах я до сих пор не участвовал и такого количества денег у меня еще никогда не было. Мне было даже как-то странно, что все деньги мои и так легко мне достались. Всего лишь несколько минут напряжения. А за двести-триста рублей люди работают целый месяц. Я тут же решил, что теперь долго не буду воровать. Несколько месяцев жизни обеспечены, руки развязаны. Можно будет жить как вздумается, читать сколько угодно, покупать любые книги, достать красок, уходить в горы и рисовать виды, а затем продавать их туристам, они хорошо платят. Может быть, в дальнейшем и вообще без грабежей обойдусь. А понадобятся деньги, что ж, в крайнем случае можно и повторить. Грабить правительство — дело чистое. Они нас ограбили, а теперь мы их. Я решил, что непременно буду учиться. Возможности большие. А захочу потом в Вуз поступить, сделаю себе подложные бумаги, а там дальше уж будет видно. Жизнь мне теперь казалась такой полной, счастливой, интересной.

— Сейчас ребята водки принесут. За б..... пошли, — проговорил Мишка.

Вскоре стол покрылся бутылками и свертками с едой. Из соседних комнат притащили стулья и кресло. Олька расставила стаканы. Явились девочки — «жены» моих товарищей, как называл их Мишка. Веселые, бойкие, хорошо одетые. На первый взгляд и не подумаешь, что воровки. Только приглядевшись, по ухваткам и говору, можно было распознать своих. В комнате стало сразу шумно, тесно. Кое-кто разместились вокруг стола, полетели пробки, полилась водка, начался кутеж.

Но не успели мы выпить по второму стакану, как в дверь

раздался стук. Соловей пошел открывать. В передней послышался чей-то громкий, незнакомый голос.

— Э, да это мой корешок! — обрадовался Мишка. — Тащи его сюда, Соловей! Это Художник, про которого я тебе вчера рассказывал, — подтолкнул он меня, указывая на входящего в комнату стройного парня лет двадцати трех, с веселыми глазами и лохматой головой. За ним ввалились еще какие-то две личности, вероятно, его приятели. Одному из них было лет под тридцать, другому, совсем еще молодому, лет шестнадцать не более.

— Качай сюда, братва! — приветствовал их Мишка. — Зубры на всех хватит.

Мы все потеснились и они подсели к столу. Художник и его приятели были уже навеселе и в весьма благодушном настроении. Они сразу полезли обниматься с девицами, но тут же получив от них кто по морде, кто по шее, успокоились и потянулись к водке. С их приходом в комнате стало еще веселее.

— Ну, как дела? — опрокинув стакан и повернувшись к Художнику, спросил Мишка.

— Канцелярия в полном ходе! Пары кольцами... — похлопав себя по боковому карману, многозначительно подмигнул Художник. — Разок погорел! — наливая еще водки, продолжал он. — С фальшивками черти не шутят. Пришлось товар усовершенствовать. А время такое, что спрос большой, работы по горланку... даже девочек пощупать некогда.

Художник залпом опрокинул стакан, утер рукавом губы, умильно глянул на девушек, но видя, что они не обращают на него внимания, покачал головой и принялся есть селедку.

— Да, браток, попал я тогда в шипчики. Чуть пульку не проглотил, — сказал он.

Мишка с недоверием посмотрел на него.

— Это как?.. Брешешь, сука!..

— Как? Калган не даром ношу, — хвастливо ответил Художник. — Во как... — и схватив обеими руками ворот своей рубашки, резким движением рванул его в разные стороны.

Нитки затрещали, пуговицы полетели. На груди его цветной тушью был вытатуирован большой портрет Сталина. — А еще вот как! — закричал он и, повернувшись к нам спиной, задрал рубашку. На спине был изображен Ленин.

Зрелище вызвало взрыв восторга.

— Вот это да! Вот, хрен ему в рот!

— Видали? — заправляя рубашку в штаны, торжествующе сказал Художник. — Черти народ хитрый, а мы еще хитрее. Позычили-б паспорта³ у лягов, когда я рубаху снял... Как на коле ж...а, потеха была!

Но Мишку не так-то легко было убедить.

— Сразу и по вольной? — с сомнением в голосе спросил он.

— Какой хрен! Опять головка на помощь пришла.

— Что-то ты уж больно головкой своей хвастаешься, — насмешливо протянул Мишка.

— Заслужила, потому и хвастаю, — отвечал в тон Мишке Художник. — Посадили меня, значит, в одиночку, а сами, небось думают, что им с сукиным сыном делать? А я, значит, сижу, рассуждаю. Дело ясное, хорошего черти ничего не надумают, в лучшем случае в концлагерь пошлют... Вот и придумал: отколол я от потолка кусок штукатурки и давай стену расписывать. Опять, значит, во всю стену Иоську и Ленина в профиль. Трудновато было, известка сырая, сыпется, да зато хорошо, что стена черная, закопченная, так что рожи мои, как живые, выперло. Аж смотреть тошно. Похоже получилось. Чувствовал ведь, что судьба решается... Пришел под вечер халуй, посмотрел, рот раззявил. Ты, говорит, нарисовал? Я, говорю, нарисовал. В тюрьме, дескать, сижу, расстрелять могут, а я вот, мол, вождей прославляю! А вы еще уничтожить хотите! Халуй подивился, носом подергал, ушел. Через час начальство заваливается. Видно, рассказал халуй, какое в тюрьме чудо объявилось. А я знал, что придут... чутье у меня такое, никогда не обманывает. Только не думал, что так скоро, а подготовиться

³ Паспорт — лицо.

всё таки успел. Волосы пригладил, штаны подтянул, воротничек выправил, чтоб чин-чином, на интеллигента смахивать... впечатление произвести... дескать, талант в заключении пропадает. Ну, завалились, значит, двое ко мне. Полтинники выпятели, не верят, что на память нарисовал и одной известкой. Поглядели, почапали. Сижу день, два, неделю, всё по старому. Вдруг вызывают: «На допрос!» Эге, думаю, клюнуло, только бы не с обратного конца! Начинают допрашивать, что, да кто, да откуда, да где рисовать учился...

Художник прервал рассказ, отхлебнул из стакана, крикнул, закусил селедкой и, облизнув пальцы, продолжал. Говорил он с большим воодушевлением и чувствовалось, что до сих пор всё еще не может нарадоваться своей ловкости и изобретательности.

— Одним словом, поговорили о том о сем, разузнали, записали и обратно в камеру отправили. Разговор любезный, по морде не били, матом не крыли, ну, думаю — выкручусь. Недельки через две предложеньице: хочешь в Художественную Академию? Наша, говорят, советская власть и коммунистическая партия открывают тебе дорогу. Выкуем, дескать, в тебе социалистическое сознание. Долго язык чесали. Я, конечно, соглашаюсь. Условие поставили: за старое возьмешься — пули не миновать. Оформили документы, отправили в Ленинград, обеспечили стипендией, валяй, учись... — Художник оборвался на полуслове и умолк.

— Ну, и что же? — спросил я, видя, что он не собирается продолжать свой рассказ.

— Ну, и что же? — грубо переспросил он. — Сам видишь, обратно к своим приплыл.

— Опять погорел?

— Нет, за старое не брался. Стипендии кое-как хватало, да я о деньгах и не думал... учеба увлекла. Понравилось, сам чувствовал, как руки иначе ходить стали. Иной раз профессора удивлялись: молодец, говорят, толк выйдет. Другим в пример ставили. Захватило меня так, что обо всем забыл, пить бросил... — он опять оборвался и умолк.

— Ну? — сказал кто-то.

— Струнки лопнули... не выдержал! — мрачно отозвался Художник и залпом выпил свой стакан. Один его глаз стал как-то нервно подергиваться, он медленно провел рукой по волосам и закурил.

Всё было ясно и понятно. Он не выдержал так же, как и я. Помолчав немного, он уже сам продолжал говорить. Видно было, что нечаянно коснувшись больного места, он вновь переживал всю свою обиду и ему хотелось выговориться.

— Как вспомнишь — аж печенки переворачиваются. Обида гложет. Всё дело на колесах было, учился — будьте покойны. Да начали обрабатывать, — коммуниста, говорят, в тебе не видно, а без этого, брат, социализм никак строить нельзя. Только о себе, говорят, думать не годится! Великая социалистическая эпоха в творчестве отражаться должна и без Маркса ни туды ни сюды. Нагрузку дали, историю ВКП(б) прорабатывать заставили, по комсомольским собраниям затаскали... Много чего было. Посмотрел я на эту обстановочку, увидел, как студентиков чешут — мне то еще многое спускали — «государственный»... Тошно стало. Учиться бросил, запил, с нашими в городе сошелся, на волю потянуло, да так и пошло.

— Правильно, Художник! Кто вольней нашей воли знает! — хлопнул его по плечу Мишка. — Оставайся с нами, вместе работать будем.

— Нет, брат! — важно и с достоинством проговорил опьяневший Художник. — Я не вор, я мошенник. У каждого свое.

Я спросил его, есть ли у него при себе деньги собственного производства. Художник вытащил из кармана несколько сторублевых бумажек.

— Попробуй, разбери, какие мои, какие государственные.

Подделка была, действительно, настолько искусна, что даже не верилось, что это ручная работа. Отличить фальшивки от настоящих было почти невозможно.

— Неужто от руки? — спросил я.

Все. Тушью и акварелью.

— Брешь! Тушью так не сделаешь!

— Не сделаю! — расхохотался Художник. — А вот как-нибудь покажу, сам увидишь. Да, на таком деле долго сидеть надо, искусство с годами приходит. Это тебе не квартирки чистить. Я ремесло взял правильное. Тихо, крыто, намазал и руки чисты. Не то что у вас там... днем спать, а ночью лазить!

— Заливай бабе! — презрительно кинул Жорка, — Посмотрел бы я на тебя в деле, конторская крыса!

— Вы, голубец, о крысах-то не так шибко! — добродушно рассмеялся Художник. — Печать, документ какой понадобится, ко мне же прибежите! Лучше меня мастера нет! Король фальшивок свое дело знает! Быстрее нашего, гражданин, никто не работает! — и Художник быстро вынул из кармана химический карандаш и блокнот, вырвал из него листок бумаги, плюнул на ладонь, растер слюну и начал рисовать, скороговоркой приговаривая:

— Печать понадобилась? Вам, граждане, какую? Третьего отделения? Загса? Народного комиссариата? Вуза? Втуза? Военкомата? Управдома? У нас запас на все случаи жизни. А может роспись желаете? Всё, что угодно, всё на память! Без ошибки, будьте благонадежны... Не на одних деньгах живем! — Проболтав еще с минуту, он подышал на ладонь, ударил ею о лист бумаги, на мгновение задумался, расписался и показал нам. Печать с подписью местного начальника милиции была, как настоящая. Всем пришлось согласиться, что Художник, действительно, мастер своего дела.

Время шло, бутылки опустошались, все начинали заметно пьянеть. Разговоры становились всё шумнее, говорили наперебой пересыпая речь отборным матом. Крики, хохот, взвизгивания и пронзительные голоса девчонок, всё сливалось в общий бестолковый гул. В облаках табачного дыма, между бутылками, я всё время видел перед собой лицо Ольки. Она сидела неподвижно, курая папиросу, почти не говорила, редко смеялась, только ее узкие блестящие глаза перебегали с одного лица на другое.

Я подмигнул ей. Олька ответила тем же и слегка улыбнулась. Злое выражение лица исчезло, твердые угловатые черты смягчились, лицо стало открытым и веселым.

— Нажимай на полную катушку! — подтолкнул меня локтем всё замечавший Мишка. — Может и поддастся!

— Может и поддастся! — зло блеснув на него глазами, передразнила Олька, встала, обошла стол и села ко мне на колени. Я обнял ее и поднял стакан.

— За красоточек! Займемся, милая!

Художник выпил одновременно с нами, крякнул и облизнулся.

— Вот обломил кусок! Хорош бабец!

— Хороша Маша, да не ваша, — презрительно сказала Олька и крепко поцеловав меня в губы, добавила: — Облизывайся, Художник!

— А гражданочка-то зубастая! — добродушно осклабился Художник.

— Баба с огоньком, не первый день знаю! — поддакнул, усмехаясь, Мишка.

Глядя на меня и Ольку, он, казалось, был очень доволен. Голова у меня кружилась от выпитого. Казалось, что я скольжу, лечу куда-то. На душе было удивительно хорошо, словно летишь на санках с горы так, что дух захватывает. Я крепче прижимал Ольку, смотрел ей в лицо, говорить было не о чем — и так всё было ясно.

Жорка достал гитару, и подобрав несколько аккордов, запел. Все сразу подхватили хором. Пели дружно. Начали с чужих песен, потом перешли к нашим, сперва похабным, затем к печальным, которых, казалось, никто не выдумывал, а сложились они и вылились сами собой. В них были мы — вся горечь и тоска нашей жизни. Потом все смолкли и пел один Соловей. Слушали его с угрюмыми лицами. Песня Соловья, то нарастая, то затихая, лилась, растравляя наболевшие раны. Попробовал бы кто запеть такие песни в другое время — сразу бы молчать заставили. Пелись у нас эти песни редко, только в хмелю. Слишком живо напоминали они о том, что

Н. В О И Н О В

хотелось забыть. В этих песнях — всё близкое, родное, в них и голод, и тюрьма, и холодные ночи у чужого порога, и оконченный труп товарища, в каждом слове узнаешь себя, вспоминаешь, о чем не надо помнить, и невольно к горлу подступают слезы...

— Довольно! — злобно крикнул Мишка и, схватив со стола бутылку, изо всех сил швырнул ее об пол. Брызги и осколки разлетелись по комнате. Соловей оборвался. Быстро овладев собой, Мишка откинул нависшие на лоб волосы и с обычной усмешкой проговорил:

— Ну, братва, нагулялись, пора по домам! По местам — хиляй! А вы, цацы, за каждого мне головой отвечаете. Начнут по дороге кричать — бейте по морде.

С этим напутствием Мишка отворил дверь и вытолкал всех гостей, одного за другим на лестницу.

— Пошли спать? — кивнул я Ольке.

Она поднялась и, потягиваясь, не спеша пошла к себе в комнату. Я пошел за ней.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Р О З Ы Г Р Ы Ш

«Всё опостылело, всё надоело...»

Из блатной песни «Хмурый и злой Петроград».

Летели дни, недели. Наступило лето. Я, как в угаре, не успевал ни думать, ни чувствовать. Я был захвачен воровской жизнью, отдавшись ей полностью, без узды и меры. Грабежи, кутежи, пьянство, хулиганские выходки. Нам было море по колено. Невозможного не было. И я презирал себя за потерянные на школьной скамье годы, за свою серую тогдашнюю жизнь, лишённую этих сильных ощущений.

Мишкины взгляды стали моими. Затравленные, голодные, битые, обреченные, мы с ранних лет росли полные ненависти ко всему, с животной жаждой жизни и, наконец, мы дорва-

лись. Цель была одна — пожить, нагуляться, насладиться, наверстать потерянное, пока не схватят, не засадят, не убьют.

На следующий день после первого дела — ограбления объездчиков — мы пошли с Олькой в ресторан. Там, на радостях, чувствуя себя богатым, я заказал «всю программу», да еще приказал официанту обнести водкой всех присутствующих, чтобы выпили за здоровье Ольки. Удивленный официант начал было тащить всё заказанное, как вдруг появился Зав и, догадавшись верно, с кем имеет дело, быстро подошел и нагло спросил, есть ли у меня деньги, чтобы заплатить по счету. Я уже был пьян, меня это взорвало.

— Сомневаешься, зараза? Думаешь, бродяга, так и денег нет? Держи! В другой раз не будешь сомневаться! — и вскочив, я со всего размаха ударил ногой по столу. Посуда со звоном полетела на пол, всё потекло, обрызгало сидевших за соседними столами. — Будешь нашего брата помнить! — крикнул я и, вытащив пачку денег, не считая, бросил официанту. Сторублевые бумажки разлетелись, официант на четвереньках кинулся их подбирать. — Вставай, Оля! В другом месте погуляем, где публика почище.

В ресторане поднялся переполох. Не дожидаясь приезда милиции, я взял под руку чрезвычайно довольную скандалом Ольку и направился к выходу. Задержать меня не посмели, потому что никто не знал, сидят ли среди посетителей мои товарищи. В тот же вечер я прокутил с Олькой все остальные деньги.

Когда я начинал припоминать свою жизнь за эти месяцы. в памяти, мелькая один за другим, вставали грабежи, мелкие, крупные, со стрельбой и схватками. А в промежутках — карты, водка, кутежи, Олькина любовь. В этом была вся моя жизнь. И меня снова иногда охватывала щемящая скука и какое-то внутреннее отчаяние. Я понимал, что в один прекрасный день всё это кончится тюрьмой, потом каким-нибудь далеким лагерем, может-быть смертью, а может-быть побегом, и тогда

снова всё с начала — грабежи, водка, карты, тюрьма. И на душе становилось злобно и досадно на себя и на других.

Но выхода не было. «Что ж, снова братья за учење, иди унижаться, опять ходить на дурацкие собрания... а товарищи? Что они скажут? Поднимут на смех, будут презирать. Отвернуться от самых близких и дорогих людей и променять их опять на кого? На чертей?» Нет, я чувствовал, что, несмотря на припадки острой тоски и тяжелой скуки, я никогда не уйду из своего мира.

Как-то утром я вошел в комнату Мишки. Он уже не спал; лежа в кровати, курил. Я сел к нему на постель. Мишка мрачно, исподлобья посмотрел на меня.

— Что волком глядишь? Опохмелиться что ль хочешь?

— Не всегда веселым быть, — огрызнулся Мишка.

Видно было, что он чем-то расстроен и мое присутствие ему неприятно.

— На меня что ли ошклабился?⁴ — спросил я, — За Ольку зуб точишь? Жалко стало, что дешево отдал.

— Иди ты со своей Олькой в баню, — сквозь зубы проворчал Мишка и повернулся ко мне боком.

— Ну, в чем дело, Мишка? — продолжал я приставать, решив, что не отвяжусь, пока он не выскажется.

Мишка пристально посмотрел на меня, потом мрачно произнес:

— Баба в мозги влезла, вот в чем дело...

Мишка по бабе страдает!? Я ожидал всего, но только не этого.

— Зарезать бы ее, чтоб не мучила... и забыл бы разом, — злобно проговорил Мишка.

Что ж ты свою отдал, а чужая мозги заедает?

Не чужая она.

А чья же?

Ничья.

Что же это за баба такая, что ты овладеть не можешь?

Была бы из своих и разговора бы не было, а эта,

⁴ Озлился.

стерва, своей была, да подкладкой наружу вывернулась, — криво усмехнулся Мишка. — Под домашних окрасилась, наших знать не хочет, воры, дескать, а я интеллигентная, комсомолкой стала. Овладел бы сразу и плевать, а тут, понимаешь, отказом только разжигает. Хотел заколоть курву, рука не поднялась.

— Затянем сюда и твоей будет. Чего голову морочить? — предложил я.

— Спасибо тебе, научил, — иронически посмотрел на меня Мишка. — Затянуть и сам бы сумел, да любить она всё равно не будет.

— Ну, уж если о любви думаешь, можешь не стараться. Такого, как ты, всё равно не полюбит.

— Сам знаю. От этого и мучаюсь. Первый раз это со мной. Я уж думал, инженером каким-нибудь ей представиться, дескать, я не я, работаю в чертежном отделении... — усмехнулся он.

— Вот это идея, Мишка. Валяй!

— А ведь точно, — подскочил на кровати Мишка и глаза его заблестели, а рот растянулся в хитрую улыбку.

— Ну да, я тебе портфель достану, будешь на свидания к ней с чертежами ходить, как «великий труженик социализма». Только ругаться брось, а то у тебя всё мат да мат. Инженеры, брат, так не выражаются. Придется тебе умные слова подучить, будешь с ней научными аллегориями шлёпать. План, дескать, проработан... строительство оснащается...

— Колька, стерва, да ты, я вижу, дипломат! Не зря с чертями возился, — обрадовался Мишка. — Только никому не ботай⁵.

— А давно она тебе мозги завернула?

— Помнишь Ленку в детдоме? Ну, недавно встретил, идет по проспекту в шляпке, не узнать. Подошел — вспомнила меня. Да только как узнала, кто я такой, и слышать и видеть не хочет. Перекуйся, говорит, по честному, тогда будем разговаривать... Только вот, боюсь, не поверит, что я перековался... Да

⁵ Не говори.

нет, я ей залью... Инженером-то, уж слишком, ну, чертежником прикинусь.

От мрачного настроения Мишки не осталось и следа. Он горошком выскочил из кровати и, весело насвистывая, начал одеваться.

— Только ты сразу на любовь-то не напирай, — говорил я. — Начинать издали, волеешь там о кирпичах о всяких, на производстве, мол, не хватает, по ночам не сплю, за строительство душой болею.

— Производство кирпича — по заветам Ильича, — засмеялся Мишка. — Ты, видно, не с одной путался. Знаешь, как деликатный заход сделать. Теперь будь покоен. Обкрутим как миленькую, очухаться не успеет, — уже не сомневаясь в успехе, говорил Мишка.

Ночью он куда-то исчез, а утром у него в комнате появилось множество планов, чертежей и бумаг, испещренных какими-то вычислениями и заметками. Кое-что он старательно выписал, составил себе список слов, о значении которых мы не имели ни малейшего понятия. Мишка принялся их заучивать. Несколько раз в течение дня он бегал к Художнику и, наконец, под вечер застав его, потребовал немедленно же сделать ему свидетельство об окончании какого-нибудь техникума, и дал свою фотографию, чтобы приклеить к документу.

Как раз к этому времени мы совершенно прекратили грабежи. Произошло это из-за получения Мишкой предупреждения из милиции. Милиционер, с которым он был в давней стачке, передал, что о нас начинают у них поговаривать и что нужно на время притихнуть. Разумеется, такие услуги милиционеров стоили нам дорого, но скупиться тут было нечего. Надо сказать, что милиционеры получали низкую зарплату и немудрено было, что, за редкими исключениями, они не только не брезговали, а сами искали таких связей, работая рука об руку с ворами.

По совету милиционера мы, не теряя времени, переменили местожительство, найдя маленький особнячек, одиноко

стоявший в большом, тенистом саду. Дом был во всех отношениях подходящий: уединенно, спокойно и далеко от нескромных соседских глаз. Хозяин, частник, сразу сообразил с кем имеет дело, и заломил большую цену. Мы, не торгуясь, согласились, но заявили частнику об одном: если к нему придут с распросами, он немедленно должен нас предупредить, а не предупредит — нож в спину обеспечен. Частник понял, что дело серьезное, побожился, что предупредит, и в тот же день мы въехали в особняк.

На общем совете было решено до конца лета отдохнуть и работать только в случае острого недочета в деньгах. У каждого из нас денег было пока что достаточно. В другое время Мишка вряд ли бы выдержал такое вынужденное бездействие, но тут как раз подоспело всецело поглотившее его любовное увлечение.

Каждый день к вечеру он начинал чиститься и бриться. Причесавшись и одев галстук, чего никогда раньше не бывало, он выходил из дому, с портфелем, набитым планами. Возвращался не поздно, но всегда довольный и веселый. И сорвав с себя галстук и швырнув в угол портфель, с облегчением принимался за еду и за водку. По его рассказам, Ленка уже поверила ему и начала как-будто сдаваться.

Жила наша бражка в это время довольно тихо. Иногда ходили на Терек купаться и играть в карты, иногда кутили по духанам. Нередко к нам присоединялся Художник, со своими приятелями-мошенниками. Внешне обе бражки смотрели друг на друга свысока, между нами часто вспыхивали ссоры и драки — каждый отстаивал превосходство своего ремесла, но в общем отношения оставались приятельскими. В своей бражке Художник был главным мастером, его приятели выполняли только черную работу: пёрли паспортные книжки, бланки, образцы печатей и подписей, доставали клиентов и заказчиков и сплавляли в публику фальшивые деньги.

За это время невольного отдыха каждый из нас развлекался по своему. Соловей стал учиться в секции бокса «Чайка». Из любви к искусству Жорка ходил воровать — деньги

и нажива не играли для него роли, дело тут было в привычке к «ощущениям». Гришка, обычно выпив, отправлялся в городской парк затевать драки. Олька часто ходила на танц-площадку или в кино, где добросовестно обчищала своих многочисленных ухажеров, опустошая их карманы и снимая у них часы. А Мишка, в свободное от любовных походов время, играл в карты или, сидя у себя в комнате, читал. Читали из нас многие, главным образом Дюма, Купера, Майн-Рида и другие романы-приключения. Хотя помню, что очень нам понравился и роман Виктора Гюго «Отверженные». Зато газеты читали очень редко, так разве иногда, от нечего делать, кто-нибудь что-нибудь прочтет вслух. Политикой и жизнью страны мы совершенно не интересовались, как и всем, что выходило из рамок нашей воровской жизни. Иногда лишь, когда в компании все обычные разговоры — о грабежах, бабах и пьянках — бывали исчерпаны и говорить было не о чем, кто-нибудь начинал рассказывать о прочитанной книге, или начинали мечтать о том, кто хотел бы кем быть. В этих мечтах один уже видел себя моряком, другой летчиком, третий популярным исследователем в какой-нибудь опасной экспедиции. Мечтали все страстно, но потом мечты как-то сразу уныло обрывались, словно все понимали, что это только мечты и ничто в нашей жизни всё равно не изменится.

Изредка обсуждали и политические события. Эти разговоры заводил обычно Жорка. Он иногда покупал газету, просматривал ее и начинал делиться своими впечатлениями, но не столько потому, что его интересовала политика, а просто ему хотелось поважничать и порисоваться.

— Вот, смотри, братва, немцы-то как французов бьют, — сообщал он, мельком взглянув на крупные заголовки.

— Правильно. Так им и надо, хрен им в рот... — отвечал кто-нибудь из присутствующих, даже не задумываясь над тем, кто кого бьет и что это за война.

— А французы что же? — нехотя спрашивал другой.

— Бегут, собаки. Аж пятки салом мажут, — важно объявлял опять Жорка и, немного подумав, пояснял уже сам от

себя: — Понятное дело — капиталисты. Куда им воевать, это не гроши в сундук складать, так им сволочам и надо. Англичанам тоже за мое всыпали.

— Правильно. Всех их под одно. Все они там эксплуататоры, — говорил Гришка, считая своим долгом показать, что и он разбирается во всех этих вопросах.

— Войну-то ведь почему затеяли? — продолжал Жорка. — На чужое добро зарятся, зрачки-то у всех расширились, на золоте сидят, а всё им мало... а теперь сами не рады, что попали.

— Эх, нам бы туда, — мечтательно потягиваясь, говорил Гришка. — Вот бы потрусили камушки да часики.

В этом с ним все были согласны.

— Да, жаль, что нас там нет, там, говорят, всё частники, капиталисты из рабочих соки последние выжимают, шкуру с пролетариата живьем дерут...

— Чего брешешь? — прерывал вдруг Мишка. — Откуда ты знаешь? Был ты что ль там?

— Да вон в газете пишут, — отвечал Жорка. — Посмотри сам. Капиталисты войну затевают, безработных у них прорва, они их на фронт и гонят...

— Рассказывай! — недоверчиво говорил Мишка, — Вишел я в кино, американских рабочих показывали. Одеты — на ять, пальтишко, башмачки с иголки... И негр там один безработный колбасой дымил. Изголодались, а у самих сигары в зубах. А из Польши товару какого навезли? В вагоне у спекулянта углы отрывал — видал. А комсоставские крали, как приоделись? Ничего... Дорвемся и мы. Пощупаем заграничного.

— Точно, — подтверждал кто-нибудь. — Иоська свое дело знает, — говорил Жорка, — финнам по мордам дал, пол-Польши отхватил, теперь поглядывает по сторонам, как они, мол, там друг другу глотки грызут. А потом — бах — на голову им и свалится. Всех под каблук возьмет... вот буржуи под ним и запляшут.

Иоська доберётся — все в лохмотьях ходить будут, — злорадствовал Гришка.

При мысли, что «Иоська» вспорет брюхо капиталистам, всем становилось весело. Но, по существу, война и все связанные с нею события скользили мимо нас, не затрагивая и не волнуя. Они приобретали в наших глазах значение лишь тогда, когда нам представлялась возможность извлечь из этого какую-нибудь выгоду для себя: «грабануть, пощупать, потрусить». У капиталистов есть деньги — значит надо их бить, но о том, кто победит, капиталисты или Советский Союз, сомнений ни у кого не было: «наши дадут»! А в общем и это никого из нас особенно не интересовало.

С бражкой в компании время летело быстро, но когда я оставался один, меня снова охватывала гнетущая тоска. Я всё чаще задумывался о будущем, чувствуя, что мне надо на что-то решиться и найти какой-нибудь выход. Но сколько я ни думал, придумать ничего не мог. И чтобы рассеять одолевавшие меня мрачные мысли, я стал часто уходить в горы. Брал с собой охотничье ружье, собаку, которую как-то подобрал на улице, брал краски, кисти и подолгу не возвращался в город. Я хорошо знал многие горные тропы. В предыдущие годы я месяцами жил с товарищами в горах. Пешком ходили в Тбилиси, лазили на Казбек, служили проводниками туристам, и иногда забирались в такие глухие горные места, где нам попадались аулы, до которых советская власть еще не добиралась. Горцы этих аулов лишь изредка спускались с гор и с русскими почти не общались.

Я нисколько не тяготился своим одиночеством. Мне было даже приятно оставаться одному в горах, где всё дышало свободой и дикой красотой. Бродишь целыми днями, поднимаешься всё выше и дальше. Сядешь где-нибудь на краю ущелья. Внизу чернеет пропасть, на дне которой белой лентой извивается Терек. Вдали, пересеченные темными пятнами лесов, зеленеют горные луга, теснятся неприступные скалы, а высоко над заоблачными вершинами плавно кружит орел и лишь где-то далеко случайный обвал нарушает бесконечную

тишину. Зайдешь в гнездящийся над ущельем аул, где гостеприимные горцы радуются всякому незванному гостю, или набредешь случайно на почерневшие развалины старого замка, поднимаешься по расшатанным, обросшим мохом ступенькам полуразрушенной башни...

Хорошо, легко и свободно дышалось здесь в горах. Всё тяжелое, что накатывало на меня там, внизу, в городе, здесь исчезало, и я забывал нашу тупую и бессмысленную жизнь.

Большую часть дня я рисовал. Увижу красивый горный вид, тут же сажусь и начинаю его зарисовывать. Когда таких зарисовок набиралось порядком, я спускался на дорогу и продавал их встречным туристам, охотно их раскупавшим. Продавал я не из-за денег. В деньгах я не нуждался, а в горах они мне и вовсе были не нужны, но мне не хотелось тащить свои картины в город, чтобы меня не осмеяли товарищи. Когда же краски и полотно кончались, я спускался в город.

Так было и на этот раз. Пробыв около месяца в горах, я вернулся в конце августа в город повидать товарищей и узнать, что подельвает бражка. Жили они более или менее тихо и спокойно, грабить еще не начинали. Мишка мне очень обрадовался и тут же рассказал, что от Ленки он уже своего добился и скоро собирается покатить с ней в Крым, якобы на «отдых перед строительством». Мишка, казалось, был весел и доволен. Однако, меня удивило, что добившись своего от Ленки, он не трюкко не охладел и не бросил ее, а продолжает разыгрывать «роль чертежника», придумав еще какую-то поездку в Крым, явно только для того, чтобы его обман здесь, в городе не раскрылся и чтобы не потерять Ленку. Из этого я заключил, что Мишка не на шутку увлечен и не так-то у него всё хорошо, как он рассказывает. «Стало-быть она над ним верх держит», — думал я. Проведя с ним несколько дней, я убедился, что мои предположения правильны. Мишкина веселость была напускной, и когда он не пил, сразу мрачнел, раздражался и уже не держал себя так ровно, как прежде. Я видел, что с Мишкой творится что-то неладное, но

он больше о Ленке со мной не заговаривал, а я его не спрашивал.

Прожив с неделю в городе, я уже собирался снова уйти в горы, когда неожиданное обстоятельство заставило меня переменить мое намерение.

Отправились мы как-то, в хорошую, ясную погоду на Терек и расположившись на берегу, как всегда засели играть в карты. Девочек с нами не было; нам иногда приятно было собираться только в мужской компании. В карты играли впятером: Мишка, я, Художник, Жоркин приятель, Толька-Летчик⁶ и Ванька-Качан, мелкий вор из домашних, на которого все мы смотрели с презрением и приняли в игру только с тем, чтобы его обчистить, зная, что у него большие деньги. Таких воров из домашних, как Ванька, мы сторонились и презирали. Им никогда нельзя было довериться и с их стороны всегда можно было ждать предательства. Они не были, как мы, связаны железной круговой порукой. Если лягавые хорошенько прижмут такого вора, он обязательно сдаст, а может выдать и просто за деньги или из мести. Мы же всегда сводили свои личные счета только между собой. Презирали мы их также за корысть и жадность к деньгам. К ворам по призванию, ушедшим от семьи и нормальной жизни только ради денег и легкой наживы, мы относились враждебно. Кроме того, не любили мы их и потому, что обычно работали они не так тонко, как мы, и часто срывали намеченное нами дело. В нашу семью бывших беспризорных трудно было попасть постороннему; только хороших, преданных товарищей из домашних, проверенных на деле и сумевших доказать, что дружба у них стоит выше всякой личной выгоды, мы принимали к себе и считали своими.

Игра завязалась азартная. Играли уже несколько часов сряду. Все мы, не стовариваясь, объединились, чтобы обставить Ваньку. Каждый, видя у соседа хорошую карту, готов был уступить ему, чтобы только подсадить «домашнего». Ванькины деньги быстро таяли. Чувствуя наш «молчаливый

⁶ Вор в постоянных разъездах.

заговор», он начал заметно волноваться, ерзать на месте, но выйти из игры он уже не смел.

Что касается Художника, то он был принят в игру под твердым условием, что будет играть на настоящие деньги. Никому не было охоты из-за него попадаться. Сначала Художник счел своим долгом обидеться, с возмущением доказывая, что такое условие оскорбляет его талант. Однако, эти объяснения ни на кого не подействовали и Мишка строго на строго приказал ему фальшивок не подсовывать — иначе голову оторвет. Но в течение игры у Художника обнаружился и другой замечательный талант, тоже, вероятно, природный. Он оказался изумительным шулером. Причем жулил он совершенно без всякой надобности, а так просто, ради удовольствия, как он сам потом говорил. Но нашего брата провести было тоже не легко и так как удовольствия Художника мы несколько не разделяли, то за каждое жульство он получал удар по уху. От постороннего он, конечно, не только удара, но даже косога взгляда не стерпел бы, но тут, в своей компании, дело было другое. За битые своими у нас не обижались. Тот, кого били, понимал, что если свой бьет, то за дело, и Художник терпел эти удары, сознавая, что они вполне заслужены. Наконец, жульничества Художника Мишке надоели.

— Канцыр, — сказал он, вытаскивая финку и вонзая ее в землю. — Теперь будем играть по закону.

Когда нож брали судьей игры, игра становилась действительно серьезной и при малейшем подозрении карали немилосердно.

— А ты, гражданинчик, или как звать-то тебя? Деньги что ли копить думаешь? Игрок, тоже! Садись, отыграешься, — обратился Мишка к Ваньке, собиравшемуся уже выйти из игры, под предлогом жульничества Художника.

Ваньке против воли пришлось остаться. Художник тоже впал в некоторое уныние, игра потеряла для него всякую прелесть, но переступить закон он уже не смел. Ванька проигрывался всё стремительней, но проиграв всю свою тысячу рублей, ему уже жалко было бросить игру и, в надежде оты-

граться, он предложил поставить свои штаны. Штаны были с презрением отвергнуты.

— Не хотите? Ладно, — сказал Ванька. — Ставлю бабу.

— Бабу? — возмутился Летчик. — Не-ет, брат, брось, на вошь сыграю, а на бабу не буду. Продала меня одна девка лягавым. Довольно...

— Ну, это твое личное дело, — проговорил Художник и обратившись к Ваньке, добавил: — А баба твоя где?

— Где-нигде, а проиграю — достану.

— Достанешь! — вмешался я. — Знаем мы вас, красивых. Время позднее, город далеко. Ты товар на кон ставь, тогда увидим, стоит он денег или нет.

— Точно, — поддержал Мишка. — А то приведешь такую, что с ней... рядом не сядешь, не только что...

— Ладно, — сказал Ванька, вставая. — Коли на слово не верите, приведу.

— А ты кто такой, чтобы тебе верить? — вскинулся Мишка. — Качай, да смотри, чтобы у девочки морда кирпича не просила. Мы народ деликатный, шмару какую-нибудь не приводи.

Уж стемнело. В ожидании Ваньки игру прекратили, разложили костер и принялись за водку. Отсутствие Ваньки могло продолжаться долго. Прохожих по дороге, идущей вдоль Терека, в такой поздний час было немного, тем более девушек и поджидать их, сидя в кустах, было бы бессмысленно. Судя по направлению, которое взял Ванька, мы догадались, что он пошел в сторону Цветмета (Институт Цветных Металлов), к стоянке трамваев. Там, действительно, можно было напасть на какую-нибудь запоздавшую, возвращавшуюся в город студентку. Институт находился в нескольких километрах от города, а от института до стоянки было, примерно, с километр расстояния, которое студенткам приходилось идти пешком. Место было глухое, вдоль дороги тянулись большие государственные сады, а по другую ее сторону — мелкая чашоба и кустарник, спускавшиеся по обрыву прямо к Тереку. Тут обычно и прятались наши, на страх и горе

студенткам. Бывали случаи изнасилования, грабежей. Но, в общем, в своих рассказах обыватели сильно преувеличивали нашу жестокость. Всё зависело от настроения. У нас любили «пошутить» с студентками. Правда, шутки бывали своеобразные. Поймают, например, студентку и прикажут ей раздеваться. Под угрозой финки студентке ничего не остается, как исполнить приказание. Когда она разденется, ее вещи отберут и приказывают убраться. Голая студентка, конечно, в слезы.

— Товарищи, пожалейте. Ну, как же я пойду.

Когда настроение было благодушное, вещи отдавали. Но бывало и всякое.

Иногда, в хорошую погоду иные студентки, набравшись храбрости, спускались к Тереку купаться и ложились загорать на солнце. Увидит кто-нибудь из наших и непременно подъедет. Студентки в ужасе вскакивают.

— Чего, чего испугались? Может я только поговорить хочу. Ложитесь.

Студентки в страхе ложатся. Парень ложится с ними, начинает болтать всякую чепуху, возьмет их белье, рассмотрит, полапает девушек, пощекочет.

— Чего, девочка, ерзаете? Я вас только пощупаю, не бойтесь, дальше роман не зайдет.

Пощупает, пошутит и уйдет, очень довольный собой: с интеллигентными девицами, дескать, время провел.

Иной парень подсаживался к девицам и без хулиганских умыслов. Посидит, поговорит и если почувствует, что его не только не боятся, но и не брезгуют им, то и сам хорошо отнесется, даже поможет. Часто, нуждавшимся студенткам, — а нуждались почти все — помогали, давая денег. «На, бери на мои поминки», или «Учись, учись». (Слово «учись» всегда произносилось с иронией) и в виде утешения добавлялось: «Всё равно в лагере скоро вместе укалывать будем».

Зато отказ от денег со стороны студенток всегда очень обижал: «Чего ломаешься, дура, не за деньги покупаю, хотел бы и без денег... Не телеса твои нужны, от души даю». Для

тех же, кто проявлял брезгливость и отказывался разговаривать, дело обычно кончалось плохо.

Из нашей бражки Мишка, пожалуй, больше всех любил «пошутить» со студентками. Пошутит, поиздевается, а потом всегда денег даст, никогда не пользуясь даже теми, кто предлагали себя. Но по тому, как он издевался, а потом давал деньги, я видел, что он это делал с особым умыслом. Издевался он не из хулиганства и давал не из жалости, как другие. Его насмешки и издевательства были не просто грубыми, а всегда унижительными и обидными. Он прекрасно сознавал, что для тех, кто берут у него деньги — он вор и существо, достойное презрения и ему было приятно, что несмотря на это, у него, вора, берут деньги и он, вор, может еще сколько хочет унижать и оскорблять этих «честных». Он знал, как дорог каждый рубль этим учащимся и ему было приятно, что от него эти рубли принимают, несмотря на его оскорбления. Мишка был не глуп и понимал, что не каждый студент или студентка позволит ему себя оскорбить и унижить и знал, как и к кому подойти. Но чувство у него всегда было то же: захочу и любой будет в моих руках. Это было — насколько я понимаю — лишь его глубоко оскорбленное самолюбие, заставлявшее его всех ненавидеть и по-своему мстить за то, что он вор, пропащий, и у него всё кончено, в то время, как у студента впереди будущее. Возможно, что ему было даже приятно нарочно растревать свою рану и представляться еще хуже, чем он был на самом деле.

К нашему костру подошли Гришка, Соловей и другие. Они до самой темноты тренировались в драке на ножах, стрельбе из пистолетов, купались в Тереке и теперь пришли поесть и выпить.

А где же тот олух? — спросил Гришка, садясь у костра. — Выкачали?

— Выкачали. За бабой пошел.

— Неплохо подработали, — весело сказал Мишка. — Он, дурак, выиграть хотел, в другой раз не сунется. Еще, того гляди, и бабу подыграем.

— Если выиграешь — на пару, — подмигивая Мишке, проговорил Художник.

— Ты до баб охотник... да заранее рот не разевай, еще такую приведет, что не рад будешь.

— На один раз всякая хороша, — усмехнулся Художник.

Вскоре послышался шум раздвигающихся веток, шелест сухих листьев и в кустах показались две фигуры: Ванька-Качан и девушка в светлом платье.

— Ребята, с бабой!.. Давай ее поближе к костру, рассмотрим!.. — посыпались со всех сторон восклицания.

Ванька подошел к нам, держа свою пленницу за вывернутую назад руку. В костер подбросили мелких сучьев. Вспыхнувшее пламя осветило стройную, милостивую девушку. С ужасом озираясь кругом, она переводила большие, испуганные глаза с одного лица на другое. Но освещенные красным отблеском костра лица, глядевших на нее из темноты людей, не предвещали ей ничего доброго.

— Неплох товар, — ухмыльнулся Художник и подошел к девушке. — Ну, а фабрика молока как налажена? — проговорил он, ощупывая у вырвавшейся девушки груди. — Будьте покойны, молочное хозяйство в порядке, — со знанием дела сказал он и начал похлопывать ее по заду и по бедрам. Резко оттолкнув его, девушка рванулась в сторону. Раздался общий смех.

— Ох ты, злющая какая! — и Художник снова двинулся к девушке, но Мишка грозно крикнул:

— Не шупай! Не твоя! Тоже, нашелся любитель... Держи ее, Ванька!

Ванька грубо схватил выбивавшуюся от него девушку и пригрозил ей финкой.

— Захочешь бежать — приколю. Понятно?

Но девушка, вырвавшись, бросилась в кусты.

— Куда? — крикнул Ванька и в два прыжка догнав ее, приволок обратно. — Думаешь, что зарежу? Падаль не

нужна. Погоди ночку, самой понравится, еще спасибо скажешь, — захотел он.

Мишка подошел к девушке и, оглядев ее с головы до ног, проговорил:

— Ты, девочка, не бойся, здесь всё люди свои, деликатные, — и обратившись к Ваньке, добавил: — Товар хорош! Тридцать целковых идет? А не хочешь, забирай себе, больше не дам.

— Идет на тридцать, — сказал Ванька.

— Что вы от меня хотите? — бросаясь во все стороны и тщетно пытаясь вырваться от Ваньки, с отчаянием крикнула девушка.

— Поживешь — узнаешь, — отрезал Мишка и позвал игроков. — За карты, ребята, нечего зря время терять. Садись, Ванька. Соловей и Жорка, наблюдайте за девочкой. А ты, девка, не пугайся, что так много народу — одному достанешься.

— Подвезло, — подсаживаясь к нам, сказал Ванька. — Иду к Цветмету, смотрю студенточка трамвая дожидается, одна, как гвоздь, кругом никого. Учиться ездила, вот и доездила.

— Ничего, у нас тоже кое чему научится, — усмехнулся Мишка и все расхохотались.

Игра продолжалась очень недолго. Почти сразу выиграл Летчик. Ванька встал и огорченно сплюнул.

— Ну, как? — обратился Мишка к Летчику, — займешься девочкой?

— Говорил, что на баб не играю, — ответил он. — Мне она не нужна, пусть разменной монетой служит.

— Не то, что наш Художник, — сдавая карты, усмехнулся Мишка.

На этот раз игра шла долго. Время от времени я поглядывал в сторону студентки, сидевшей между двумя телохранителями в нескольких шагах от костра. Испуг ее, казалось, прошел. Во всяком случае, если она и боялась, то виду не показывала. С упрямо поджатыми губами, слегка выдвинув

подбородок, она в упор смотрела на играющих. Взгляд ее был даже дерзкий, вызывающий, была в нем, может быть, и доля любопытства, но того любопытства, с каким в зверинце смотрят на змей, или на что-нибудь в этом роде, внушающее отвращение. Я встретился с ней глазами и прочел в них презрение и гадливость. Да, она смотрела на нас именно так, как на гадов. В то же мгновение я заметил, что Мишка тоже смотрит на нее.

Мишка выиграл. Мы переглянулись и поняли друг друга.

— Моя, — сказал он, вставая, и загреб лежавшие перед ним деньги. Девушка чуть заметно вздрогнула и откинулась назад.

Не хочешь дальше играть? — спросил я.

Нет, — отрезал он.

На сто рублей.

Нет, — и он сделал шаг в сторону.

— Двести.

— Раз сказал — кончено.

Все с любопытством смотрели на нас. Меня охватило желание настоять на своем. Я быстро вытащил деньги и бросил перед собой всё, что у меня было.

— Идет? — с вызовом обратился я к Мишке.

Мишка пристально посмотрел на меня.

— Идет, — сказал он после минутного молчания.

Сдавай. А ты, девочка, пока моя. Сядь-ка поближе — мацать⁷ буду, чтобы моей и осталась. — Тон его был шутливый, но злая усмешка и прищуренные глаза выдавали его настроение.

Все стали напряженно следить за нашей игрой.

Карта мне не шла. И Мишка начинал надо мной издеваться.

— А ну, Ванька, подкинь-ка соломки за кустами, приготовь нам с девочкой местечко, игра, кажись, на исходе. А ты, девочка, радуйся, что моей будешь, хорошему человеку до-

⁷ Мацать — трогать.

станешься. Что ж хозяину своему не улыбаешься? Нос задирешь? Не нравится? Ничего... потом заулыбаешься.

— Не мылся, Мишка, — бриться не будешь. Моя девочка, — и я открыл свои карты.

— Вот смотри, пожалуйста, — шутливо и беспечно, будто он вовсе и не был огорчен проигрышем, сказал Мишка. — Ну, милая, не горюй. Колька парень хороший, может на пару уступит. Уступишь, Колька?

— Не-ет, друг. Не для того играл, чтоб такой куш на двух перебивать.

— Ишь зубр... Что ж, выигрыш твой, навязываться не стану.

Я повернулся к студентке. Выражение ее лица и взгляд были всё те же: презрение и гадливость. И от этого взгляда во мне произошло что-то неладное, словно мне передалась Мишкина злоба, сдержать которую я был уже не в силах. Захотелось сделать что-нибудь самое подлое, только бы она перестала так смотреть.

Соловей толкнул ее в мою сторону.

С трудом сдерживая вскипевшую во мне злобу, я пристально смотрел на нее. «Использовать?», думал я. «Да у такой и испуга не вызовешь. Отпустить?». И вдруг у меня вырвалось:

— Ну, чего zenки вылупила? Качай отсюда к чертовой матери.

И сразу мне стало досадно на себя, а вместе с тем при мысли, что я поступаю на зло Мишке, я испытывал злорадное удовлетворение. Девушка двинулась не сразу. Очевидно она была так уверена в том, что ее ждет, что сперва как бы даже не поняла моих слов. Она только неловко попятилась.

— Оглохла что ль? Давай чесу, пока цела, — грубо крикнул я.

Не ускоряя шага, она пошла прочь.

— Эй, девочка, адресок-то оставь, пригодится, — закричал ей вслед Художник.

Таким концом игры вся бражка была разочарована. Один

только Мишка, подбрасывая щепки в костер, весело посвистывал.

— Что же ты ее не...? — спросил Гришка.

— Да на черта она мне сдалась...

— А что ж? Девочка недурна, жалко даром отпускать. Тогда я... — и Гришка хотел было побежать за девочкой.

— Стой, Гришка! — повысив голос, но спокойно проговорил Мишка. — Колька выиграл, он и распоряжается, на эту ночь девчонка его, а завтра лови ее да бери.

Гришка, потоптавшись, нехотя вернулся к костру, бормоча ругательства по моему адресу.

Костер уже догорал. Вскоре мы собрались домой. До города дошли вместе, а там разошлись. Мы пошли вдвоем с Мишкой. Впереди шли Художник и Ванька, о чем то оживленно болтая. Вспомнив Мишкины насмешки во время игры и его злорадный вид, когда он уже не сомневался в выигрыше, мне захотелось его подразнить.

— Так-то, Мишенька, болеешь, что девочку помять не пришлось? Бывает. По усам текло, а в рот не попало. Хотелось заиметь, да под носом проехала... а везло-то как!

— Везло, — ответил Мишка, в темноте я не видел выражения его лица, но по голосу догадался, что он усмехается. — Везло, да на тебя посмотреть захотелось. Думаешь, выиграть не мог? С самого начала вся карта на то была. Мало меня знаешь, Колька, — сплюнул он в сторону. — Хотел девченку, а как увидел, что ты нажимаешь, то и подумал, дай-ка лучше на тебя посмотрю. Да и черт с ней. Не нужны нам такие твари.

В это время мы нагнали Художника и Ваньку; они, остановившись, глядели на какую-то лежавшую на улице темную фигуру.

— Что это? — спросил Мишка.

— Черт его знает. Рабочий верно... пьяный свалился. Известное дело — конец месяца, получку пропил. Пошли, — отходя проговорил Художник.

— Погоди, — сказал Ванька. — Всю-то, небось, пропить не успел, сейчас возместим убытки, другой раз умнее будет, —

и нагнувшись над лежащим, он полез шарить по его карманам.

Но Мишка, схватив Ваньку за плечо, с силой оттолкнул его.

— Кого обчищать? Попробуй... сам голову положишь... тебе же финку всажу.

— Наше дело обчищать, а кого не важно, — злобно ответил Ванька, не смея, однако, снова подойти к лежавшему.

— В а ш е дело обчищать! Нашел дело, пьяный лежит — просто и без хлопот, забрал и не брыкается, — презрительно сказал Мишка и уже с ненавистью добавил: — Сволочь ты, хилий боком, а то заколю...

Н. Воинов

(Продолжение следует)

**
*

Здесь всё совсем не так, как надо:
Здесь песен не поют цветы,
Здесь небо синим водопадом
Не прогрехочет с высоты;

Здесь звезды не благоухают,
Недвижны скалы подо мной,
И ангелы, не отвечая,
Меня обходят стороной...

О, сколько мне еще в смиренности,
К молчанью сердце приучив,
Терпеть уснувшие камения
И не расцветшие лучи!?

Пока Невидимого Града,
Ликуя, трубы воззовут,
И станет всё опять, как надо,
Как мы давно отвыкли тут!

Д. Кленовский

“РЕСПУБЛИКА” ЗУЕВА

Мы приводим рассказ русского эмигранта, служившего офицером в немецкой армии на Восточном фронте. Он являлся непосредственным свидетелем и участником описываемых событий. **От авторов.**

Район Полоцк-Витебск-Смоленск немецкие войска заняли ранней осенью 1941 года, и фронт сразу отошел более чем на 200 км. на восток. Немецкая армия в это время мало занималась местностями ею занятыми или, вернее, уже пройденными. В районы, имеющие более или менее серьёзное значение, назначался «ортс-комендант» с небольшим гарнизоном, который фактически контролировал только очень небольшой участок вокруг населенного пункта, в котором поселялся. Обычно, такие коменданты назначались в места, через которые проходили хоть какие-нибудь сносные дороги. На карте, в штабе, обозначался крупный район и теоретически предполагалось, что этим районом назначенный комендант будет управлять. Но так как войск в его распоряжении не было и практически, после снятия урожая, делать коменданту в его обширном царстве было нечего, то он благоразумно в район и не выезжал. Даже в 1943 году в оккупированных областях оставались еще деревни, куда, за всё время войны, не заходил ни один немецкий солдат.

В сельских местностях, после занятия той или иной территории, немцы обычно назначали, так называемых, «бургомистров», руководствуясь, главным образом, бравым видом и военной выправкой кандидата. Позднее население стало само выбирать своих бургомистров из людей, которым доверяло¹. За редким исключением, немцы смещали ранее назначенных ими бургомистров и утверждали выбранных населением. Нужно сказать, что в большинстве это были честные и умные люди,

¹ На юге очень часто бургомистрами выбирались быв. председатели колхозов.

которые прекрасно защищали перед немцами интересы крестьян. Довольно часто выбирались бургомистрами и женщины.

Морально крестьяне чувствовали себя спокойно: немцы никак себя не проявляли, а коммунисты, которых они ненавидели, ушли. Многие крестьяне были уверены, что немцы, убрав Сталина и коммунистов, и сами скоро уберутся к себе в Германию, забрав с собой за «оказанную услугу» из страны то, что им захочется. Но это казалось крестьянам даже справедливым, они охотно соглашались на «уплату» подобного долга. Я сам слышал как об этом толковали в деревнях (дер. Котлы, дер. Ямы — Кинисепоского района, сентябрь 1941 г.): — «Никаких денег для Гитлера не пожалеем, 10 лет ему платить будем, если он Сталина и всю его сволочь перестреляет». В дальнейшем, они смутно представляли себе созыв Учредительного Собрания, главным образом, из крестьян и установление режима, «как при НЭП'е было». Я говорю, конечно, о массовом мнении, ибо среди крестьян были люди, сильно задумывавшиеся над вопросом всё ли будет так просто и удастся ли так легко разделаться с немцами.

Но вот, глубокой осенью 1941 года, стали появляться первые партизаны. Ядро их составили парашютно-десантные группы, сброшенные НКВД в немецком тылу. Почти одновременно появились и первые беглецы из лагерей военнопленных, которые рассказывали об ужасах, творимых немцами в лагерях. Крестьяне стали задумываться: с одной стороны — немцы их освободили от коммунистов, с другой — немцы уничтожают русское население.

К тому же, появление партизан, хотя и в самом незначительном количестве, заставило немцев посылать в леса и глухие деревни карательные отряды, состоявшие, главным образом, из финнов, эстонцев и латышей — отличавшихся невероятной жестокостью.

Благодаря всему этому, в глухих местах и стали возникать подобия крестьянских «республик», под лозунгом — «ни немцев, ни Сталина». С двумя такими «республиками» мне пришлось столкнуться.

В январе 1944 года часть, в которой я служил, была переведена в Полоцк. Знакомясь в штабе с положением в данной местности, я несколько раз натолкнулся на дела, носящие заглавия: «бецирк З.», «район З.», «запросить мнение З.», «ответ З.» и т. п. И я крайне удивился, узнав, что «З.» — это русский; по фамилии Зуев. Я знал, что районы и округа всегда, хотя бы номинально, управлялись немцами и запрос русского

Зуева казался мне чрезвычайно странным. Я выразил желание его увидеть, но адъютант коменданта города (и местности) еще более удивил меня своим ответом:

— Это совсем не так просто, как вы думаете. Надо сначала запросить З., захочет ли он вас принять, а если захочет, то когда именно.

— Как же это сделать?

Адъютант сказал, что в Полоцке живет представитель З. — профессор П., через которого я могу связаться с З.

Узнав адрес профессора П., я вечером отправился к нему. Профессор занимал небольшой домик на окраине города, окруженный маленьким садом, вокруг которого тянулся высокий забор. Когда мой автомобиль подъехал к воротам, со двора вышел человек сильного телосложения, вооруженный советским автоматом и весьма нелюбезно спросил меня, что мне нужно. Молча выслушав меня, он ушел, старательно запретив за собой калитку. Вернулся он быстро и попросил меня следовать за ним. На мой вопрос, нельзя ли завести автомобиль во двор, а шоферу зайти на кухню, чтобы погреться, он коротко ответил: «Нельзя, это у нас запрещается».

Меня ввели в домик. Из сеней я прошел в небольшую приемную, а из нее в большой кабинет. Навстречу мне из-за стола поднялся человек лет тридцати пяти, высокий, одетый в поношенный штатский костюм и высокие сапоги. Меня сразу поразили его пронизательные серые глаза и спокойно-самоуверенная манера себя держать. Он назвал свою фамилию и вопросительно посмотрел на меня. В свою очередь, я представился и назвал часть, в которой служил. Не подавая руки, он предложил мне сесть. Я стал ему объяснять мое желание увидеться с Зуевым.

— Если вам нужно что-либо по вопросам вашей службы, — перебил он меня, — я могу ответить на ваши вопросы.

Я ответил, что нахожусь в Полоцке недавно и знакомлюсь с положением, но, так как несколько раз в штабе, в делах встречал имя Зуева, то хотел бы повидать человека, имеющего такой вес у немцев. Далее я объяснил, что так как имя З. не упоминается в списках агентов Абвера² и, насколько я выяснил, не связано ни с СД³, ни с ГФП⁴, где русские обыкновенно пользуются влиянием только в том случае, когда они

² Абвер — контрразведка германской армии.

³ SD — Sicherheitsdienst.

⁴ ГФП — секретная служба полевой жандармерии.

В. ПОЗДНЯКОВ И Д. КАРОВ

мерзавцы, то З. особо меня заинтересовал и мне бы очень хотелось узнать этого человека.

Профессор на меня удивленно взглянул:

— Но ведь вы сами являетесь офицером немецкого Абвера, т. е. разведки и контр-разведки, — сказал он мне весьма холодно.

Я ответил ему, что было бы слишком долго рассказывать почему именно я попал на эту службу.

— Уверю вас, — добавил я, — что служу только потому, что убедился в возможности таким образом помочь русскому населению освободиться от власти Сталина. Судьба немцев меня интересует мало. Может быть, вы поверите мне скорее, если я предложу вам мою помощь, например, в освобождении напрасно арестованных людей, которых вы считали бы нужным освободить, насколько, конечно, это будет в моих силах.

Профессор задумался.

— Я не думал, что в эмиграции есть люди, здраво смотрящие на положение у нас, — сказал он, наконец. — Кто вы, я более или менее уже знаю, у меня тоже есть осведомители, — добавил он.

Мы поговорили еще немного, а затем П. обещал, что уведомит меня, когда я могу посетить Зуева, и мы расстались.

Я уехал от него в бодром настроении: таких людей в оккупированных областях СССР мне приходилось встречать не часто.

На другой день я стал собирать о профессоре все возможные сведения. СД и ГФП относились к профессору очень враждебно, во-первых, потому, что он наотрез отказался иметь с ними какие-либо дела и отослал обратно все их подарки, которыми они старались привлечь его симпатии, а, во-вторых, потому, что считали его слишком большим патриотом, надеяться на которого, именно из-за его патриотизма, было невозможно. Зато в комендатуре г. Полоцка я нашел зондер-фюрера из балтийцев, который с восторгом говорил о Зуеве и о профессоре. Отзыв этот, отчасти, конечно, объяснялся тем удовольствием (дичь, мясо, масло, мед, кожи и шерсть), которое зондер-фюрер регулярно получал от З. и профессора, но, помимо этого, зондер-фюрер, не глупый человек и не немец в душе, — чувствовал неподдельную симпатию к обоим. Зондер-фюрер подтвердил мне, что оба интересующие меня лица отказались наотрез стать осведомителями-агентами немцев. От него же я узнал, что профессор появился в городе, как только туда вошли немцы и, благодаря хорошему знанию немецкого

языка и местного населения, оказал им большие услуги и тем самым завоевал крупное влияние среди них. Профессором какой науки был П. и носит ли он настоящую фамилию — зондер-фюрер сказать мне не мог.

В городе профессора знали мало, жил он замкнуто, водки совершенно не пил, любовницы в городе не имел и взяток не брал, хотя мог бы брать их в большом количестве. Ходили слухи, что он сидел в советском концлагере по статье 58 и не то бежал, не то был выпущен оттуда перед самой войной. В Полоцк он попал случайно.

Через три дня после моего визита к профессору П., тот же человек, который встретил меня у его дома, пришел ко мне и сказал, что на другой день, в два часа дня, Зуев будет рад меня видеть и пришлет за мной свои сани и лошадей. На мой вопрос, сколько будет саней, посланный ответил, что сани будут одни.

— А как же конвой? — спросил я.

— А вам туда с конвоем и ехать нельзя, — был ответ, — всё равно Зуев никого, кроме вас, к себе не пустит. А за себя вы не беспокойтесь, раз Зуев вас зовет к себе в гости.

На другой день, как только мне доложили, что сани от Зуева приехали, я оделся, позвал Н. и вышел на крыльцо, у которого стояли сани. На облучке сидел солидный бородач, любезно со мной поздоровавшийся.

— Ты что же, один нас и повезешь? — спросил я его.

Он с улыбкой ответил, что раз Зуев меня пригласил, то бояться нечего и предложил садиться. Лошади оказались очень хорошими, сани быстро покатались и очень скоро мы были уже за городом. Сначала дорога шла среди мелкого кустарника, но вскоре мы въехали в довольно густой лес. Я мигнул Н. и мы взяли автоматы в руки. Мы ехали уже больше часа, как вдруг из-за поворота дороги нам навстречу вынырнули четыре всадника, вооруженные карабинами. Мы насторожились, и уже хотели было стрелять, но возница наш обернулся и сказал, что это люди Зуева. Всадники окружили наши сани и мы поехали дальше. Проехав километров 15, мы увидели, стоящую на большой лесной поляне, небольшую деревню, но только подъехав ближе мы заметили, что деревня эта была окружена колючей проволокой, а у ворот, ведущих в деревню, стоял небольшой бункер. При приближении нашего кортежа, из бункера вышла молодая женщина с автоматом в руке. Она кивнула нам и открыла ворота, сделанные в проволочных заграждениях. Сопровождавшие нас всадники повернули в пере-

улок, мы же, проехав немного по главной улице, въехали в обширный двор, среди которого стояла большая хорошая изба, построенная из толстых бревен. О нашем приезде хозяин, очевидно, был предупрежден, так как не успели сани остановиться, как к нам подбежали две здоровые девки и помогли мне выйти. Передав автомат Н., я, в сопровождении одной из них, направился в избу. Большая комната, в которую меня ввели, была уставлена зелеными растениями в кадках, передний угол в ней был сплошь увешан старинными, староверческими иконами, перед ними горели лампадки, на столах лежали старинные церковные книги.

Попросив меня подождать, девица ушла. Я остался один. Сняв фуражку и пояс с пистолетом, я стал смотреть книги, лежавшие на столе.

— Здравствуй, здравствуй, — вдруг услышал я голос за собой.

В комнату совершенно бесшумно вошел Зуев. Это был человек лет 50-55, среднего роста, очень широкий в плечах, крепко стоящий на ногах, обутом в мягкие сапоги. Он был почти лыс и носил огромную бороду и усы рыже-седого цвета закрывавшие его лицо. Его маленькие какого-то неопределенного цвета глаза смотрели на меня из-под густых бровей, притворно-ласково улыбаясь. Поверх рубахи навывпуск, на нем был одет городской черный пиджак, на левой стороне которого были прикреплены два бронзовых ордена на зеленых лентах — «За храбрость» — и один серебряный на полосатой ленте. Ордена были без мечей, такие, как немцы выдавали невоенным. Я первый подошел к Зуеву, поблагодарил его за присланные сани и подал ему руку, которую, Зуев пожал очень крепко, с явным намерением показать свою силу. Я сделал вид, что очень удивлен его силой и крепостью, чем явно доставил ему удовольствие.

— Садись, садись, — сказал он мне, указывая на стул, и первый сел в кресло около стола. — Курить у меня нельзя, — сказал он и замолчал, пристально рассматривая меня. В комнате было очень жарко, я попросил разрешения снять шинель. Он крикнул что-то, в комнату вбежала девица, которая меня встретила. Она быстро и ловко помогла мне раздеться и, взяв шинель, фуражку и пояс с пистолетом, пошла к двери. Зуев выждал, чтобы убедиться, что я не буду возражать, а затем, указывая глазами на кобуру с пистолетом, спросил:

— Не боишься?

Я молча вынул из кармана брюк пистолет, который положил туда, снимая пояс.

— Ага... — протянул Зуев.

Я опять сел и завел разговор о старовегах. В 1941-42 гг. мне часто приходилось иметь с ними дело на северном участке фронта. Некоторые из названных Зуевым имен были мне хорошо знакомы, чему он чрезвычайно обрадовался. Потом я стал говорить о Никоне, которого Зуев ненавидел, как-будто это был его современник. Я обругал Никона, назвав его антихристом. Так мы беседовали до той поры, пока в комнаты не вошла всё та же девица, шепнувшая на этот раз что-то Зуеву на ухо. Последний тотчас же встал, сказав, что пора закусить и повел меня в другую комнату. Но мне хотелось осмотреть более подробно жилище Зуева и увидеть кого-либо из его персонала, поэтому я предупредил хозяина, что мне нужно пройти в уборную и покурить. Зуев тотчас же крикнул какого-то Ваньку или Ваську и на зов его в сени вбежал мальчишка лет пятнадцати, которому Зуев поручил проводить меня. Покури в дворе и тщательно стараясь вызвать на разговор моего спутника, я вернулся. Зуев ждал меня, сидя за хорошо накрытым столом. Обедали мы только вдвоем, прислуживала всё та же девица. За обедом мы выпили довольно много прекрасного самогона. Зуев почти не говорил, я тоже молчал. После обеда хозяин предложил мне отдохнуть, сказав, что он тоже любит поспать часок.

После отдыха мы выпили чаю, продолжая разговор на религиозные темы, а когда стало темнеть, я попросил Зуева отправить меня домой.

— Переночуй у меня, — предложил он вдруг.

Я вежливо отказался, объяснив, что начальство, мол, будет беспокоиться, если я не приеду.

— Пошлю курьера, — коротко сказал Зуев.

Всё же я решил ехать. Провожая меня к саням, Зуев прощально приезжать.

— С тобой можно интересно поговорить, ты не дурак, — сказал он мне, — и о политике проклятой не говоришь, не спрашиваешь ни о чем.

Н. ждал меня у саней и имел очень недовольный вид. Когда мы тронулись, он рассказал, что его посадили в избу, правда, хорошо накормили, но водки не дали и курить не позволи-

ли. При выезде из деревни нас вновь нагнали четыре всадника и на этот раз проводили почти до въезда в Полоцк.

Я много раз после этого бывал у Зуева, но ко мне он ни разу не захотел приезжать, резонно указывая, что ему, при его положении, зазорно ездить в немецкий штаб, хотя бы и в гости. Девицы, встретившие меня в первый раз, оказались его дочерьми, жена Зуева давно умерла, а два сына погибли где-то в кацетах Сибири.

За те три месяца, которые я провел в Полоцке и его окрестностях, я хорошо сошелся с Зуевым. Старик мне понравился. Взгляды его на будущее России были трезвы и здоровы. Он никогда не корил меня за мою, подчас невыносимую, службу и у него я, действительно, мог хорошо отдохнуть, когда это позволяли обстоятельства.

Весной 1944 года одна из моих ран открылась и меня отправили в Ригу, в лазарет. С Зуевым мы расстались очень сердечно.

В апреле 1945 года я, наконец, смог добиться перевода в части РОА и был послан в Хойберг. По приезде я явился в командный отдел Штаба Вооруженных Сил Комитета Освобождения Народов России и через два дня был назначен в разведывательный отдел Штаба. Гуляя как-то по лагерю, я вдруг увидел Зуева. Мы очень обрадовались друг другу. Зуев объяснил мне, что после эвакуации своего района он приехал в Германию, семью устроил где-то в центре, а сам приехал в Штаб ВС КОНР, надеясь получить какое-нибудь назначение. К сожалению, рассказывал он, здесь его никто не знает и он считается просто солдатом. А он хотел получить офицерский чин и форму. Я объяснил ему, что при создавшемся положении, для него было бы выгоднее иметь гражданские бумаги и штатский костюм. Но Зуев продолжал настаивать на своем. Я доложил начальству о пользе, которую мог бы вообще принести Зуев и о его желании быть офицером. Вопрос этот был скоро решен, Зуева произвели в лейтенанты. Через два дня наши части выступили в последний поход.

Мы шли с Зуевым почти всю дорогу вместе и за это время он рассказал мне всю историю своей «республики», как он сам называл местность, которой управлял с лета 1941 года до лета 1944 года. Много я знал уже в Полоцке, но многое было для меня ново. Я знал Зуева еще в тех местах, где развернулась его деятельность и поэтому мне было не трудно понять, что говорит он действительно правду, да и врать или приукраши-

вать действительность было не в его характере. Вот его история.

Вскоре после того, как немцы заняли Полоцк в 1941 году, Зуев был назначен бургомистром своей небольшой деревушки, которая, как и весь округ, была заселена почти исключительно староверами. Незадолго перед тем, Зуев вернулся из тюрьмы, в которой сидел со времени коллективизации уже третий раз, так как был известен, как ярый противник колхозов и как убежденный защитник религии. Среди своих земляков он был известен знанием старинных религиозных книг. Он, действительно, умел читать сразу любой старинный устав и знал пение по крюкам. Два его сына, тоже арестованные органами НКВД, не вернулись в деревню и он только окольными путями узнал, что они были сосланы в Сибирь. О том, что Зуев, как крестьянин, ненавидел советскую власть, говорить нечего. Староверы же имели с ней еще и особые счеты, в силу своих религиозных убеждений.

Деревня, в которой он жил, была расположена в лесной, болотистой местности, в стороне от всяких дорог, и немцы в нее ни разу не заходили. После выбора Зуева бургомистром жителями деревни, он сам ездил в Полоцк оформить свое назначение.

Так мирно и довольно спокойно жили они до конца 1941 года, пока осенью к ним в деревню не явилась группа людей, состоящая из 7-ми вооруженных человек. Группа эта объявила Зуеву, что они партизаны и что деревня обязана их содержать. Среди этих людей Зуев узнал одного жителя Полоцка, который был известен, как энергичный агент НКВД, предавший в свое время немало людей.

Зуев поместил вновь прибывших в одну избу, снабдил их продовольствием, а сам пошел посоветываться с соседями, как быть. На совете они решили убить всех партизан, а оружие их спрятать. Как именно они провели эту первую операцию, Зуев не пожелал рассказывать.

Приобретя оружие, они почувствовали себя бодрей. Скоро в деревню пришла новая группа вооруженных людей и опять потребовала продовольствия. Зуев дал им его, но просил пришедших немедленно уйти. Партизаны, действительно, ушли, но явились на другой день. Зуев вывел свою команду с винтовками и прогнал их. На ночь он предусмотрительно выставил караулы и не пожалел об этом. Партизаны на этот раз явились в большем числе, но, встреченные огнем, ушли.

В это время и в соседних, наиболее глухих и далеких деревнях, начали образовываться небольшие партизанские отря-

ды, состоявшие из остатков истребительных отрядов, «окруженцев» и местных деревенских коммунистов.

Зуев не дремал. Он организовал в своей и двух соседних деревнях отряды самозащиты, придав им военный характер, вооружил домашним оружием, раздав винтовки, отнятые у партизан, лучшим стрелкам. Ночами они выставляли караулы, и, в случае тревоги, быстро собирались у угрожаемого пункта, отбивая нападения. Так продолжалось, по словам Зуева, с осени до конца 1941 года. За это время у них было более 15 стычек с партизанами.

Так бы и отсиживался Зуев в своей деревне, если бы боеприпасы не пришли к концу, что вынудило его в конце 1941 года обратиться за помощью к полоцкому коменданту, который, выслушав Зуева, ответил, что сам он не может разрешить этот вопрос и снесется с начальством, почему и просит Зуева придти к нему еще раз через неделю. Правда, прощаясь, адъютант коменданта дал Зуеву некоторое количество патронов, которые, как выяснил Зуев вернувшись домой, были немецкие и к русским винтовкам вовсе не подходили.

Второе свидание Зуева с немцами состоялось через неделю, когда Зуев был представлен генералу, командовавшему тылом армии («КОРЮК»). Генерал этот, повидимому, был хорошо знаком с русскими делами и знал, что старoverы являются ярыми противниками советской власти и крепко спаяны между собой, поэтому он согласился снабдить Зуева оружием (кроме автоматического), но объяснил при этом, что делает это против принятых правил.

Через несколько дней Зуев получил 50 русских винтовок с достаточным количеством патронов. Одновременно Зуеву было сказано, чтобы ни в коем случае не рассказывал от кого достал оружие и его предупредили, что он не может рассчитывать на защиту немцев из армейского тылового штаба, если СС или СД будут преследовать его за незаконное наличие оружия.

Получив оружие, Зуев приступил к вооружению своих отрядов. Соседние деревни прислали к нему ходяков с просьбой взять и их под свою защиту, Зуев согласился и стал, таким образом, расширять свои владения. В начале 1942 года он предпринял поход в отдаленные деревни, прогнал обосновавшихся там партизан и ввел эти деревни в состав своей «республики». К этому же времени начали появляться и перебежчики, — люди, случайно попавшие к партизанам, — которые просили Зуева

взять их под свое покровительство. К весне 1942 года Зуеву удалось раздобыть четыре русских пулемета (вероятно, он попросту купил их у немцев, хотя и уверял, что добыл в бою) и, таким образом, группа его усилилась и стала представлять собою значительную силу.

Дисциплина в его отрядах была железная. За малые проступки провинившихся сурово наказывали и сажали в погреб на хлеб и на воду; за большие — расстреливали.

Весной 1942 года впервые в его деревню явился отряд полиции под начальством эстонцев. Начальник этого отряда заявил Зуеву, что они ищут партизан и поэтому должны будут некоторое время прожить в его деревне. Зуев ответил эстонскому офицеру, что никаких партизан в этом районе нет, а, следовательно, и полиции здесь делать нечего. Пока дело ограничивалось словами, эстонец настаивал, но как только к дому подошел собственный отряд Зуева и Зуев решительно заявил, что применит силу, в случае, если полиция не уйдет — поразмыслив, полиция подчинилась и ушла.

Немецкий комендант Полоцка, к которому Зуев на другой день явился с рапортом о происшедшем, просил Зуева взять рапорт обратно, обещая, что в случае, если СС, которому подчинялись полицейские отряды, предъявит претензию, то он, комендант, постарается дело уладить. Официально же он не должен ничего знать. Комендант всё больше начинал ценить Зуева, тем более, что последний регулярно снабжал Полоцк дровами, сеном, молоком, а иногда и дичью, а в районе, которым управлял Зуев, царило полное спокойствие и никаких хлопот он немцам не доставлял.

В это же время Зуев познакомился с профессором П., прекрасно владевшим немецким языком и согласившимся быть представителем Зуева в Полоцке. Профессор помогал Зуеву советами, объяснял ему обстановку и информировал его о событиях.

В начале лета 1942 года произошло событие резко изменившее отношение Зуева к немцам. Старый комендант со всей своей комендатурой был отозван из Полоцка получив новое назначение. Уезжая, он вызвал Зуева к себе, сказав, что уезжает, что генерал, который знал Зуева, уже давно уехал, а нового своего заместителя он совсем не знает и, подарив Зуеву на прощание снайперовскую винтовку, предупредил, чтобы он вел себя осторожно, ибо «у нас всякие бывают».

Вскоре в Полоцк прибыл новый комендант. Реформы, вво-

димые им, были решительны: он потребовал к себе всех бургомистров района, потребовал от них списки скота, засеянных полей и т. п. и заявил, что сдачу всего, подлежащего реквизиции, он будет требовать самым строгим образом, за укрывательство партизан и бежавших пленных будет расстреливать и жечь провинившиеся деревни и прочее, и прочее. Одним словом, это был немецкий офицер новой формации, впервые попавший в Россию. Надо сказать, что обычно, прожив в русской области одну зиму, такие офицеры быстро научались понимать обстановку и становились более «толковыми».

С вестования у нового коменданта Зуев вернулся в большом раздумье. Было ясно, что сговориться с ним будет трудно. О существовании отряда в его деревне, Зуев коменданту ничего не сообщил, но сказал, что имеет несколько винтовок для поддержания порядка.

Прошло некоторое время — комендант потребовал от Зуева доставки некоторого количества скота. Зуев скот доставил. После уборки хлеба, Зуев аккуратно сдал требуемое по разверстке количества зерна. Тогда комендант, увидевши с какой легкостью исполняются Зуевым его требования в то время, как другие районы делают это с большой натяжкой — решил, что Зуев скрыл имеющиеся в его распоряжении ресурсы и что с него можно содрать гораздо больше. Такое мнение у немцев обычно складывалось о всех крестьянах, хорошо выполнявших возложенные на них задания. И вот, в один из дней августа Зуеву доложили, что к его деревне движется немецкий отряд, сопровождаемый большим количеством пустых подвод. Зуев догадался о цели визита и немедленно собрал часть своего отряда (человек 100), выставив пулеметы. Людей он спрятал в лесу, метрах в ста от деревни, а сам со связными пошел на встречу приближающимся «гостям».

Офицер, командовавший отрядом немцев, грубо, через переводчика, приказал Зуеву немедленно сдать все имеющиеся у него запасы хлеба, картофеля, скота и т. п., пригрозив, в случае неповиновения, сжечь деревню, а жителей забрать на принудительные работы. Зуев с достоинством возразил, что всё требуемое он уже сдал, на что имеет расписки комендатуры. Немец ничего не хотел слушать. Не обращая больше на Зуева никакого внимания, он отдал приказ своим солдатам окружить деревню. Тогда Зуев подал условный знак, по которому весь его отряд вышел из леса, а пулеметы выкатили на открытые позиции так, чтобы немцы ясно могли их видеть. Офицер ра-

стерялся. Разговор с Зуевым принял иной характер. Офицер заявил, что не может не верить Зуеву и что, может быть, произошла ошибка, которую он должен будет выяснить. Затем он ушел с своим отрядом.

Зуев провел несколько очень тревожных дней, раздумывая над тем, что он будет делать, если немцы придут с большими силами. К партизанам он идти не хотел, ибо не хотел поддерживать Сталина, но и подчиниться немцам ему тоже не хотелось. Пока он думал, в один прекрасный день к нему явился из комендатуры зондер-фюрер, в сопровождении конвоя, состоявшего приблизительно из десяти человек, которых он благоразумно оставил в 500 мтр. от деревни. Зондер-фюрер приехал для переговоров. От имени коменданта он предложил такие условия: Зуев обязывался аккуратно выполнять все причитающиеся с него поставки, следить за исправностью дорог, не допускать в свой район партизан и отправлять в комендатуру всех задержанных им лиц, будь то партизаны или бежавшие пленные. Кроме того, в случае появления в районе крупных партизанских соединений, с которыми Зуев не мог справиться собственными силами, он должен был немедленно сообщать об этом в Полоцк. Взамен комендант обещал не посылать к нему своих отрядов и не трогать его.

Зуев согласился на все эти условия, ничем не обнаружив своей радости по поводу столь удачно закончившегося конфликта, а на другой день сам поехал к коменданту, взяв с собой профессора П. В результате этих переговоров Зуев получил обещание коменданта снабжать его, в случае нужды, необходимыми боеприпасами.

Столь быстрое смирение коменданта объяснялось, конечно, не какими-нибудь особыми симпатиями его к Зуеву, а появлением в районе деятельности коменданта всё большего и большего числа партизанских отрядов и необыкновенными трудностями борьбы с ними. Не говоря уже о Белоруссии, где к осени 1942 года партизанское движение приняло большие размеры, все леса вокруг Полоцка, Витебска, Рудни, Опочки и др. служили базами партизанских отрядов.

Так прошла осень 1942 года и наступила зима.

Однажды, в декабре, к Зуеву привели трех человек, захваченных его людьми в лесу и объявивших, что они шли к Зуеву с важным сообщением. Люди эти рассказали Зуеву, что пришли из одного крупного партизанского отряда (какого именно, они сказать не пожелали) и будут с ним разговари-

вать от имени Москвы. Они предупредили, что в случае, если Зуев вздумает задержать их, они будут отомщены. Зуев обещал никаких мер против них не предпринимать. Тогда посланцы стали упрекать Зуева в том, что он помогает немцам, не снабжает партизан и не укрывает их. На возражение Зуева, что партизаны грабят население, пришедшие разъяснили, что так было только в начале войны, а теперь партизаны дисциплинированы и являются настоящими солдатами, действующими в тылу врага и получающими всё необходимое самолетами с «Большой Земли».

Зуев задумался: ссориться открыто с партизанами он не хотел, но и пускать их к себе совершенно не входило в его планы. Поэтому он стал убеждать своих собеседников, что не желает победы немцев, что он — русский патриот и т. д. На этот раз переговоры ничем не закончились и парламентареры, после сытного ужина, ушли.

В течение следующих месяцев представители партизан приходили еще несколько раз с такими же настойчивыми предложениями. Всякий раз Зуев тянул переговоры, ведя очень хитрую и осторожную игру, а иногда и снабжал небольшие партизанские отряды едой. С немцами у Зуева установились прочные отношения: обе стороны условий не нарушали и единственное, чего Зуев не выполнял — это не посылал в Полоцк пленных и никого немцам не выдавал. Да, впрочем, пленных у него и не было, так как в это время партизаны оставили его в покое.

Летом 1943 г. Зуева вызвали в комендатуру и сообщили о знаменитом приказе о насильственной вербовке рабочих в Германию. Зуеву, конечно, приказ не понравился и он не имел намерения выполнять его, поэтому в списки, которые он представил, им были внесены только те лица, которые отправке по той или иной причине не подлежали, либо те, которых он представил, как «полицаев», освобождаемых немцами от работ в Германии. Остальных он обещал присылать постепенно, в порядке очереди, после уборки урожая, для которых ему была нужна рабочая сила. Дело это постепенно заглохло. Зуеву удалось сдать только несколько десятков человек, от которых он и сам хотел отделаться. Таким образом, он сохранил свое население и не дал ему повода уйти к партизанам. Надо сказать, что приказ этот о насильственном вывозе в Германию, в самое короткое время, удесятирил силы партизан в других местах.

Прошло лето 1943 года. Перед Зуевым, как и перед большинством русских, в какой-то степени связанных с немцами, всё чаще и чаще вставал роковой вопрос: что будет дальше? правильно ли они делают, продолжая свою связь с немцами? Всем становилось ясно, что если немцы сейчас же не изменят коренным образом свою политику в оккупированных областях СССР, они войну проиграют, а власть Сталина укрепитя и все жертвы, принесенные во имя борьбы с коммунизмом, окажутся напрасными.

Фронт трещал... Весной 1944 года немцы вызвали Зуева и профессора П. в Полоцк. Приняли их торжественно. Для начала Зуеву, любившему орден и всякие знаки отличия, вручили «Серебряный орден за храбрость и добрую службу». Три бронзовых ордена «За храбрость и заслуги» он получил ранее. Затем комендант предложил ему взять под начальство огромный район, прилегавший к его округу, обещал снабдить его оружием, вплоть до легкой артиллерии, боеприпасами и выдать его людям полное немецкое обмундирование с русскими погонами. Зуев попросил несколько дней на размышление, но, посоветовавшись с профессором, от немецкого предложения отказался.

Летом 1944 года Зуев стал усиленно готовиться к уходу: заготовил повозки, лошадей, продовольствие. Он составил также списки всех, желавших уходить и выделил людей, которые должны были остаться и при первой возможности — возобновить борьбу с советской властью. По ночам он закапывал в лесах оружие и боеприпасы.

Наконец, советские войска подошли к Полоцку, и тогда Зуев выступил со всем своим обозом. Все плакали, покидая родные места. На подводе Зуева везли священные старинные церковные книги. Через несколько часов их догнал комендант г. Полоцка, уходивший со всей своей комендатурой. Уйдя из окруженного Полоцка, они решили пробиваться к Зуеву, рассчитывая вместе с ним, знающим каждую тропинку в этих лесах, выйти из окружения. После почти месячного похода, Зуев вывел всех сначала в Польшу, а затем в Восточную Пруссию.

Вместе с Зуевым ушло около тысячи человек гражданско-го населения. В дороге у них было несколько стычек с партизанскими отрядами, но они пробились. Пробыв некоторое время в Германии, где его группа рассосалась и кое-как устроилась, Зуев отправился к Власову и, в конце концов, попал в

Хойберг, где формировались 2-я и 3-ья дивизии и где я его снова встретил.

Перед самым концом войны я спросил Зуева, что он думает делать после войны. Он удивленно на меня посмотрел.

— Как что? В Россию вернусь, к себе!

— Так тебя же там повесят на первом суку.

Зуев усмехнулся:

— Для этого надо будет им сначала меня найти, а потом взять живым. Пойдем со мной, лейтенант, — сказал он, — без России нам всё равно не прожить, а у себя умирать легче.

В. Поздняков и Д. Каров

ПИСЬМА МАКСИМА ГОРЬКОГО

К В. Ф. ХОДАСЕВИЧУ

(1922-1925)

В книге своих воспоминаний, «Некрополь», вышедшей в Париже в 1938 году, В. Ф. Ходасевич поместил статью о Горьком, которого близко знал в годы 1920-25. Из писем Горького в ней Ходасевичем было дано несколько небольших цитат. В 1939 году, за несколько недель до своей смерти, В. Ф. Ходасевич написал комментарии к этим письмам, подготовив их к печати. Они были приняты редактором «Современных Записок», В. В. Рудневым, для опубликования в этом журнале. Книга «С. З.» должна была выйти летом 1940 года. Однако, журнал принужден был прекратить свое существование, т. к. Франция оказалась под немецкой оккупацией. Подлинники писем М. Горького к В. Ходасевичу находятся в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Мы печатаем их по сверенному с оригиналом тексту, переданному нам Н. Н. Берберовой. РЕД.

I

[3 июля 1922. Герингсдорф¹].

Дорогой Владислав Фелицианович!

Если это удобно для Вас — приезжайте в Четверг ибо завтра у меня занят день, в Среду — тоже, будет Гржебин².

Очень рад буду видеть Вас и рад что Вы, наконец, отдохнете.

Сейчас у меня В. Шкловский³.

До свидания со мною — подождите принимать предложения «Накануне»⁴.

Крепко жму руку. Спасибо за письма⁵.

Вам послана посылка «Ара», если Вы не успели получить ее, пошлите доверенность на имя Валентины Мих.⁶, — посылка адресована на «Дом Ученых».

3.VII.22.

А. Пешков.

¹ 30 июня 1922 г. я приехал в Берлин из сов. России. Это письмо — ответ на мое извещение о приезде. Горький в то время жил в приморском местечке.

² Гржебин, Зиновий Исаевич, — известный издатель.

³ Шкловский, Виктор Борисович, писатель, за несколько месяцев до того бежавший из Петербурга, где должен был быть аресто-

ван по делу партии социалистов-революционеров. Осенью 1923 г. он выхлопотал себе амнистию и вернулся в сов. Россию.

⁴ Сменеховская газета, издававшаяся в Берлине. Предполагая, что А. Н. Толстой, заведывавший ее литературным отделом, предложит мне в ней участвовать, Горький старался предупредить события, так как относился к «Накануне» весьма отрицательно.

⁵ Перед моим отъездом из Петербурга несколько общих друзей поручили мне отвезти ему письма, которых нельзя было переслать по почте: корреспонденция на имя Горького тщательно перлюстрировалась по распоряжению Зиновьева.

⁶ В. М. Ходасевич, моя племянница, художница, жившая в Петербурге. Была в дружеских отношениях с Горьким и его семьей. (Срв. «Некрополь», стр. 228-229, 231, 243).

II

[16 февраля 1923. Saarow¹].

Дорогой Владислав Фелицианович!

Шкловский пишет:

«Через «Эпоху» и по Максиму увидел, что в Саарове меня хотят высечь». «В истории с Рафаловичем я, конечно, не прав».

«Причина скандала следующая: у меня t⁰ была 82,61 — № одного телефона». «Одним словом — я влюблен, очень в любви несчастен». И — т. д.

Всё это меня ни мало не утешает и не изменяет моего отношения к скандалу. Шкловский думает:

«что журналу вся эта история не помешает»².

Прислал три очерка. Первые два — мне решительно не нравятся, но «Холод» я очень прошу Вас прочитать. Мне нужно знать Ваше мнение к воскресенью. «Холод», разумеется, требует серьезнейших поправок и, кое где, сокращений.

Сердечный привет.

16.П.23.

А. Пешков.

¹ С осени 1922 г. мы с Горьким жили в двух часах езды от Берлина, в городке Саарове, недалеко друг от друга. Письмо прислано с нарочным.

² До 1922 г. в сов. России существовала только военная цензура. В 1922 г. была введена общая, крайне придирчивая. Частные издательства и журналы закрылись. Пришла идея издавать в Берлине такой журнал, в котором писатели, живущие в сов. России, могли бы

через голову цензуры и казенных редакций печатать произведения, не содержащие прямых выпадов против власти, но всё же написанные свободно. Теперь такая мысль показалась бы дикостью. В то время она была более или менее осуществима. Марина Цветаева и М. О. Гершензон, жившие в Москве, печатались в «Современных Записках», а целый ряд петербургских поэтов — в журнале «Сполохи», издававшемся в Берлине.

Задуманный журнал, по моему предложению названный «Беседою», согласилось выпускать издательство «Эпоха», принадлежавшее Д. Ю. Далину и С. Г. Сумскому. Литературную редакцию составили Горький, я и Андрей Белый (последний — лишь номинально). Было уже приступлено к составлению первого номера, когда разыгрался «скандал», о котором идет речь в письме Горького. 12 февраля, в берлинском Клубе Писателей состоялся доклад поэта С. Л. Рафаловича, приглашенного нами в «Беседу». Шкловский возражал докладчику в совершенно недопустимой форме. Горький был этим крайне раздражен, о чем до сведения Шкловского было доведено через С. Г. Каплуна-Сумского и через сына Горького. Шкловский прислал свои извинения и объяснения, которые Горький и цитирует в приведенном письме.

III

[Без даты. Получено 13 июня 1923. Güntersthall¹].

Дорогой Владислав Фелицианович,
к сожалению я не могу исполнить Ваше желание, ибо мною уже послано в Це и Пекубу заявление об отказе моем от звания председателя Пекубу².

Посылаю корректуру статьи Лунца³ присланную мне, по обыкновению, без оригинала и потому не правленную мною.

Рад, что Вы получили книги по Пушкину, но — недоумеваю: почему мало?⁴

Живу весьма не дурно «в десяти минутах ходьбы на лошади» от Фрейбурга, — ходьба на лошади это, разумеется, из лексикона М. И.⁵, — в широкой, очень веселой и зеленой долине.

Ехали мы сюда 22 часа вместо шестнадцати, объезжая французов, которые где-то близко. А в Берлине, на вокзале, при посадке в вагон, немцы потребовали с меня и М. И. свидетельства о бракосочетании; такового у нас не оказалось и благочестивые немцы развели нас по разным купэ.

Жизнью нашей мы довольны, но немцы присутствием нашим видимо не довольны, — отобрали у нас паспорта и вот уже целую неделю всесторонне изучают их.

Немцы здесь такие-же как в Saarow'e, но некоторые из них носят бородки и многие играют на мандолинах. Фрейбург — очень интересен, такой чистенький, уютный и много старинных улиц, зданий. В общем — хорошо, но, кажется, нас выгонят отсюда.

Буду огорчен, не увидав Лунца. Ценский пишет, что послал рассказ для «Беседы». Ехать в Берлин он не решается. Шмелев и Уманский, — переводчик, из Вены — запугали его низкими гонорарами и дороговизной жизни. Написал ему, чтоб он всё-таки ехал.

Скоро в Берлин придет Сильверсван⁶, это будет весьма полезно для «Беседы» — не правда-ли?

Нине Берберовой сердечный мой привет. Она очень громко смеялась бы здесь над английскими леди всех возрастов, их тут масса и все смешные.

Крепко жму руку. А. Пешков.

Дату не ставлю, всё равно на Вас не угодишь. Да и как можно знать число, если нет газет?⁷

¹ В начале июня Горький уехал из Саарова в Гюнтерсталь, под Фрейбургом. Официальной причиной была его болезнь. В действительности, ему стали в тягость придирки и затруднения, непрерывно чинимые сааровской полицией. Намеки на это обстоятельство имеются как в данном письме, так и в следующих.

² Це и Пекубу — Центральная и Петербургская комиссии по улучшению быта ученых, созданные по инициативе Горького. В Пекубу он состоял председателем. Вся эта фраза — ответ на мою просьбу посодействовать одному лицу, жившему в Петербурге.

³ Лев Лунц — молодой писатель, один из учредителей кружка «Серрапионовых Братьев». Лунц приехал в Германию тяжело больной и после краткого пребывания в Берлине уехал к родителям в Гамбург, где и скончался летом 1924 года. Две его пьесы («Вне закона» и «Город Правды») напечатаны в «Беседе».

⁴ Речь идет о книгах, которые Горький выписал для меня из сов. России.

⁵ Баронесса Мария Игнатьевна Будберг, урожд. гр. Закревская, по первому мужу Бенкендорф, приятельница и секретарша Горького. По-английски и по-немецки она изъяснялась свободнее, чем по-русски, и неправильности ее речи служили предметом постоянных шуток в доме Горького. О ней см. также «Некрополь», 231, 243, 258-259.

⁶ Литератор, сотрудник «Всемирной Литературы». Покинул сов. Россию в 1921 г. и жил в Финляндии.

⁷ Горький постоянно путал даты и дни недели.

IV

[21 июня 1923. Güntersthal].

Дорогой Владислав Фелицианович,
на мой взгляд повесть Никитина¹ — вещь совершенно неудачная и для «Б[еседы]» — не годится. Многословно, бес-толково, дрябло. Мяса и крови в ней — на лист, на полтора. Так я и написал Никитину, но, м. б. Вы проверите мое мнение? Я бы очень просил Вас об этом. Рукопись посылаю вместе с этим письмом.

Оказывается, поэт Палей — жив и я имел некоторое право вводить в заблуждение граф. (sic) Палей. Посылаю Вам только что полученные мною стихи одного поэта, кажется, они плохи².

Ваше стихотворение очень понравилось мне. Лунц, вероятно, приедет во Фрейбург, ему уже найдена комната. Очень хочется видеть его и послушать рассказы о Питере. Что делать? Писать об этом? А — какой смысл? Боюсь, что этим только отягчишь положение молодежи.

Рукописи по почте приходят, надо адресовать на «Книгу» или на Внешторг, Роману Петровичу Аврамову, для меня.

А я снова захворал — бронхит. Очень скучно. Трудно не хворать, — идет дождь, солнечных дней за всё время было два! Захворал — хорошо, едва сижу, пишу через силу. Привет Вам и Н. Н.³

21.VI.23. Güntersthal. Kyburg.

А. Пешков.

¹ Н. Н. Никитин — советский писатель, член кружка «Серапниновых Братьев». Речь идет о его повести «Полет», непринятой для «Беседы», но впоследствии напечатанной в сов. России.

² История с кн. Палей подробно освещена мною в «Некрополе» (стр. 264-266). Однажды, еще в Петербурге, в начале советской эпохи, Горький вызвал к себе кн. Палей, вдову вел. кн. Павла Александровича, и объявил ей, что ее сын, молодой поэт кн. Палей, не расстрелян, а жив и скрывается в Екатеринославе, откуда только что прислал письмо и стихи. Кн. Палей поверила Горькому, но просила показать ей рукописи. Горький ответил, что куда-то их «засунул» и не может найти. Затем она убедилась, что ее сын всё же убит. Таким образом, Горький заставил ее пережить это известие два раза. Всё это он сам рассказывал мне в начале 1923 г. Я не скрыл от него, что вся история мне не нравится. Он, видимо, не рад был, что завел со мной этот разговор.

Получив только что приведенное письмо Горького и наведя

некоторые справки, я понял, что и тогда, в Петербурге, и теперь во Фрейбурге, Горький получил письмо и стихи от пролетарского поэта Палея, рабочего. Ни по содержанию, ни по форме, ни по орфографии, ни даже по почерку стихи этого Палея нельзя было принять за стихи великокняжеского сына. Писем Палея я не видал, но несомненно, что они еще менее могли дать повод к добросовестному заблуждению. Совершенно ясно, что Горький нарочно ввел в заблуждение не только кн. Палей, но и себя самого, потому что ему пришла в голову идея разыграть комедию утешительного обмана. Его слова о том, что он будто бы «имел некоторое право вводить в заблуждение» княгиню Палей, — не что иное, как беспомощная попытка сбить меня с толку, чтобы оправдаться в моих глазах.

³ Н. Н. — Нина Николаевна Берберова.

V

[Без даты. Получено 28 июня 1923. Güntersthal].

Дорогой Владислав Фелицианович, надеюсь, Вы получили 3 выпуска «Материалов»?¹ Присланы и все остальные, большой пакет, весом ф. 20-25, — нужно ли переслать Вам его немедленно или можно привезти с собою? Где Вы? Я ничего не понимаю. Максим² не пишет, должно быть — паралич правой руки, а спросить М. И. — не решаюсь, она, под влиянием мокрой и холодной погоды, освидрела до полной неприступности. И когда я прошу ее о чем-нибудь, она, зверски выкатывая глаза свои, говорит мне с усмешкой садистки: «Спойте Боже царя храни, — скажу!» Приходится петь. А петь мне трудно, ибо у меня снова бронхит, дьявольский кашель, одышка и уныние в сердце (sic).

Вчера был здесь полусолнечный и даже довольно теплый день, так что некоторые мухи воскресли и всем людям было, видимо, очень приятно, а сегодня, с утра, снова садит дождь и, говорят, будет сыпаться непрерывно одиннадцать дней.

Пильняк и Никитин³ успели в Лондоне проникнуть в «П.Е.Н. клуб» (sic), — интернациональное, но аполитическое объединение литераторов, где председателем Д. Голсуорти, а членами состоят самые разнообразные люди: Р. Роллан и Мережковский, С. Лагерлеф и Гауптман и т. д. Наши бойкие парни чего-то наболтали там и я, — тоже член этого клуба, — уже получил запрос от Правления: считаю ли возможной аполитическую организацию русских литераторов, живущих в России и рассеянных за границей?

Ответил — отрицательно, указав на «Леф»⁴ и его отно-

шение к литераторам с одной стороны, к власти — с другой. Указал также, что одни из нас приемлют Соввласть, другие же нетерпеливо ждут гибели оной, чем и кормятся, но не согласны и не сойдутся с третьими, которые ожидают помощи Керзона, Пуанкарэ, чумы и проказы. Но, — кроме сего существует Соввласть, коя не может допустить а политической организации в Москве, ибо не признает бытия людей не зараженных политикой с колыбели.

Было бы очень важно знать: чего именно напильничали наши в Лондоне? Не поговорите ли Вы на эту тему с Никитиным?

Передайте мой сердитый привет Н. Н. Берберовой, которая ни одного раза за все три месяца сердечной разлуки нашей не написала мне.

Будьте здоровы. А. Пешков.

Газет сегодня не получил и потому «число дня» не известно мне.

¹ См. 4-е примечание к III письму. «Материалами» Горький называет издание «Пушкин и его современники».

² Максим — сын Горького от первого брака. После отъезда Горького во Фрейбург Максим еще некоторое время оставался в Берлине.

³ Б. Пильняк и Н. Никитин — в ту пору совершали совместную поездку по Европе.

⁴ Журнал, издававшийся Маяковским и его друзьями в 1923-1924 г. г. Горький весьма отрицательно относился к личности Маяковского и отказался принять его, когда тот приезжал в Германию осенью 1922 г.

VI

[4 июля 1923. Güntersthal].

Дорогой Владислав Фелицианович,

англичане спрашивают о возможности объединения русских писателей потому что Р. Е. N. клуб имеет целью своей защиту авторских прав в странах не связанных с Англией литературной конвенцией. Я не знаю, осуществляется ли практически эта защита и как осуществляется? Но я знаю, что в России переводят и издают английских книг значительно больше, чем в Англии — русских. Отсюда и возникает интерес англичан к защите прав русских авторов и отсюда же ясно, что «сие надо понять в противном смысле».

Никитин написал мне, что отзыв мой о его «Полёте» «голая, сплошная ругань»; я считаю это преувеличением. Еще раз написал ему что «Полет» — самое (sic) плохое из всего, сочиненного им.

Представьте: здесь, кажется, установилась хорошая погода, вот уже второй день нет дождя и по-немецки честно действует солнце. Это весьма хорошо действует на мои легкие.

Познакомился с американским профессором Гэйлордом, очень интересный человек, специалист по саркоме и сам умирает от нее. Жить ему осталось — год срока, а он — веселый, рассказывает забавные анекдоты и прелюбопытно говорит об американцах, которые, после войны, европеизируются по всем линиям. Слушаю его и вспоминаю грустную русскую частушку:

Как в Америке, к примеру,
Ни в чего не верують, —
Молоко у них не доють,
А в жестянках делают...

В этом слышится вздох зависти.

Из России пишут не хорошо, очень. Какая то слякоть там, усталость, уныние. Даже и простого, кожного раздражения не чувствуешь в письмах.

Как «Беседа»? Печатается?

«Николая Курбова» читал, потом «Трест» и «13 трубок»¹. Всё это очень далеко от литературы. Мне кажется, что Эренбург был-бы не плохим фельетонистом. «Дух земли» — его подлинный дух.

Не желаю я, чтоб Троцкий висел на моих кишках, что Вы! Эдакий мрачный человек!²

А — еще раз! — хороший писатель С.-Ценский!

Будьте здоровы, дорогой В. Ф.

Всего доброго.

А. Пешков.

4.VII.23. Книги для Вас Ек. Павл. отвезла в Берлин, они — в «Книге» у Крючкова. Смотрите, не продали бы их там!³

¹ Книги Ильи Эренбурга.

² Это — ответ на мое письмо, в котором я, между прочим, писал, что придет время, когда в сов. России начнется уничтожение старых большевиков и старых революционных писателей. «Последнего коммуниста удавят на кишках последнего писателя, например,

— Троицкого на Ваших кишках», писал я. (Цитирую, разумеется, по памяти).

³ Екатерина Павловна — Пешкова, первая жена Горького. Крючков Петр Петрович, впоследствии расстрелянный по обвинению в убийстве Горького и его сына. В ту пору Крючков заведывал берлинским советским предприятием «Международная Книга». Будучи близок к М. Ф. Андреевой, второй жене Горького, жившей тоже в Берлине, он постепенно прибирал к рукам управление литературными и денежными делами Горького. Отсюда возникало его соперничество с Максимом, ясно обозначившееся уже тогда. Поскольку обвинения, впоследствии предъявленные к Крючкову, мотивировались этим соперничеством и желанием получить в свои руки распоряжение литературным наследством Горького, — эти обвинения представляются мне вполне правдоподобными.

VII

[23 июля 1923. Güntersthall].

Дорогой Владислав Фелицианович, рукопись Сергеева-Ценского еще не получена, но мы ее получим во-время, к 3-у №-у, как это явствует из письма автора. Алексеев обещал дать статью о новостях востоковедения, пришлет ее из Парижа или Лондона. С. Ф. Ольденбург хочет поделиться с нами впечатлениями его о Европе. Много — кроме своей статьи — обещает к 3-у Ф. А. Браун. Фрейбургский профессор, юрист и социолог Канторович предлагает характеристику современного положения немецкой литературы — Томас Манн — Гауптман — Стефан Георге — Верфель. Пишу Стефану Цвейгу и Бернарду Шоу, который, оказывается, не получил моего письма, как это утверждает его знакомая и землячка О'Гара¹.

А по вопросу о даче — ничего не знаю. Максим не пишет о результатах поисков своих, а Крючков крючковато шутит: «С дачами — не у дачи»². Так шутил А. Чехонте в первой половине 80-х годов XIX столетия, а я — в 23-м XX-го.

Ох, надоело мне это столетие, и так хочется скорее пережить его! Ибо я уверен, что в 21-м люди устанут делать глупости, а Пуанкарэ — умрет около 1973 года.

«Шутки облегчают жизнь», говорил Гиерон, тиран Сиракузский, отравив кого-то, но — отсюда пора уезжать, а — куда? Вот Вам и шутки! Если Вы видите Максима, уговорите его написать — в чем дело? Где дача?

Берберовой — сердечный привет. Екат. Пав. находит, что фамилию Берберова удобнее писать латинским алфавитом, так и пишет. Мне хочется заказать латинским алфавитом вывеску:

«Черт щук в кучу скучит, да скуке и учит» и повесить ее над входом в отель Кибург, ибо здесь началось ежевечернее немецкое веселье под грамофон.

Написал англичанам статью о преодолении действительности посредством «выдумок», т. е. воображения.

Написал штук 10 «Заметок».

Будьте здоровы!

А. Пешков.

23.VIII³.23.

¹ Уже ранее этого времени начало обнаруживаться, что писатели, живущие в сов. России, не решаются сотрудничать в «Беседе». Некоторые рукописи, посланные оттуда, пропали на почте. Все труднее становилось рассчитывать на материал, присылаемый из России, но Горький не хотел в этом признаться ни мне, ни себе. В частности, рукопись Ценского, о которой идет речь в начале этого письма, никогда не была получена. Поскольку всё же надо было добывать материал для журнала, Горький всё более начинал мечтать об участии иностранных авторов, вроде Ст. Цвейга, Шоу, Уэллса и т. д. Однако, и они, по тем или иным соображениям, от сотрудничества в «Беседе» воздерживались. Ни один из них не прислал ничего. Я догадывался, что все расчеты Горького на этих авторов относятся к области «преодоления действительности посредством выдумок».

² Осенью Горький предполагал вернуться куда-нибудь под Берлин. Максим подыскивал для этой цели зимнюю дачу, но из этого ничего не вышло. Как будет видно из дальнейшего, Горький на осень остался в Гюнтерстале, куда переехал к нему и Максим с женой.

³ Письмо датировано с ошибкой. Вместо «VIII» надо читать «VII».

(Продолжение следует)

РОССИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО И В. М. ЧЕРНОВ В 1917 ГОДУ

15 апреля с. г. в Нью Йорке скончался Виктор Михайлович Чернов, в течение многих лет стоявший во главе одной из крупных социалистических партий России и игравший видную роль в русском революционном движении. Ниже мы помещаем главу из воспоминаний И. Г. Церетели, личного друга В. М. и его товарища по работе во Временном Правительстве. Эта глава является частью большого труда И. Г. Церетели о революции 1917 года, над которым он в настоящее время работает. РЕД.

В эпоху февральской революции вопрос о коренной аграрной реформе и о переходных мерах для урегулирования землепользования в ожидании созыва Учредительного Собрания держал в тревоге стомиллионное крестьянство в России.

Крестьянство приняло участие в перевороте и в создании революционно-демократических организаций прежде всего в лице армии. Но пробужденная революцией сельская Россия вскоре тоже подняла свой голос.

Первые же манифестации воли крестьянства — в Советах ли Рабочих и Солдатских Депутатов, на крестьянских съездах, или в местных крестьянских организациях, покрывших своей сетью всю сельскую Россию — выдвигали вопрос о земле, как центральный, основной вопрос, вокруг которого сосредоточивались интересы и чаяния всего трудящегося сельского населения.

Самой характерной чертой крестьянской психологии в эпоху февральской революции было различие в отношении крестьян к вопросам общего управления страной, с одной стороны, и к вопросу о земле — с другой.

Когда речь шла о поддержании авторитета власти или об укреплении фронта, крестьяне проявляли очень большую приверженность к порядку и решительную враждебность к лозунгам крайних левых партий. Проявления таких настроений

в среде большинства крестьян были настолько внушительны, что Ленин не раз публично рекомендовал своей партии не возлагать надежд на крестьянские организации, а «перенести центр тяжести на Советы Батрацких Депутатов», которых, на самом деле, большевикам так и не удалось создать за всё время февральской революции.

Но в вопросе о земле крестьянство было настроено очень радикально. Первые стихийные проявления воли крестьянства в этом вопросе выражались в требовании немедленной и непосредственной передачи помещичьей земли трудящимся. В этом смысле высказывались многие, взятые прямо от сохи делегаты первого Крестьянского Съезда в Петрограде. Такие же требования раздавались на провинциальных съездах и в местных крестьянских комитетах. Кто мог организовать передачу земли крестьянам, правительство ли или центральные демократические органы, этого темная крестьянская масса не знала. Она только выражала желание, чтобы эта реформа была осуществлена немедленно.

В виду этого, первой задачей представителей революционной демократии явилось внесение в среду крестьянских делегатов и в самую крестьянскую массу сознания, что переход земли к крестьянам должен был совершиться организованным путем, после необходимой подготовительной работы, через Учредительное Собрание, которое одно могло дать гарантию справедливого разрешения этого вопроса и прочного закрепления за трудящимися права на землю.

Эта идея, поддержанная крестьянской интеллигенцией, нашла благоприятную почву в коллективном правосознании крестьян, в их стремлении закрепить землю за трудящимися в «законном порядке». Всероссийский Крестьянский Съезд в Петрограде, также как провинциальные съезды и большинство местных крестьянских организаций приняли постановления о необходимости предоставить окончательное решение вопроса о земле всенародному Учредительному Собранию, и широко популяризировали это решение в массах. Это создавало в среде большинства крестьян настроение, позволявшее демократическим организациям вести борьбу против проявлявшейся в среде крестьян бунтарской стихии, которую всячески старались использовать большевики и левые с. р.

Но если крестьянство, в своем большинстве, помогало демократическим организациям предотвращать анархические выступления или локализовать их там, где они всё же со-

вершались, это не означало того, что крестьянство обнаруживало готовность оставить в деревне, до Учредительного Собрания, условия землепользования в том виде, как они существовали до революции.

Сохранение дореволюционных порядков было в деревне еще большей невозможностью, чем сохранение старых порядков в армии или в промышленной жизни.

Крестьянство требовало не только реформ, направленных к улучшению материального и правового положения крестьян-арендаторов или малоземельных крестьян, но и срочного проведения в жизнь мероприятий, направленных к предотвращению расхищения земельного фонда в ожидании предстоящей коренной земельной реформы. Случаи отказа помещиков от засева полей и перехода их к хищнической эксплуатации лесов и угодий, распродажи земли по частям в руки фиктивных покупателей с расчетом на то, что мелкие земельные участки не будут подлежать отчуждению, волновали крестьян и вызывали выступления крестьянских организаций и групп, стремившихся положить конец таким действиям.

На этой почве начались первые столкновения крестьян с помещиками, и было ясно, что для предотвращения общей анархии в деревне, новый строй должен был выработать систему переходных мероприятий, дававших удовлетворение крестьянскому правосознанию, обеспечивавших обработку всей наличной посевной площади и создававших гарантию против обесценения или расхищения земельного фонда до осуществления коренной аграрной реформы.

Считаясь с настоятельной потребностью в переходных мероприятиях, Временное Правительство первого состава законом, принятым 21-го апреля, т. е. накануне своей отставки, создало государственные органы, которым предстояло, в ходе февральской революции, сыграть очень значительную, хотя и непредвиденную авторами этого закона, роль: это были земельные комитеты.

Мысль о создании земельных комитетов, облеченных правами и полномочиями, необходимыми для замены старых норм землепользования новыми, исходила из близких к крестьянству народнических кругов. Эту мысль впервые формулировал, в конце марта, будущий министр продовольствия коалиционного правительства А. В. Пешехонов в органе соц.-революционеров «Дело Народа».

Закон 21-го апреля создал четырехстепенную систему

земельных учреждений, во главе которых стоял Главный Земельный Комитет, а затем следовали в нисходящем порядке губернские, уездные и волостные земельные комитеты.

Закон 21-го апреля возложил на земельные комитеты двойную задачу: с одной стороны, подготовку материалов и выработку плана земельного переустройства России, а с другой — более непосредственную практическую задачу — разрешение споров и недоразумений, возникающих между землевладельцами и крестьянами и «издание по вопросам сельско-хозяйственных и земельных отношений обязательных постановлений в пределах действующих законоположений и постановлений правительства».

В состав земельных комитетов входили с одной стороны члены по назначению правительства, а с другой — представители партий и демократических организаций.

В Главный Земельный Комитет входили министр земледелия и его товарищи, 25 членов, назначенных Временным Правительством, представители губернских земельных комитетов (по одному от каждого), представители Всероссийского Совета Р. и С. Д., Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов, Всероссийского Крестьянского Союза, Временного Комитета Государственной Думы (по три от каждой из этих организаций), 11 представителей политических партий (по одному от каждой), представители от крупных научных экономических обществ и сведующие лица, приглашаемые председателем с правом совещательного голоса. Председателем Главного Земельного Комитета первое Временное Правительство назначило проф. А. С. Посникова, либерального деятеля, близкого к правым народническим течениям.

С момента своего образования земельные комитеты поступили в ведение министра земледелия коалиционного правительства, В. М. Чернова.

Чернов, окруживший себя сотрудниками, хорошо знавшими условия сельского хозяйства и фанатически преданными идее передачи земли трудящимся, с самого начала своего вступления в правительство принял меры, чтобы работа министерства земледелия велась в тесном контакте с Советом Крестьянских Депутатов, с одной стороны, и с Главным Земельным Комитетом — с другой.

Это сотрудничество осуществлялось как в деле подготовки материалов и законоположений о коренной аграрной реформе

для Учредительного Собрания, так и в деле проведения в жизнь переходных мероприятий.

Работа министерства земледелия по подготовке коренной земельной реформы велась на основе следующих двух принципов, которые провозглашались публично во всех выступлениях представителей министерства земледелия: отчуждение всех земель, частновладельческих, государственных и церковных в общенародное достояние с передачей этих земель, через демократические органы, в пользование трудовому населению, и — в этом выражался народнический характер проектируемой министерством земледелия реформы — установление на всем пространстве России, за исключением областей, где само крестьянство выскажется против общины, уравнительно-трудового, общинного пользования землей.

До февральской революции вопрос о жизнеспособности крестьянской общины вызывал в России очень оживленные споры. Аграрная программа соц.-революционеров, построенная на принципе сохранения и расширения земельной общины, подвергалась резкой критике не только в среде экономистов стоявших далеко от социалистических кругов, но и в рядах социалистической демократии. Соц.-демократы обоих течений, меньшевики как и большевики, считали, что крестьянская община, сохранившаяся в России, обязана была своим существованием недостаточному развитию производительных сил и что она не могла уцелеть после демократической революции, способной обеспечить более быстрое экономическое развитие русской деревни по западно-европейскому образцу. Эти взгляды развивались в наиболее распространенных работах Плеханова, Ленина и др. соц.-демократических экономистов, высмеивавших утверждения народников, согласно которым русское крестьянство в своем огромном большинстве было глубоко проникнуто общинными традициями и не мыслило аграрной революции иначе, как в форме расширения общинного землевладения крестьян.

Февральская революция положила конец спорам по этому последнему вопросу: русское крестьянство, получившее возможность свободного волеизъявления, единодушно высказалось за общинное землевладение. Крестьяне в солдатской форме и крестьяне, оставшиеся на земле, с одинаковой настойчивостью требовали установления на помещичьих землях, после их отчуждения в пользу народа, уравнительно-трудового общинного землепользования. Аграрная программа партии соц.-ре-

волюционеров настолько соответствовала идеалам и правосознанию русского крестьянства, что партия соц.-революционеров, всегда имевшая особенно близкие связи с крестьянством, на другой день после революции стала единственной массовой русской крестьянской партией.

Нужно заметить, что принцип общинного землевладения имел довольно много сторонников также и в среде либеральной интеллигенции. Одним из видных представителей этой интеллигенции был председатель Главного Земельного Комитета Посников. В своей программной речи при открытии первой сессии Главного Земельного Комитета Посников заявил себя сторонником установления коллективного, общинного землевладения на отчуждаемой государством земле и таким образом солидаризировался с программой аграрной реформы, принятой министерством земледелия. Он только оговорился, как это делали и представители несоциалистических партий в правительстве, что считает необходимым, чтобы отчуждение помещичьей земли было произведено не безвозмездно, а с выкупом.

Чернов и его сотрудники, среди которых своими знаниями и организационным дарованием особенно выделялся товарищ министра П. А. Вихляев, с большим воодушевлением вели систематическую и всестороннюю разработку плана земельной реформы. Целый ряд комиссий, учрежденных при министерстве земледелия, устанавливал материальные и правовые условия перехода земли в руки трудящихся. Ввиду огромного интереса, с каким крестьяне относились к подготовке земельной реформы, руководители министерства земледелия и связанные с ними представители крестьянских организаций держали широкие массы в курсе этих работ. Во всех центрах крестьянского движения делались доклады о последовательных этапах работы по подготовке земельной реформы: о том, как министерство земледелия устанавливало размеры распределительного земельного запаса, с указанием количества и качества этих земель по губерниям; как устанавливались общегражданские нормы землепользования, а также нормы государственной помощи неимущим крестьянам для обзаведения живым и мертвым инвентарем и т. д. и т. д. В этих докладах подчеркивалось, что проекты уравнильно-трудового землепользования вырабатывались в согласии с основами свободного демократического строя. Община должна была представлять собой не подневольную хозяйственную организацию, работающую по указаниям государственной власти, а свободную ассоциацию крестьян,

обеспечивающую каждому члену полную личную независимость и право распоряжения плодами своего труда.

Министерство земледелия было боевым постом, сосредоточивавшим на себе общее внимание. Аграрные преобразования должны были определить главное социальное содержание происшедшей революции и затрагивали самые существенные интересы как трудящихся, так и имущих классов.

Политика министерства земледелия подвергалась резкой критике со стороны двух крайних флангов. Слева его упрекали в медлительности проведения революционных преобразований, справа — в желании форсировать события и вторгнуться в компетенцию Учредительного Собрания.

Большевики, поставившие ставку на захват помещичьих земель крестьянами до созыва Учредительного Собрания, вели ожесточенную кампанию против идеи планомерного проведения аграрной реформы через народное представительство. Они доказывали, что Чернов и его сотрудники, вместо того, чтобы сделать из министерства земледелия орган аграрной революции, превратили его в орган «аграрной статистики». Но эти нападки не находили поддержки в среде большинства крестьян.

Говоря о настроении крестьянских масс в эпоху февральской революции, нужно заметить, что было бы ошибочно судить об этих настроениях на основании поведения крестьян в эпоху гражданской войны, начавшейся после захвата власти большевиками. В ходе гражданской войны, когда белые армии жестоко расправлялись с крестьянами, возлагая на них ответственность за большевизм и делая попытки восстановить в захваченных ими областях помещичье землевладение, крестьянство в целом было отброшено в лагерь тех, кто сражался с этими армиями. Поставленные перед необходимостью выбирать между сторонниками реставрации старых порядков в деревне и большевиками, не успевшими еще ввести своих колхозов, крестьянство выбирало большевиков.

В эпоху же февральской революции, когда перед крестьянами стоял выбор между большевиками, проповедывавшими анархические захваты, и демократией, подготовлявшей организованное отчуждение и распределение земель Учредительным Собранием, огромное большинство крестьянства поддерживало демократию. Результаты всех свободных крестьянских голосований, какие только имели место в революционной России, ясно показали, что организованные демократические

методы решения аграрного вопроса гораздо больше соответствовали правосознанию большинства крестьян, чем методы самочинных захватов земли. В частности, отношение крестьянской массы к вопросу о передаче решения земельного вопроса Учредительному Собранию нашло свое выражение в том поразительном факте, что после большевистского переворота, когда Учредительное Собрание было разогнано, а имевшие в нем большинство партии социалистической демократии были объявлены врагами народа, — в целом ряде губерний нашлись крестьянские волости, которые отказывались принять землю из рук большевистской власти, помимо Учредительного Собрания. Большевикам пришлось прибегнуть к принудительным мерам, чтобы заставить изголодавшихся по земле крестьян взять эту землю по указаниям большевистской власти.

Сведения о таких конфликтах, происшедших между крестьянами и большевистской властью в Пензенской, Курской, Тульской, Владимирской, Вятской и Казанской губерниях, воспроизведены по большевистским источникам в статье Чернова «Черный передел в 1918 году», помещенной в пражских «Записках Института Изучения России». Тот факт, что столько сведений этого рода просочилось в подцензурную большевистскую печать, показывает, насколько значительны по размерам были эти манифестации крестьянских настроений, шедшие в разрез с утверждениями о согласованности правосознания русского крестьянства с большевистскими способами решения социальных проблем.

Поддержка аграрной политики большинства революционной демократии со стороны крестьянских масс объяснялась не только тем, что идея проведения через Учредительное Собрание отчуждения земли в пользу трудящихся находила благоприятную почву в правосознании крестьян. Политика демократии привлекала к себе симпатии крестьянства также и тем, что подготовку коренной земельной реформы она сочетала с решительным содействием тем мерам улучшения положения крестьянства, которые с начала революции стали осуществляться крестьянскими организациями явочным порядком.

Положение малоземельных крестьян, вынужденных арендовать землю у помещика, всегда в России было очень тяжело, но оно стало совершенно невыносимо во время войны, когда лучшие рабочие силы деревни были мобилизованы для фронта и вместе с тем значительная часть крестьянских лошадей подверглась реквизиции для нужд армии. Старая власть, возлагая

на слабосильные крестьянские хозяйства все эти жертвы, не приняла никаких мер, чтобы сколько нибудь облегчить им несение этих тягот, что вызывало общее всё более и более разраставшееся недовольство среди крестьян. Неудивительно, что крестьянские организации, вызванные к жизни февральской революцией, первым делом принялись смягчать эти тяготы, понижая арендную плату, отбирая излишки рабочего скота от помещиков в пользу крестьянских хозяйств, перераспределяя труд австрийских и германских военнопленных и т. д.

Направление революционного правотворчества крестьянских масс было аналогично направлению правотворчества рабочих в промышленности: и тут, и там трудящиеся стремились улучшить свое материальное и правовое положение, и ограничить права собственников, злоупотреблявших в прошлом своим привилегированным положением. Но переустройство уклада жизни в деревне наталкивалось на гораздо большие трудности, чем реформа порядков на фабриках и заводах, ибо взаимоотношения между крестьянами и помещиками носили гораздо более обостренный характер, чем взаимоотношения между рабочими и промышленниками.

Тот факт, что февральская революция не ставила вопроса о ликвидации частной собственности в промышленности, обусловил сравнительно уступчивое отношение значительной части предпринимателей к тем преобразованиям, которые явочным порядком осуществлялись рабочими организациями. Именно этим объяснялось, что первой реакцией промышленников на революцию было соглашение с рабочими в вопросе о восьмичасовом рабочем дне и о признании широких прав за фабрично-заводскими комитетами.

Совершенно иное положение было в деревне. Мысли крестьян и помещиков были сосредоточены на предстоящей ликвидации помещичьего землевладения, принцип которой был принят огромным большинством общественного мнения страны. Не решаясь вести открытую борьбу против идеи отчуждения земли в законодательном порядке в пользу трудящихся, помещики с тем большей непримиримостью реагировали против каждого ограничения их прав крестьянскими организациями, усматривая в этих ограничениях попытку осуществить явочным порядком ликвидацию помещичьего землевладения. Вместе с тем, как я уже упоминал, у некоторой части землевладельцев проявлялись тенденции саботажа будущей аграрной реформы путем отказа от обработки полей, продажи лесов на сруб,

фиктивных сделок на землю и т. д. Слухи об этих действиях, часто преувеличенные, разносились по всему крестьянскому миру и создавали благоприятную почву для анархических выступлений наиболее возбужденной части крестьянства. Беспорядки в деревне разрастались. Учащались случаи захватов крестьянскими группами помещичьих земель.

Бороться с этими явлениями голыми репрессиями и призывами ждать Учредительное Собрание было невозможно: если руководители демократических организаций понимали сами и могли объяснить крестьянам невозможность осуществления коренной земельной реформы без предварительной тщательной подготовки условий перераспределения земли и без общенародной санкции этой меры, то ни организованная демократия, ни крестьянские массы не допускали отказа от немедленного проведения в жизнь мероприятий, направленных к уничтожению старых кабальных отношений в деревне и к сохранению в целости наличного земельного запаса к моменту созыва Учредительного Собрания.

Центральный руководящий орган крестьянства, Всероссийский Совет Крестьянских Депутатов направлял всё свое влияние на то, чтобы дать понять общественному мнению и правительству всю необходимость обеспечить удовлетворение потребности крестьян перестроить уклад сельско-хозяйственной жизни и положить конец актам саботажа со стороны помещиков. Но он считал, что наиболее рациональным, государственным способом разрешения этих задач являлась передача осуществления необходимых мероприятий из рук явочным путем созданных крестьянских организаций в руки земельных комитетов, являвшихся наиболее подходящими для этого дела государственными органами.

При участии министра земледелия Чернова и его ближайших сотрудников Всероссийский Совет Крестьянских Депутатов выработал резолюцию по аграрному вопросу, которая резюмировала потребности и желания огромного большинства крестьян и являлась, в сущности, ничем иным, как планом государственного регулирования и контроля сельско-хозяйственной жизни через земельные комитеты в ожидании созыва Учредительного Собрания.

Резолюция эта, принятая 25-го мая, т. е. в момент образования земельных комитетов, оказалась настолько верным выражением стремлений крестьянства, что огромное большинство крестьянских организаций, с момента появления земель-

ных комитетов, признало их авторитет в деле проведения новых порядков в деревне.

В том же направлении, с самого начала существования коалиционного правительства, велась работа министерства земледелия. Чернов и его сотрудники приветствовали создание новых правовых норм в деревне и разрабатывали законопроекты, с помощью которых они стремились внести единообразие и согласованность в процесс правосоздания народных масс и связанных с ними органов.

Эта политика вызвала яростную оппозицию помещиков, не мирившихся ни с перспективой коренной аграрной реформы, подготовлявшейся министерством земледелия, ни с проведением в жизнь переходных реформ в сельском хозяйстве.

Вся революционная демократия, с ее аграрной программой, была ненавистна помещикам, но их ненависть особенно концентрировалась против личности министра земледелия, Чернова. Эти чувства нашли очень яркое выражение на Московском Государственном Советании, в следующих словах представителя «Союза земельных собственников»: «Мы знаем, что передел наших земель неизбежен. Пусть будет так. Но мы заявляем, что примиримся скорее с черным переделом, чем с Черновским переделом».

«Черновским переделом» помещики называли огульно всё то, что творилось в русской деревне с момента революции, не делая никакого различия между анархическими выступлениями бунтарских крестьянских групп, захвативших и громивших помещичьи усадьбы, и переходными мероприятиями, проводившимися демократическими организациями для установления новых порядков землепользования.

Целый поток обращений с жалобами на создавшееся положение направлялся помещиками Временному Правительству и в правые органы печати. Специально посланные в столицу делегации требовали от правительства применения репрессивных мер для защиты прав землевладельцев от самоуправства крестьян и демократических организаций. Все шаги демократических органов, предпринятые для установления новых порядков землепользования, отождествлялись с анархией и разрушением.

Эта кампания вызывала смущение в правой, кадетской части коалиционного правительства. Но особенно сильное воздействие оказала она на председателя правительства кн. Львова. В связи с переходными мероприятиями в сельском хозяйстве

началась и стала всё более и более обостряться борьба между кн. Львовым, поддержанным кадетскими министрами, и Черновым, поддержанным министрами-социалистами.

Оппозиция нашей политике в аграрном вопросе со стороны кн. Львова была для нас неожиданной, т. к. во всех других областях — в вопросе внешней политики, в вопросе о реорганизации армии, в вопросе о регулировании промышленности, как и в вопросе об ускорении созыва Учредительного Собрания он оказывал политике революционной демократии очень ценную поддержку, открыто отмежевываясь от правых кругов, борющихся против этой политики. Он был один из тех несоциалистических министров, который обнаруживал ясное понимание неизбежности, в условиях революции, явочного правотворчества народных масс и в своих публичных выступлениях признавал необходимым для правительства «творить новую жизнь народа вместе с народом по властным указаниям жизни». В самом законе о земельных комитетах, выработанном при ближайшем участии Львова, эта тенденция давала себя знать довольно определенно. Принадлежность к дворянскому сословию не мешала кн. Львову открыто признавать необходимость отчуждения помещичьих земель в пользу крестьян.

В виду всего этого мы дорожили пребыванием Львова в коалиционном правительстве и не желали ускорять разрыва с ним, надеясь убедить его в необходимости согласовать решения по вопросу о регулировании сельско-хозяйственной жизни с общим направлением всей политики коалиционного правительства. Но кн. Львов очень упорно отстаивал свою точку зрения.

Первый конфликт с ним произошел по вопросу о запрещении земельных сделок.

В числе переходных мероприятий, требование запрещения продажи земель было самым настойчивым и единодушным требованием крестьян. Поэтому с начала же образования коалиционного правительства Чернов внес предложение законодательным порядком запретить куплю-продажу земли.

Против принятия правительством подобного закона в правых кругах велась энергичная кампания. В своих обращениях к правительству и к правой печати помещики протестовали против этой меры, характеризуя ее, как «предрешение воли Учредительного Собрания».

При обсуждении вопроса в правительстве, кн. Львов горячо поддержал точку зрения противников запрещения сделок

и пустил в ход всё свое влияние на несоциалистических министров, чтобы «отложить» решение этого вопроса.

Для нас и для всей революционной демократии примириться с тем, чтобы этот вопрос был положен под сукно, было немислимо. Слухи о фиктивных продажах земли иностранцам или русским мелким собственникам волновали крестьян. На этой почве чаще всего происходили выступления крестьян для захвата земли и для разгромов помещичьих усадеб. Ссылки на расхищение земельного фонда являлись самым убедительным доводом в устах крайних левых агитаторов, убеждавших крестьян не дожидаться Учредительного Собрания и решить земельный вопрос путем самочинных захватов.

Промедление с изданием закона о запрещении земельных сделок было для революционной демократии тем более неприемлемо, что в этом вопросе местные демократические организации не могли явочным порядком дать удовлетворение единодушному требованию всего крестьянства. И никакие соображения общегосударственного характера не оправдывали сохранения за помещиками неограниченной власти распоряжаться землей накануне осуществления ликвидации помещичьего землевладения, необходимость которой была признана всей страной.

В этих условиях, кризис в только что образованном коалиционном правительстве был избегнут благодаря министру юстиции П. Н. Переверзеву. На совещании министров-социалистов с представителями Совета и Крестьянского Съезда Переверзев предложил следующее временное решение: в ожидании рассмотрения правительством отложенного вопроса он, как министр юстиции, даст удовлетворение требованию крестьянства, предписав нотариусам приостановить все сделки на землю впредь до особого распоряжения. Мы все приняли это предложение, дававшее возможность отсрочить ультимативную постановку вопроса в правительстве. 17-го мая Переверзев сделал телеграфное распоряжение старшим нотариусам о приостановке сделок на землю. Эта мера вызвала единодушное одобрение Крестьянского Съезда и местных крестьянских организаций.

Львов высказал большое недовольство этим, как он выразился, «явочным порядком проведенным решением». Но он не менее нас желал избежать обострения конфликта в правительстве. Поэтому, настаивая, пока что, на отмене циркуляра Переверзева, он предложил правительству поручить министру

юстиции разработать, в согласии с министерствами земледелия, финансов и торговли и промышленности, законопроект о мерах к сохранению неприкосновенности наличного земельного запаса впредь до решения земельного вопроса Учредительным Собранием. К участию в выработке этого законопроекта должны были быть привлечены также представители акционерных земельных банков, кооперативных учреждений и обществ взаимного кредита.

Временное Правительство приняло такое постановление, но никакого соглашения в указанной комиссии достигнуть не удалось. Ибо представители земельных банков, поддержанные представителями министерства финансов и министерства торговли и промышленности, решительно высказались против запрещения сделок на землю под тем предлогом, что такая мера обесценит заложенные в земельных банках имущества и ударит по интересам многочисленных малосостоятельных людей, вложивших свои сбережения в закладные листы.

Таким образом, ни в правительстве, ни в комиссии противники запрещения сделок на землю не обнаруживали желания идти на уступки. В то же время кн. Львов и кадетские министры упрекали Переверзева и всех нас, социалистических министров, в том, что мы сохраняем явочным порядком проведенное решение по вопросу, где требуется постановление всего правительства.

Этот конфликт между двумя частями коалиционного правительства парализовал выработку переходных мероприятий в сельском хозяйстве. Все попытки Чернова провести в правительстве законодательные меры переходного характера отвергались большинством несоциалистических министров. Из всех внесенных министерством земледелия законопроектов только отмена законов Столыпина, направленных против общины, была принята единогласно.

Фактически, конечно, отсутствие правительственной санкции не предотвращало того процесса стихийного правосоздания, который совершался в деревне. Крестьянские демократические организации руководили с начала революции этим движением, сообразуясь с постановлениями центральных органов революционной демократии. С июня главное руководство крестьянским движением перешло к земельным комитетам, которые пользовались предоставленным им законом 21-го апреля правом издания обязательных постановлений, чтобы продолжать дело, начатое самочинными демократическими органи-

зациями: они регулировали высоту арендной платы, устанавливали справедливое перераспределение труда военнопленных, прекращали хищническую вырубку лесов, а в случаях, когда помещики оставляли поля без засева, передавали эти поля крестьянам для обработки.

Не всё, конечно, шло гладко и безупречно в этой работе среди волнующегося многомиллионного крестьянства. Лишенные руководящих законоположений, исходящих от правительства, земельные комитеты действовали без нужного единства и системы в установлении новых правил и норм. Несмотря на то, что в значительном большинстве земельных комитетов руководство было в руках демократических элементов, связанных с крестьянскими организациями и с их помощью борющихся против анархии, не всегда удавалось им предотвращать захваты и разгромы помещичьих земель и усадеб. Были и такие земельные комитеты, в которых руководство попадало в руки большевиков или экстремистов лево-с.р.-овского толка, поощрявших беспорядки и эксцессы.

Происходившие в деревне акты анархии подхватывались правой печатью, чтобы возложить ответственность за них на земельные комитеты вообще и требовать от правительства обуздания этих учреждений. А между тем земельные комитеты, проникнутые в своем огромном большинстве стремлением сохранить демократический порядок, были единственными органами власти, тесно связанными с организованным крестьянством. Их борьба с анархией приносила гораздо больше реальных результатов, чем циркуляры министра внутренних дел кн. Львова комиссарам правительства о принятии «самых энергичных мер» против эксцессов. Ибо комиссары правительства были бессильны предпринять что бы то ни было, так как политика министра внутренних дел отнимала у них опору в организованном крестьянстве.

Было очевидно, что борьба правительства с анархией могла увенчаться успехом лишь в том случае, если бы одновременно оно взялось за планомерное руководство деятельностью земельных комитетов для удовлетворения стремления большинства крестьян, не обнаруживавших склонности к бунтам, но требовавших пересоздания уклада сельской жизни для облегчения положения крестьян и для предохранения земельного фонда от расхищения.

Кн. Львов совершенно не отдавал себе отчета в этом положении. В начале июня, под влиянием волны протестов, поднявшихся среди помещиков по поводу первых же действий

вновь образованных земельных комитетов, кн. Львов стал прилагать все усилия, чтобы побудить коалиционное правительство выступить решительно против действий земельных комитетов. Готовясь поставить этот вопрос в правительстве, кн. Львов вел предварительные частные беседы с членами правительства, убеждая их в необходимости дать земельным комитетам предписание не выходить в своей деятельности из рамок, установленных законом 21-го апреля. Из социалистических министров кн. Львов вел переговоры по этому вопросу со Скобелевым, Пешехоновым и со мной. В беседе с нами он утверждал, что заявления, сделанные министром земледелия Черновым в Главном Земельном Комитете и на Крестьянском Съезде о том, что земельные комитеты призваны стать органами народного правотворчества, также как и принятая при его участии резолюция Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов от 25-го мая, привели к самым тяжелым для сельского хозяйства последствиям. В результате этих заявлений и решений, земельные комитеты присвоили себе право вторгаться в права землевладельцев, которые могут быть отменены или ограничены только постановлением Учредительного Собрания. Это ведет к обострению отношений между помещиками и крестьянами и к разрушению всякого порядка в деревне. Поэтому кн. Львов предлагал опубликовать инструкцию от имени Временного Правительства, напоминающую земельным комитетам, что закон 21-го апреля обязует их оставаться в пределах «действующих законоположений», т. е. в пределах тех законов, которые не отменены правительством.

Мы ответили кн. Львову, что правительство не может принять такое истолкование закона 21 апреля и установить, что в революционной России «действующими законоположениями» являются законоположения Свода Законов о неограниченном праве собственности помещиков. Мы напомнили Львову, что даже в странах западной Европы, где нет никакой революции, правящие демократические круги, под влиянием условий, созданных войной, всё более и более переходят к ограничению прав частной собственности в общественных интересах, и никому в этих странах не приходит в голову протестовать против таких мер на основании старых, формально не отмененных законов о суверенных правах собственности. Тем более нелепо стать на эту точку зрения правительству революционной России, особенно в области сельского хо-

зайства, где на очередь поставлен вопрос о коренном изменении права земельной собственности.

Мы указывали кн. Львову, что предложенная им инструкция настолько противоречит взглядам на право и справедливость в среде крестьянства и в среде всей демократии, что последствием принятия такой инструкции будет изоляция правительства от тех кругов, которые являются единственной опорой демократического строя. Поэтому, отказываясь поддержать предложение Львова, мы настаивали на необходимости содействовать проведению в жизнь переходных мероприятий, удовлетворяющих неотложные нужды крестьян.

Кн. Львов упорно настаивал на своем, и на одном из заседаний правительства он поставил на обсуждение свое предложение.

На этом заседании кн. Львов огласил несколько полученных им с мест телеграмм, в которых описывались насильственные действия крестьян, захватывавших помещичьи земли, уводивших рабочий скот и расхищавших инвентарь. Вместе с тем Львов прочитал выдержки из обязательных постановлений, изданных земельными комитетами. Некоторые из этих постановлений сводили арендную плату до размеров не превышавших казенных, земских и мирских сборов с земли, и обращали эту пониженную арендную плату в фонд земельных комитетов, другие обязывали помещиков предоставить весь рабочий скот в распоряжение слабосильных крестьянских хозяйств, третьи отменяли распоряжение владельца о вырубке леса и т. д.

Кн. Львов утверждал, что такие постановления являются типичными для всей деятельности земельных комитетов. По его словам, земельные комитеты ставили себе целью сделать невозможным продолжение хозяйственной эксплуатации помещичьих земель. Постановления, подобные прочитанным им, лишь укрепляли крестьян в стремлении немедленно захватить помещичьи земли и увеличивали в сельском хозяйстве хаос и беспорядок. Поэтому Львов предлагал Временному Правительству опубликовать декларацию, объявляющую аннулированными все постановления земельных комитетов, которые ограничивают право землевладельцев за пределами действующих законоположений и решений правительства. Эту декларацию должны были подписать два министра: он, Львов, в качестве министра внутренних дел, и Чернов, в качестве министра земледелия.

Чернов ответил, что приведенные Львовым постановления ни в какой степени не могут считаться типичными для деятельности земельных комитетов. Он может представить правительству не десятки, а сотни постановлений земельных комитетов, где те же вопросы о распределении живого и мертвого инвентаря, о вырубке леса и т. д. решаются разумным образом: огромное большинство земельных комитетов принимают постановления не о запрещении, а о контроле вырубке леса, не о передаче крестьянам всего рабочего скота, а лишь его излишков, с обеспечением землевладельцам возможности продолжать нормальную эксплуатацию их хозяйств. И тем не менее, в случае принятия предложения кн. Львова, эти постановления пришлось бы отменить, как противозаконные. Все они выходят за пределы законоположений и решений правительства по той простой причине, что никаких решений для удовлетворения потребностей крестьян правительство до сих пор не приняло. Постановления земельных комитетов, при всех их несовершенствах, имеют то достоинство, что они идут навстречу стихийному стремлению сто-миллионного крестьянства к перемене уклада сельско-хозяйственной жизни.

Этого стремления нельзя остановить ни запрещениями, ни репрессиями. Долг революционного правительства, — сказал Чернов, — дать этому стремлению такое удовлетворение, которое обеспечивало бы улучшение положения крестьянства и рациональное использование хозяйственной площади. В этом направлении должно оно руководить деятельностью земельных комитетов и исправлять их промахи. Если же, вместо этого, оно будет пытаться восстановить в деревне старые, ненавистные всему крестьянству порядки, оно лишь увеличит смуту и анархию.

Исходя из этих соображений, Чернов наотрез отказался подписать декларацию, предложенную Львовым. Переверзев, Пешехонов, Скобелев и я поддержали эту точку зрения, и Львов не стал настаивать на своем предложении.

Это заседание с совершенной очевидностью показало, что сохранение коалиционного правительства под председательством кн. Львова становилось невозможным без существенного изменения его позиции в вопросе об аграрной политике.

На другой день кн. Львов пригласил меня к себе для

беседы по поводу существующих в правительстве разногласий.

Эта долгая беседа произвела на меня сильное впечатление, ибо тут Львов впервые со всей откровенностью высказал свое отношение к работе министерства земледелия и особенно к политике министра земледелия Чернова.

Львов выразил свое убеждение в том, что Чернов и руководимое им министерство земледелия проводили, в вопросе об анархических эксцессах в деревне, политику, коренным образом расходящуюся с той, которая была провозглашена в декларации коалиционного правительства.

Чернов и его сотрудники, — сказал кн. Львов, — не призывают открыто к захвату помещичьих земель, но они используют весь аппарат министерства земледелия для распространения среди крестьян убеждения, что собственность на землю уже отменена и что они ни в коей мере не должны считаться с правами землевладельцев. Земельные комитеты получают от министерства земледелия инструкции, чтобы при каждом конфликте между крестьянами и помещиками они становились на сторону крестьян, объявляли помещиков саботажниками и под предлогом лучшей организации производства отбирали от землевладельцев земли, леса, инвентарь — и передавали их крестьянам. При таком отношении к делу правительственных органов не удивительно, что анархия в деревне усиливается, учащаются захваты помещичьих земель и это приводит к разрушению культурных хозяйств и всего налаженного сельско-хозяйственного производства.

Кн. Львов напоминал, что он не является защитником сохранения помещичьего землевладения, что он открыто заявил свое убеждение, что земля должна быть отчуждена в пользу крестьянства. Но правительство, — сказал он, — приняло обязательство провести земельную реформу через Учредительное Собрание. Это обязательство связывает нас морально как перед крестьянством, так и перед землевладельцем. А между тем, вся работа министерства земледелия ведется так, что перед страной ставится вопрос, не лежит ли в основе этой политики продуманный план осуществить экспроприацию земли немедленно, с помощью земельных комитетов, чтобы поставить Учредительное Собрание перед совершившимся фактом.

Этим объяснял кн. Львов свое непримиримое отношение к политике Чернова. Он сказал даже, что у него далеко нет

уверенности в том, что левые с. р.-ы, сидящие в одной партии с Черновым и призывающие крестьян осуществить аграрную реформу путем немедленных захватов помещичьих земель, действуют без согласия и одобрения Чернова.

Я знал Чернова, его ближайших сотрудников, знал настроение партии, на которую он опирался. В некоторых вопросах, как я укажу ниже, я расходился с Черновым. Но я глубоко уважал его и знал, что только человек, совершенно не знающий ни Чернова, ни его окружения, мог заподозрить их в сочувствии захватам помещичьих земель крестьянами и в стремлении поставить Учредительное Собрание перед совершившимся фактом.

Ибо Чернов и его друзья боролись против захватов помещичьих земель крестьянами не только в силу объединявшего их со всей революционной демократией убеждения, что такие захваты внесут еще большее расстройство в и без того расстроенную хозяйственную жизнь страны. Кроме этого общего мотива борьбы с анархией в деревне был у них и другой, особенно близко лежащий к их сердцу мотив борьбы с захватами. Это было их убеждение в том, что проведение в жизнь с. р.-ской программы уравнительного, общинного пользования землей натолкнулось бы на непреодолимые трудности в случае самочинного расхищения земель крестьянами с возникающими отсюда претензиями на сохранение захваченного и опасностями междуусобной борьбы в среде крестьянства.

Чернов и его друзья с большой силой подчеркивали эту сторону дела как на крестьянском съезде, так и на съезде партии соц.-революционеров, где, при поддержке огромного большинства делегатов, они провели постановления о необходимости для всего крестьянства ждать созыва Учредительного Собрания для осуществления коренной аграрной реформы.

В своих публичных заявлениях, широко распространявшихся в крестьянской среде его друзьями и сотрудниками, Чернов не упускал случая со всей решительностью выступать против захватов. На заседании Главного Земельного Комитета, когда представитель большевиков Смилга заявил, что земельные комитеты на местах должны, для устранения аграрной разрухи, способствовать «организованному крестьянами захвату всей земли», никто иной, как Чернов, дал самый резкий отпор этой точке зрения, указав, что организованность и захват являются понятиями, друг друга исключаящими, и что

тактика захвата ни к чему кроме анархии привести не может. На Всероссийском Съезде Советов Р. и С. Д., в заседании 5-го мая, Чернов говорил:

«Вот вам решение аграрной проблемы: здесь может быть розничный метод, — метод сепаратного разрешения земельного вопроса на отдельных местах, отдельными явочными действиями, отдельными захватами, пусть, — прибавим это магическое всеспособное слово, — «организованными». Но это остается тем же сепаратным, тем же розничным методом разрешения колоссальных проблем, стоящих перед русской революцией, тем же розничным методом, который грозит не упростить, а усложнить дело, которое новой Россией должно быть сделано. И это мы видели неоднократно. Мы это видели хотя бы там, где организованный захват был, — организованный даже не в пределах села, а в пределах нескольких сел, пусть, в пределах волости. Но, товарищи, в пределах одной волости могут быть громадные имения, на которые с завистью посмотрят несколько соседних волостей. И, кроме того, товарищи, не ясно ли вам, что если бы этим сепаратным, розничным путем подошли бы к разрешению аграрной проблемы в России, то по всему фронту, по всей армии поднялся бы крик: «Землю уже делят! Если мы не поспеем к дележу, мы останемся обделенными». И получился бы, быть может, сплошной побег с фронта, чтобы не опоздать к дележке. И что же, это облегчило бы наши задачи или затруднило бы во много раз?».

Когда я напомнил обо всем этом Львову и сказал, что эти заявления Чернова, воспроизведенные всей демократической печатью, являются лучшим опровержением легенды об его сочувствии анархическим выступлениям, Львов показал мне сводку выписок из полученных министерством внутренних дел донесений с мест об аграрных беспорядках. В этих донесениях говорилось, что агитаторы, призывавшие крестьян к захватам, часто ссылались на авторитет Чернова, одобрявшего, по их словам, революционные выступления против помещиков. Приводились также ответы бунтующих крестьян на указания комиссаров о запрещении правительством захватов: «Довольно мы вас слушали, земля теперь наша, крестьянская, и министр крестьянский. В комитете есть от него указания».

У нас в правительстве, — сказал Львов, — кроме Чернова есть пять других министров-социалистов. Но ни об одном из них нет таких разговоров. А вот о Чернове так думают и так говорят, и дело не ограничивается разговорами.

Я сказал Львову: — ни один человек в положении Чернова не был бы застрахован от неверного истолкования, в ту или

другую сторону, его намерений и действий. Ведь он руководит работами по проведению аграрной реформы, ломающей правовые и материальные условия жизни миллионов людей. Как можно думать, что в потрясенном до дна крестьянском мире не найдутся люди, сознательно или бессознательно злоупотребляющие его именем и толкующие о нем и вкривь и вкось? Вы по собственному опыту знаете, как могут быть извращены намерения людей, стремящихся воздействовать на волнуемые крестьянские массы. Вы издаете циркуляры о прекращении захватов. А в темной крестьянской массе эти циркуляры истолковываются как желание помешать аграрной реформе и восстановить власть помещиков. Чернову только в том случае можно было бы поставить в укор злоупотребления его именем агитаторами слева, если бы он не отмежевывался от этих людей публично. Но он не упускает случая делать это, и его решительные выступления против призывов к захватам широко используются демократическими крестьянскими организациями в борьбе с анархией.

Эти доводы не рассеивали предубеждения Львова против Чернова, которого, несмотря ни на что, он подозревал в стремлении «углубить революцию в направлении близком к большевизму».

В конце беседы Львов в мягкой, но очень определенной форме заявил, что правительству придется сделать выбор между ним и Черновым.

— Я не считаю своим призванием быть бессменным председателем Временного Правительства, — сказал Львов. — Я принял эту должность лишь по настоянию тех, кто формировал министерство. Если б теперь мои коллеги освободили меня от этой ответственности, это было бы для меня облегчением. Я охотно вернулся бы к более близкой мне земской работе. С другой стороны, и Чернов, вероятно, не очень дорожит своим министерским постом. Ведь с самого начала он вошел в правительство нехотя, и, судя по тону его высказываний в печати, он должен тяготиться своим пребыванием в коалиционном правительстве. В этих условиях правительству будет нетрудно сказать, чье пребывание в правительстве, Чернова или мое, оно считает более полезным. И уход одного из нас разрядит напряженную атмосферу в правительстве и облегчит нахождение согласованных решений.

Я ответил Львову, что мы, министры-социалисты, дорожим сотрудничеством с ним и были бы рады достигнуть соглашения

с ним в вопросе об аграрной политике, как достигли соглашения в остальных вопросах. Но вместе с тем я подчеркнул, что если б Чернову пришлось из-за разногласий по этому вопросу, покинуть правительство, то все остальные представители Совета ушли бы вместе с ним.

Здесь, в связи с этой беседой, я должен отметить некоторые особенности политической позиции Чернова в среде большинства революционной демократии и указать, какое значение имело для этого большинства пребывание Чернова в правительстве.

В одном отношении слова Львова о Чернове были правильны: Чернов, действительно, тяготился пребыванием в коалиционном правительстве. И это не только потому, что он вообще не имел влечения к правительственной работе, но и потому, что он с большим трудом чем кто-нибудь другой из представителей большинства советской демократии, мирился с необходимостью коалиции с несоциалистическими кругами.

Он был на левом фланге большинства советской демократии. Вместе со всеми нами он хорошо видел, что демократической революции угрожала опасность не только справа, но и слева. Но он больше, чем кто бы то ни было другой из руководящей группы Совета грешил невнимательным отношением к удельному весу, или, как говорят французы, к «иерархии» этих опасностей. Его внимание было прежде всего обращено на противников демократии справа. Он зорко видел и обличал в своих статьях в «Деле Народа» контр-революционные стремления правого максимализма, так же как и половинчатость и колебания либеральных кругов буржуазии. Но увлеченный этой борьбой он как бы забывал, что в созданных революцией условиях правые круги сами по себе большой силы не представляли и могли рассчитывать на успех лишь в том случае, если б революционные партии своими крайностями оттолкнули значительную часть народа в сторону этих правых кругов. Тогда как опасность со стороны левых противников демократии, большевистских и большевизанских элементов, бросавших в массы невыполнимые демагогические лозунги с целью расшатать самые основы свободного строя, была гораздо более актуальной и непосредственной.

На эту тему мне часто приходилось дружески спорить с Черновым. И когда я говорил ему о том, что он недооценивает опасность, угрожающую демократии слева, он отвечал мне со свойственной ему добродушно-лукавой улыбкой: «Я левее

вас, но это здоровая, мужицкая левизна, которая не ослабляет, а укрепляет в борьбе с большевизмом».

В этих словах одно, несомненно, было верно: в Чернове, при всей подчеркнутой левизне его публицистических писаний, не было и капли большевизанства, подобного тому, какое было у «левых эсеров». Всякий раз как большевики и их союзники открывали атаку против демократии, Чернов, не колеблясь, бросался в бой и был одним из тех, кто с наибольшей решительностью отражал эти атаки. В стенографических отчетах Всероссийского Съезда Советов, воспроизводившихся всей демократической прессой, сохранились образцы таких выступлений Чернова. Особенно ярки были его речи по поводу требований левой оппозиции предъявить союзным правительствам ультиматум по внешней политике, по поводу нападок на политику укрепления боеспособности фронта, по поводу пропаганды «революционных захватов» помещичьих земель крестьянами, по поводу протеста против ареста анархистов, засевших на даче Дурново, и т. д. и т. д.

Большевики хорошо видели то впечатление, какое эти выступления производили в среде солдатских и крестьянских масс. И потому имя Чернова не сходило со страниц «Правды» и служило предметом постоянных нападок Ленина, как имя одного из самых ненавистных представителей большинства советской демократии.

В партии соц. революционеров Чернов занимал своеобразное положение. Он никогда не был ни организатором, ни практическим руководителем партии. Эту роль в дореволюционную эпоху выполняли М. Гоц и Г. Гершуни, а в период февральской революции А. Р. Гоц. Но Чернов с момента основания партии был ее главным идейным вдохновителем, создателем ее идеологии и программы. Особенная роль Чернова в развитии русской социалистической мысли заключалась в том, что, отстаивая завещанную основоположниками народничества идею сохранения общины, как исходного пункта для развития в России высших форм коллективного хозяйства, он вместе с тем европеизировал русское народничество, пропитывая его духом западно-европейского демократического социализма.

На его произведениях воспитывались кадры партии социалистов-революционеров, ставшие в эпоху февральской революции признанными руководителями массового крестьянского движения. И если большинство русского крестьянства,

пока оно пользовалось свободой действий, отказывалось поддерживать большевистскую политику и не приняло лозунга самочинного передела земель, то здесь, рядом с народным инстинктом самосохранения от анархии, очень большую роль сыграло и то обстоятельство, что организованные кадры партии, наиболее тесно связанной с крестьянством, были пропитаны идеями демократического порядка и народовластия.

Чернов больше, чем кто-либо другой, способствовал внедрению демократических идей в крестьянское движение, и не было в партии и в идущей за ней крестьянской массе более любимого имени, чем имя Чернова.

Нужно отметить, что в верхушке партийной организации Чернов имел группу противников, очень недружелюбно к нему относившихся. Это были, так называемые, «правые социалисты-революционеры», издававшие до революции, в эмиграции, оборонческий орган «Призыв». С начала войны между этой группой и заграничной организацией партии соц.-революционеров, возглавленной Черновым, велась ожесточенная фракционная борьба. «Призывцы» отстаивали позиции социалистических большинств стран Согласия, Чернов же примыкал к тому циммервальдскому течению, в рядах которого находились Аксельрод, Каутский и Макдональд. Февральская революция объединила представителей обеих эсеровских фракций на платформе большинства советской демократии, но следы недавней фракционной борьбы очень явственно давали себя знать в резких отзывах правых соц.-революционеров о лидере партии, в отзывах, которые подхватывались и использовались правыми политическими кругами для подкрепления их атак против личности Чернова.

Но популярность Чернова в партии и крестьянских массах была так велика, что всякий раз как партия ощущала потребность собрать воедино свои силы и бросить их на защиту какой-либо решающей политической акции, вся партия, за исключением левых эсеров, объединялась вокруг Чернова. Так это было и при образовании коалиционного правительства. Ни у кого в рядах партии, даже среди правых соц.-революционеров, не было сомнения, что партию должен был представлять в правительстве Чернов, участие которого только и могло обеспечить правительству максимальную поддержку партийных кадров и крестьянской массы.

Чтобы охарактеризовать значение пребывания Чернова в коалиционном правительстве, я приведу здесь интересное сви-

детельство одного из самых непримиримых левых противников Чернова, не щадившего красок, чтобы выставить его роль в революции в самом отталкивающем свете.

В книге «О Ленине» Троцкий описывает те впечатления, какие он получил от пленарного собрания Петроградского Совета, на котором присутствовали только что вступившие в правительство министры-социалисты.

На этом собрании Чернов произнес речь о демократических задачах революции, для осуществления которых Совет послал своих представителей в правительство. Само собой разумеется, на Троцкого, сторонника «диктатуры пролетариата», речь Чернова произвела неприятное впечатление, и он характеризует ее как «тошнотворную». Но как реагировали на эту речь слушатели? В ответ на этот вопрос Троцкий рисует следующий образ:

«На фоне общего моего впечатления от официальной февральской России, от тогдашнего меньшевистски-эсеровского Петроградского Совета, ярко вырисовывается и сейчас, точно это было вчера, одна физиономия эсеровского делегата. Ни кто он, ни откуда он, я не знал и не знаю. Должно быть, из провинции. Видом он был похож на молодого учителя из хороших семинаристов. Курносое, почти безусое лицо, простовато-скуластое, в очках... Чернов объяснял, почему именно он и другие вошли в правительство... Семинарист глядел на оратора глазами сосредоточенного обожания. Так должен чувствовать и смотреть верующий богомолец, попавший в преславную обитель и сподобившийся услышать поучение пресвятого старца... — Вот как она выглядит, наша или, вернее, их революция! — говорил я себе на этом первом увиденном и услышанном мною Совете 1917 г. ... Это лицо навсегда осталось в памяти, как образ февральской революции — ее лучший образ, простовато-наивный, низовой, мешански-семинарский...».

Этот «низовой, мешански-семинарский» эсеровский делегат был, действительно, типичным представителем тех кадров эсеровской партии, которые, в период февральской революции, вместе со всей крестьянской интеллигенцией руководили большинством русского крестьянства. Их связь с крестьянством была так прочна, что при всех манифестациях свободной народной воли, при выборах в Советы или местные демократические организации, так же как и при регулярно организованных выборах в органы местного самоуправления, огромное

большинство крестьян неизменно облекало своим доверием представителей партии соц.-революционеров.

Легко понять, какую цену придавала революционная демократия пребыванию в правительстве Чернова, признанного вождя этой партии, ставшего в глазах огромного большинства крестьян олицетворением их демократических стремлений.

Переходные мероприятия, проводившиеся в области сельского хозяйства сначала местными крестьянскими организациями, а потом земельными комитетами, диктовались этими стремлениями, без удовлетворения которых демократический строй в революционной России не мог утвердиться.

Признанием этого факта определялась вся политика Чернова. И потому единственный приемлемый для нас выход из создавшегося в коалиционном правительстве конфликта заключался в сохранении Чернова в правительстве и в проведении, хотя бы и ценой разрыва с Львовым, необходимых аграрных преобразований.

Так же смотрел на положение и Главный Земельный Комитет. А. С. Посников, в качестве председателя Главного Земельного Комитета, делал в этом смысле представления правительству, указывая ему, что происходящая на местах, под давлением всего крестьянского населения, ломка земельных отношений принимала всё более и более беспорядочный характер в виду отсутствия законов и указаний центральной власти, идущих навстречу стремлению населения к новым земельным правоотношениям. Целый ряд законопроектов, выработанных в этом направлении Главным Земельным Комитетом, оставался без движения, в виду оппозиции правого крыла коалиционного правительства с кн. Львовым во главе.

Такое положение дольше длиться не могло. Вопрос должен был быть поставлен со всей резкостью в правительстве. Переверзев, исчерпав все средства, чтобы достичь, в назначенной правительством комиссии, соглашения о запрещении земельных сделок, отказался от дальнейших бесплодных переговоров. Не желая один нести дальше ответственность за решение, он 23-го июня отменил свой циркуляр о земельных сделках. В этот же день вопрос был поставлен в порядок дня правительства, но по просьбе кн. Львова решение было отложено на три дня, до 27-го июня.

Из несоциалистических министров Некрасов и Терещенко определенно высказывались за запрещение земельных сделок и за издание общих законов о нормах новых земельных пра-

воотношений. Вл. Львов и Годнев тоже склонялись в эту сторону. Кн. Львов, чувствуя всю серьезность положения, явно колебался. Этим объяснялась его просьба отложить решение до 27-го июня.

Но как раз в это время разразился конфликт с Украинской Радой, в результате которого три члена правительства — Керенский, Терещенко и я — должны были выехать 26-го июня в Киев. Заключенное нами соглашение с Украинской Радой вызвало выход из правительства кадетских министров, и одновременно с этим произошло восстание большевиков 3-4 июля. Только после ликвидации этого восстания правительство смогло вернуться к решению стоявших в порядке дня вопросов, и в первую очередь вопросов о мероприятиях в сельском хозяйстве. 8-го июля правительство приняло решение запретить сделки на землю и расширить и укрепить сеть земельных комитетов с точно определенными законом полномочиями в области решения вопросов сельско-хозяйственной политики.

Кн. Львов не согласился с этими мерами и покинул правительство.

Но борьба против проведения в жизнь переходных аграрных мероприятий этим не кончилась. Она продолжалась в новой обстановке, созданной июльским кризисом и последовавшими за ним поражениями на фронте.

Июльские события изменили политическую атмосферу в стране, усилив правые круги и перебросив в их сторону значительную часть средних классов. В конце июля первое коалиционное правительство было сменено правительством «персональной коалиции», в котором правые кадетские круги получили значительное влияние. Борьба за ликвидацию аграрной политики, основы которой, в согласии с руководящими органами революционной демократии, были положены Черновым, возобновилась с новым ожесточением как внутри, так и вне правительства. Но хотя влияние советской демократии в стране и ослабело, эта демократия сохраняла всё же достаточно силы, чтобы не допустить ликвидации мероприятий, идущих навстречу требованиям демократического крестьянства. Чернов, оставшийся в правительстве до конца августа, с удвоенной энергией поддерживал земельные комитеты, контролировавшие и регулировавшие сельскохозяйственную жизнь в согласии с выработанными министерством земледелия инструкциями.

После нового кризиса власти, вызванного Корниловским выступлением, Чернов покинул правительство, чтобы с боль-

шей свободой защищать политику, в которой он видел спасение революции. Новый министр земледелия, умеренный социалист С. Л. Маслов, продолжал, в контакте с Главным Земельным Комитетом и с Советом Крестьянских Депутатов, осуществлять политику, установленную его предшественником, политику, которую правые круги не переставали атаковать, как «внутриродственную большевизму».

Последующие события пролили яркий свет на значение аграрной политики революционной демократии, подвергавшейся слева; со стороны сторонников Ленина, таким же ожесточенным нападениям, каким она подвергалась справа.

В невероятно трудных условиях, созданных войной и глубоким хозяйственным кризисом, комбинированные атаки справа и слева расстроили ряды демократии и обеспечили торжество сторонников левой диктатуры. Но большевизм пришел к власти не на хребте массового крестьянского движения, осуществлявшего демократические реформы, а в результате заговора, поддержанного разложившимися частями армии и флота, поверившими большевикам, что демократические реформы являются предательством революции.

Истинный характер взаимоотношений между большевистской властью и большинством пробужденного февральской революцией крестьянства раскрылся перед всем миром при всенародных выборах в Учредительное Собрание, происшедших уже после захвата власти большевиками.

Большевики были вынуждены организовать эти выборы, ибо самый октябрьский переворот был совершен ими под популярным в широких народных массах лозунгом ускорения созыва Учредительного Собрания. Казалось, что произведенная большевиками, на другой же день после совершенного ими переворота, раздача земли крестьянству, могла обеспечить им поддержку этого, самого многочисленного в стране, класса. Поэтому — в первый и в последний раз за всё время существования большевистской диктатуры — большевики решились организовать свободное голосование народа.

Но это голосование показало, что коллективное правосознание большинства крестьян осталось после октябрьского переворота так же враждебно большевизму, как оно было и до этого переворота. Выборы в Учредительное Собрание превратились во всенародное осуждение захватчиков власти. На этих всенародных выборах партия социалистов-революционеров, вместе с ее разветвлениями в среде национальных меньшинств, несмотря на то, что диктаторская власть объявила ее врагом

народа, получила 58 процентов всех поданных голосов. А большевистская партия, пустившая в ход для привлечения голосов на свою сторону весь аппарат правительственной власти, огромные финансовые ресурсы и беззастенчивые демагогические посулы, не смогла собрать больше 25 процентов голосов.

Это Учредительное Собрание, олицетворявшее волю народа и выбравшее своим председателем В. М. Чернова, отвергло, конечно, требование большевиков признать установленный ими режим и было, в первый же день своего созыва, разогнано большевиками. Но тот исторический факт, что единственное допущенное при большевистском режиме свободное волеизъявление народа было направлено против большевистской тирании, оставил глубокий след в сознании всего цивилизованного мира.

И. Церетели

КОММЕНТАРИИ

1. «ЦЕНА РЕВОЛЮЦИИ»

Под таким заглавием вышла в конце прошлого года чрезвычайно интересная книга известного английского историка Брогана*. В ней сделана попытка определить — конечно, с весьма приблизительной точностью — во что обходятся человечеству революции нашего времени. При этом Броган имеет в виду не только социально-политическую революцию, но и другие: промышленную, национальную (включая антиимпериалистические движения в колониях), религиозную и, наконец, революцию в международных отношениях (т. е. главным образом превращение Соединенных Штатов в мировую державу).

О таком расширении темы можно, пожалуй, пожалеть. Прежде всего потому, что каждая из этих «революций» могла бы явиться более чем достаточным предметом для отдельного обсуждения. В сравнительно небольшой по размерам книге (в ней меньше 300 стр.) автору пришлось быть весьма лаконичным. При своей огромной эрудиции и оригинальном уме Броган сумел высказать много очень интересных соображений по всем этим вопросам, но ни одно из них не развито с достаточной полнотой. Многое лишь намечено, и часто автор скорее ставит проблемы, чем их решает. Помимо того, объединение всех этих исторических явлений под общим понятием «революции» едва ли может способствовать дальнейшему уяснению этого, как известно, спорного термина. В прошлой книжке «Нового Журнала» М. В. Вишняк упомянул о том, что в Германии был созван специальный съезд социологов для выяснения «сущности революции». Мне неизвестно, к каким выводам пришли эти социологи, но я давно уже чувствую, что в целях ясности — и независимо от всяких философских или социологических соображений — следовало бы ограничить применение термина «революция» к одному вполне конкретному исто-

* D. W. Brogan, "The Price of Revolution", 1951.

рическому явлению: **на с и л ь с т в е н н о м у** перевороту, преследующему политические или социальные цели. Под это определение не подойдут, конечно, ни, так называемая, промышленная революция, ни изменения в международной или духовной жизни человечества, ни даже такие явления, как национальное освобождение или разрушение империй. Всё это длительные эволюционные процессы, уже затянувшиеся на несколько столетий и еще далеко незакончившиеся. В них могут быть отдельные драматические моменты, они могут вести к самым радикальным переменам, но это еще не делает их революциями. Во всяком случае они остаются качественно отличными от того метода политических действий, который мы обычно представляем себе, когда говорим о революции. Могут сказать, что это обывательское представление о революции, но в данном случае я считаю, что обыватель прав: для меня это единственное методологически плодотворное применение термина. Иначе стирается грань, отделяющая эволюцию от революции, и мы оказываемся в тех сумерках, в которых все кошки кажутся серыми. Тогда и становятся возможными такие, на мой взгляд, логические абсурды, как придуманная покойным Ласки «революция по соглашению» (*revolution by consent*). Там, где есть соглашение — нет нужды в революции.

На одной из первых страниц своей книги Бруган упоминает об одном небольшом, но показательном факте: в конце 19-го века были на западе радикалы, которые в переписке с друзьями подписывались: «Ваш во имя революции». К этому он делает такое замечание: «Человек, который подписывал бы свои письма «Ваш во имя войны», был бы сочтен за сумасшедшего или за такого патологического милитариста, какого трудно было бы найти даже в Пруссии». Сопоставление, делаемое Бруганом, весьма поучительно. В конце концов, революция тоже есть война и притом даже худший вид войны — война гражданская. Между тем, тогда, как война в демократических, либеральных и радикальных кругах обычно подвергалась осуждению, идея революции сохраняла ореол некоторой «респектабельности», а нередко вызывала даже энтузиазм. Бруган видит истоки этой психологии во второй половине 18-го века, когда, по его словам, революция стала своего рода «постоянным учреждением» (*acquired the status of an institution*). Было бы чрезвычайно ценно, если бы какой-нибудь компетентный исследователь истории идей проследил изменение отношения к феномену революции на протяжении веков — насколько я знаю,

такой работы в исторической литературе нет. Но и без такого обстоятельного исследования достаточно ясно, что положительное отношение к революции есть явление нового или даже новейшего времени. Кажется, его никак нельзя обнаружить ни в классической древности, ни в средние века. Для античных политических мыслителей и историков революция всегда была злом. Один из самых ярких примеров этого отношения можно найти в тех знаменитых страницах у Фукидида, где он говорит о революционных движениях в различных частях Греции во время Пелопонесской войны, которая и вся в целом представлялась ему как братоубийственная гражданская война. Это — картина распада всех общественных связей и глубокого, как политического, так и морального упадка. Такое отношение к революции можно признать господствующим в античной мысли, греческой и римской одинаково. Подобное же отношение господствовало и на протяжении всего средневековья. Даже и в первые столетия нового времени едва ли можно найти выражение взгляда на революцию как на явление не только неизбежное, но в какой-то мере даже желательное и исторически прогрессивное. Тогда были, как известно, течения, возникшие среди различных религиозных меньшинств, которые оправдывали восстание против установленной власти в тех случаях, когда эта власть нарушала божеские законы. Но не было попыток превратить это оправдание революции в своего рода систему, не было революционного пафоса и революционной романтики. Я готов утверждать, что даже и английская революция начала 17-го века, первая из больших революций нового времени, не явилась в этом смысле решительным идеологическим или психологическим переломом. Характерно, что в английской историографии ее редко называют революцией — она больше известна под менее привлекательным именем гражданской войны. Про главного ее деятеля Кромвеля можно сказать, что он был и сам ощущал себя революционером поневоле. Он напряженно и даже мучительно искал конституционного решения кризиса — и до начала гражданской войны, и в процессе войны, и после того, как пришел к власти. Несмотря на это, фигура Кромвеля долго оставалась отрицательной в глазах английских историков и политических мыслителей, всё равно принадлежали ли они к лагерю тори или вигов. Только во второй половине 19-го века пришла историческая реабилитация Кромвеля и признание его национальных заслуг перед Англией: для этого понадобились блестящее литературное дарование

Карлейля и выдающаяся эрудиция Гардинера. Когда же в конце 17 века произошло бескровное изгнание династии Стюартов и современники дали этому событию название «славной революции», то славной в их глазах она была именно потому, что в сущности совсем не была революцией: связи своей с гражданской войной и с Кромвелем они признавать не хотели.

Броган прав поэтому, когда он относит переломный момент к последним десятилетиям 18-го века (неправ он, по моему, только в том, что начинает его с американской, а не с французской революции; первая, на мой взгляд, была скорее войной за независимость, чем революцией, и во всяком случае не была еще революцией нового типа). Он не задается вопросом о том, что произвело эту идеологическую и психологическую перемену. Я понимаю, что ответить на этот вопрос чрезвычайно трудно и что он тоже подлежит еще тщательному обследованию. Здесь могли сыграть свою роль разнообразные факторы: ускоренный темп технологических изменений с их огромным и непосредственным влиянием на каждодневную жизнь всё большего и большего числа людей; рождение оптимистической теории прогресса (тоже явление недавних веков), поставившей знак равенства между новым и лучшим; влияние таких умственных и духовных течений как рационализм с его «социальной геометрией» или романтизм с его идеализацией всего стихийного; наконец, растущее давление со стороны народных масс с их социальными нуждами и притязаниями.

Как бы то ни было, факт остается фактом: только с французской революции идея революции приобретает, так сказать, нормативный характер, становится предметом веры, источником энтузиазма, лозунгом, знаменем, путеводной звездой. Знаменательно то широко распространенное увлечение революцией, которое, как это показывает Броган, овладело едва ли не большинством выдающихся европейских интеллигентов конца 18-го и начала 19-го веков. А одновременно шло создание мифа о революции, как об обетовании нового и лучшего мира, и на общественных низах — в особенности среди промышленных рабочих. Правда, за волной первоначального энтузиазма довольно скоро пришла волна разочарования. Революция не оправдала и не могла оправдать возлагавшихся на нее преувеличенных надежд (как правильно говорит Броган, никакая революция никогда не исполняет своих обещаний). Броган указывает на ту огромную цену, которую и Франции и всей Европе пришлось заплатить за революцию. Революция привела к

войне, ведшейся со стороны Франции сначала под революционным знаменем, а потом под водительством порожденного революцией Наполеона. Это была война, по размаху своему не имевшая подобных в 18-ом веке и уже предвещавшая тотальные войны нашего времени. Главная ее тяжесть пала на Францию. Помимо потери двух миллионов человеческих жизней — по тем временам огромная цифра — Франция понесла трудно исчислимый материальный урон, на несколько поколений задержавший ее экономический прогресс. Тяжелые раны, незажившие и до сих пор, были нанесены, по мнению Бругана, и национальной душе Франции: до наших дней воспоминания о терроре всё еще «искажают французскую историю и питают французские страсти».

Тем не менее миф о революции продолжал существовать: наверху — в писаниях историков и в творчестве поэтов, внизу (особенно во Франции) — в разных подпольных организациях радикального характера. В 1848 г. произошло кратковременное, но необычайно бурное и яркое, возрождение революционной веры. Эта эмоциональная насыщенность революции 1848 г. была в значительной мере усилена притоком того современного национализма, который и сам был порождением французской революции 18 века. В той же раскаленной атмосфере 1840-х годов родился, как мы знаем, и революционный марксизм. Поражение, которое потерпела революция 1848 г., нанесло тяжелый удар революционной вере и мифу о революции. Европа вступила в длительный, растянувшийся почти на 70 лет, период мирного эволюционного развития. Бруган прав, когда он говорит, что в момент своего появления Коммунистический Манифест был «столь же утопичен, как любая мысль Оуэна или Фурье». В то время нигде, кроме Англии, не было того пролетариата, который мог бы выполнить возложенную на него Марксом историческую задачу. А как раз в эти самые годы, с провалом чартизма, английские рабочие изживали свои последние революционные иллюзии. Выросший впоследствии английский социализм, по признанию одного из его участников, питался в большей мере религиозными идеями методистов, чем учением Маркса*. В иных формах и в ином духе, но по

* В какой мере это утверждение о религиозных элементах в идеологии английских лабористов сохраняет силу и для нашего времени, видно из недавнего заявления Кроссмана, одного из теоретиков левого крыла партии: «Как эволюционная, так и револю-

существу такое же перерождение революционного социализма произошло и на всем европейском континенте. Даже Парижская Коммуна, оставшаяся изолированным драматическим эпизодом, не сумела нарушить общего единообразия этой мирной картины.

Только через много десятилетий, и притом, как утверждает Бруган, «внезапно и неожиданно», пришел «свет с востока». Бруган высказывает очень интересную мысль о коренном различии в психологической реакции западного мира на две революции — французскую и русскую. Французская революция родилась в период надежд, оптимизма, ожиданий золотого века. Русская революция родилась в дни усталости, страха и разочарования, вызванных войной. Вот почему сильнейшим импульсом в той атмосфере сочувствия, которую создала на западе русская революция, была надежда на возможность скорого мира. В первоначальной своей стадии, шедшая из России зараза была прежде всего заразой пацифизма. Конечно, очень скоро, сейчас же после окончания войны, к этому присоединился и другой момент: широко разлившееся по всей Европе социальное недовольство. Но ведь и оно явилось непосредственным результатом войны — тех, тогда еще беспримерных, потрясений в экономической и социальной жизни народов Европы, которые эта война произвела.

Тем не менее, как ни сильны были факторы, питавшие иллюзии насчет благодетельности русской революции, с 1920 г., как правильно указывает Бруган, шансы на социальную революцию на западе были почти что сведены на нет. При всех благоприятных для них условиях и при всем динамизме собственных их усилий, большевикам не удалось завоевать массовую поддержку в западных странах. Более того, у них появился там неожиданный соперник. Бруган перечисляет несколько уроков, которые Муссолини и Хитлер получили от Ленина: 1) в государстве предварительно ослабленном агитацией, актами насилия и различными внутренними кризисами, власть может быть захвачена небольшим организованным меньшинством; 2) захватив власть, это меньшинство может держать ее в своих руках

ционная философия прогресса обе оказались ложными. В свете фактов гораздо более убедительна христианская доктрина первородного греха, чем фантазирование Руссо о 'благородном дикаре' или мечта Маркса о бесклассовом обществе». Под этим, пожалуй, мог бы подписаться и Достоевский!

до тех пор, пока оно остается достаточно объединенным и пока оно не ослаблено разложением в армии или поражением во внешней войне — согласие со стороны управляемых оказывается более ненужным. И еще один, более общий урок: оказалось, что среднего человека можно гораздо легче убедить отказаться от политической свободы в обмен на другие, реальные или мифические, блага, чем это обычно представлялось раньше.

Броган не говорит о том, что в исторической перспективе фашизм оказался не столько соперником, сколько пособником русского коммунизма. Кто, как не Хитлер, открыл Сталину дорогу в Европу? Именно фашизм создал в самом центре Европы атмосферу гражданской войны, а затем руками Хитлера вверг весь западный мир в войну, разросшуюся до мировых масштабов. «Порочный круг» исторических событий, казалось бы, очерчен достаточно ясно: не будь первой мировой войны, не было бы большевизма в России; не будь большевизма, не было бы национал-социализма в Германии, а не будь последнего, не было бы второй мировой войны. Всё, что мир пережил за последние десятилетия, есть выплачиваемая человечеством цена войны и цена революции. О цене, которую пришлось выплатить русскому народу, в статье, обращенной к русским читателям, распространяться как будто не приходится.

2. ДВЕ ДЕМОКРАТИИ

Мы так привыкли к противопоставлению тоталитаризма и демократии, что выражение «тоталитарная демократия» может показаться нам либо бессмыслицей, либо чем-то вроде того пропагандного трюка, каким нам неизбежно представляется термин «народная демократия» в его теперешнем коммунистическом употреблении. А между тем серьезный и талантливый ученый только что издал обстоятельное исследование о «происхождении тоталитарной демократии»*. Автор этой работы Талмон — уроженец Польши, но образование свое закончил в Англии, а сейчас состоит профессором новой истории в Еврейском университете в Иерусалиме. Книга его вызвала к себе очень большой интерес в Англии и получила уже высокую оценку со стороны историков-специалистов. Один из главных тезисов автора заключается в том, что современный тоталитаризм (в своей работе он имеет в виду только его левую, т. е.

* J. L. Talmon, "The Origins of Totalitarian Democracy", 1952.

коммунистическую, разновидность) не является совершенно новым феноменом и не лежит за пределами западной традиции, а имеет своими истоками те самые идеи 18-го века, которыми питалась и демократия, ныне преобладающая на западе. Самая идея о том, что западная демократия не была однородной, что в ней были разные, отличные друг от друга и иногда друг другу враждебные, течения — не является, конечно, изобретением Талмона. До него об этом писали и другие авторы. Укажу, например, на замечания по этому вопросу в книге Де Руджиеро о европейском либерализме или в небольшой книге Карпа *“The Soviet Impact on the Western World”*. Но я нигде не видел такого ясного разграничения между двумя основными типами западной демократической мысли и столь богато документированной истории того из них, который Талмон называет тоталитарным.** По его мнению, оба течения начали с принятия одних и тех же постулатов: свободы человеческой личности и народного верховенства. Но в то время, как одно, в дальнейшем своем историческом развитии, в целом осталось верным обоим этим принципам, хотя на практике и не всегда удачно их применяло и согласовало, другое, почти немедленно после своего зарождения, подвергло их такому искажению, что они фатально превратились в собственную свою противоположность. Подобно Шигалеву из «Бесов» Достоевского, которого Талмон странным образом даже не упоминает, представители этого течения по внутренней диалектике своих идей, от постулата полной свободы пришли к абсолютному рабству.

Главную разницу между двумя демократиями, либеральной и тоталитарной, Талмон видит в эмпирическом характере первой и мессианском — второй. Для либеральной демократии политика есть область условных и преходящих ценностей, действуя в которой приходится сообразоваться с обстоятельствами времени и места и до известной степени итти ощупью (Талмон употребляет трудно переводимое английское выражение *“trial and error method”*) от одной задачи к другой, не задаваясь при этом никакими конечными целями. И отдельного человека и человеческое общество эта либеральная демократия берет в их конкретной данности, какими их сделала история, и не старается подчинить их абсолютным нормам. Либеральная демократия знает также, что область политики ограничена и

** Отмечу кстати, что Талмон обещает написать еще два тома. Один — посвященный периоду от начала до середины 19-го века и другой — от середины 19-го века до наших дней.

далеко не исчерпывает всей полноты человеческого бытия. Она признает таким образом законность существования целого ряда других областей личного и коллективного творчества, которые остаются вне сферы политики. Напротив, для демократии тоталитарной, с ее мессианством, в политике существует только одна, исключаящая все другие, истина, приобретающая таким образом абсолютный характер и тем самым требующая своего полного осуществления, т. е. ведущая к конечной цели, к какому-то грандиозному историческому апофеозу. В этой концепции политика также обнимает решительно все стороны человеческого существования, ни одна из которых не может быть оставлена без политического вмешательства.

Талмон начинает с анализа идей тех французских философов 18-го века, в школе которых были воспитаны деятели французской революции. Я не могу следовать за ним в этом анализе, но отмечу только некоторые основные идеи, в которых Талмон находит зародыш тоталитаризма. Огромное большинство философов 18-го века верило в «естественный порядок вещей», но естественным в их представлении было не то, что существует, а то, что должно существовать, в соответствии с лежащим в основе всего мироздания «естественным законом». Закон этот не только мог быть познан человеческим разумом, но и мог — и должен был — быть осуществлен в жизни путем рационального законодательства. Разум в союзе с государственной властью своими планированными, как мы бы теперь сказали, мероприятиями могли — и должны были — смести все накопившиеся с начала истории преграды на пути к осуществлению естественного порядка, после чего должен был начаться золотой век человеческого существования. Тоталитарные потенции этого построения достаточны ясны: в нем есть и идея о всемогуществе государственной власти, и признание законности только одной обязательной истины (естественный закон остается одним и тем же во все времена и для всех людей на земном шаре); наконец, оно логически ведет к признанию господствующей роли за просвещенной элитой, которая одна может обеспечить торжество разума.

В том же направлении шло и развитие другой основной идеи конца 18-го века — идеи «общей воли», выдвинутой Руссо в обоснование его теории народного суверенитета. И здесь, как и в случае с естественным порядком, это понятие приобретает нормативный характер. Для Руссо общая воля не есть просто средняя линия, получающаяся в результате компромисса между различными взглядами и различными интересами. Это

есть нечто объективное, стоящее вне всяких частных, личных или групповых, интересов и мнений и над ними господствующее. Не есть это и простое мнение большинства, арифметически подсчитанное, которому Руссо не раз противопоставляет «подлинную» общую волю. У Руссо нигде нет точных указаний на то, как эта подлинная общая воля может быть определена, но единственно возможным логическим выводом из его предпосылок является арбитраж просвещенной элиты, знающей лучше чем непросвещенный средний человек, в чем заключается его воля. И Руссо и другие проповедники естественного закона начинали с человеческой личности, о свободе которой они много и красноречиво говорили, но так как они искали человека, как такового, освобожденного от всех исторических наслоений, и оторванного от всех традиционно сложившихся общественных групп, то они стремились к разрушению всех промежуточных центров влияния и лояльности, власти и подчинения. В результате — голый и обезоруженный человек оставался в их схеме лицом к лицу с всемогущим государством. Нечто подобное произошло и с понятием свободы. Для философов 18-го века она не означала простого отсутствия принуждения, а рассматривалась как определенная система положительных ценностей, осуществленных в жизни. В конечном итоге и достижение свободы и осуществление народного суверенитета предполагали единомыслие и единогласие. Отсюда был только один шаг до мысли о «ликвидации» тех, кто не поддавался перевоспитанию и упорно отказывался понимать, в чем заключается его свобода и где лежит его подлинная воля. Свобода, лишенная самой своей сути, т. е. свободы выбора, переставала быть свободой вообще.

В дальнейшей части своей книги Талмон рассматривает историю французской революции в ее якобинской фазе, как попытку сделать практические выводы из этих философских построений. Во французской революции он видит первую тотальную революцию в истории, считая американскую революцию (в отличие от Брэгана и на мой взгляд совершенно правильно) простым политическим переворотом. С особенным вниманием останавливается он на психологии и идеях Робеспьера и Сен-Жюста. Оба они были ученики и поклонники Руссо, оба были проникнуты духом революционного мессианства, для обеих революция была средством к пересозданию мира и перевоспитанию человечества. У них не было никаких сомнений в том, что они обладают истиной во всей ее полноте и исключительности, равно как и в том, что только они и их сторонники выражают подлинную об-

щую волю. Они продолжали говорить о демократии и свободе (Талмон как будто даже допускает, что вполне искренно), но их концепция демократии и свободы не включала в себя ни права на оппозицию, ни идеи защиты личных прав, и в ней не было ни капли терпимости. В их представлении, как выразители подлинной общей воли, они получили бессрочный мандат от французского народа довести революцию до ее конечной цели и потому не нуждались ни в какой дальнейшей проверке своих полномочий. Якобинский режим заранее предполагался осуществляющим народные права и народную свободу и потому всякий, кто жаловался на лишение прав или на лишение свободы, тем самым оказывался в числе «врагов народа» (честь изобретения этого термина принадлежит французским якобинцам).

При «режиме свободы» (Робеспьер находил возможным говорить о «деспотизме свободы»!) партии сделались преступным анахронизмом; якобинцы же не были партией, т. к. они были «сам народ». Террор начался во имя спасения революции, а продолжался для утверждения «добродетели». Талмон не отрицает значения конкретных исторических обстоятельств в возникновении террора, но он совершенно прав, когда говорит, что применение террора неизбежно вытекало из самой якобинской концепции революции. Указывает он и на то, что террор продолжался и даже расширялся и после того, как серьезная опасность для якобинского правительства уже миновала. Число «подозрительных элементов» неуклонно росло. Преступными в глазах правительства стали не только «изменники» и явные «враги народа», но и все пассивные и индифферентные. «Если человек молчит, когда он должен был бы говорить, он уже подозрителен», заявлял Робеспьер. Ему же принадлежит изречение, что слово «юриспруденция» должно быть вычеркнуто из французского словаря — красноречивый комментарий к теории «революционной законности». С фатальной неизбежностью террор, начатый с «аристократов», перекинулся потом на буржуазию, на рабочих, на крестьян и, наконец, на членов якобинской партии. В ней начались чистки (тоже якобинское словечко!), обличения, покаяния, а потом пришли и казни.

От всего этого веет на нас чем-то очень знакомым. Столь же знакомой является и другая линия в развитии якобинской революции, ведущая к вождизму и единовластию. Талмон очень хорошо показывает, как заключенный в якобинской идеологии постулат единодушия логически вел к утверждению господства единоличной воли.

М. Карпович.

О «ВЕЛИКИХ СТРОЙКАХ» И «ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПРИРОДЫ»

Одна за другой разворачиваются с 1929 г. советские «исторические» кампании. Перевертывается весь экономический уклад. Перебрасывается, выбрасывается, наизнанку вывертывается человек. Как всё это кончится? В каждой из больших экономических кампаний, помимо применяемых в них отвратительных средств, всегда в самой цели было нечто, что от нее отталкивало. Так было, например, при строительстве Магнитогорско-Кузнецкого комбината. Зная подноготную проекта было ясно, что речь идет не просто о чугуне, стали, угле, а об организации на их базе военной индустрии. И не только для защиты страны, отпора возможному агрессору, а чтобы именно самим в удобный момент эту агрессию совершить. Ведь уже на IV съезде ком. партии в 1925 г. была вынесена резолюция: «держат курс на развитие международной революции», для чего «принимать все меры к усилению Красной Армии и Красного Флота».

Никакой симпатии не могло быть и к другой исторической кампании — насильственной коллективизации деревни. Вне зверских методов, которыми она велась, сама цель отталкивала. Было убеждение — его разделяли все правые коммунисты во главе с Рыковым и Бухариным, — что частное крестьянское хозяйство далеко не изжило себя, совсем не потеряло возможности дальнейшего и большего развития. И второе: его трансформация, его переделка, применительно к социально-экономическому «стилю», требованиям эпохи, имеет для осуществления богатый арсенал мероприятий технического, агрономического, кооперативного характера, а не загон крестьянина в колхоз. И вот, когда в конце 1950 г. стал известен план, так называемых, «великихстроек», а раньше того — «план преобразования природы», в этой очередной кампании, в самых целях ее, почуялось что-то новое, отличное от всех ее пред-

шественниц. План говорит о борьбе со злом степи, пустыни. О борьбе с засухой, суховеями. План мечтает о мощном увеличении пищевых ресурсов. У населения должно быть больше пшеницы, риса, сахарной свеклы, хлопка, овощей, фруктов, шерсти, кожи, всяких продуктов животноводства и птицеводства. Почуялось, что только в п е р в ы е действительно серьезно ставится вопрос о предметах широкого потребления, об условиях и возможности их создать в надлежащем размере. На эту тему, особенно с 1934 г., из коммунистического рта лавина пропагандных слов. Насквозь лживых, ибо в конечном счете этот несчастный предмет широкого потребления всегда оказывался задавленным чугуном, сталью, пушкой, танком, военным самолетом, всяким другим предметом, рассчитанным на человеко-истребление.

То обстоятельство, что на фасаде плана гвоздями прибито имя Сталина, правителя способного приготовить, употребим выражение Ленина, лишь «острые блюда», что весь план объявлен творчеством гениальной мысли «Отца Народов», — инстинктивно вызывает недоверие, подозрительное отношение к плану. Даже издали нельзя без отвращения, но вместе с тем без скорби, наблюдать за вольными и невольными холопами, обязанными ежедневно и ежечасно возглашать акафист в честь Сталина-зодчего, «Великого Преобразователя Природы». И всё же ценою громадного усилия необходимо побороть это законное недоверие. Надо пересилить себя и, отрывая от плана имя Сталина, отбрасывая всё, что неизбежно вносит в него варварский, антигуманитарный, деспотический, фараонский дух сталинизма, увидеть в плане крайне ценные стороны. Печально, если за деревьями, за сталинским частоколом, не увидят леса.

При знании советской специальной литературы легко усмотреть, что план вовсе не творение Сталина и Ко., а результат большого долгого труда советских ученых, инженеров, агрономов, геологов, биологов, ботаников, зоологов, географов, гидрологов, экономистов, статистиков, подготовлявших, разрабатывавших отдельные элементы плана, з а д о л г о до того, как за него, в целях самовозвеличения, ухватилась диктатура. И план не продукт мысли лишь за советский период, а естественное историческое развитие предшествовавшей работы русских ученых. Прав тот советский ученый, который, ссылаясь на труды А. И. Воейкова («Климат и народное хозяйство», 1892 г., «Воздействие человека на природу», 1894 г.), имеет

смелость заявить, что указания Воейкова ныне хотят осуществить «при проведении Сталинского плана преобразования природы». Есть еще одна сторона плана, обращающая на себя внимание. «Шагающий экскаватор», работающий на великих стройках на Волге и на Дону, нечто абсолютно новое, чего русская мысль до приобретения в 1928 году первого экскаватора в Америке, раньше не знала. Но в идеях плана «великих строек» — живет старина, отражение желаний и чувств многих предшествующих поколений. В Европейской части СССР план опирается на идею утилизации вод и силы течения Днепра, Дона, Волги. Но ведь о том, что этот Днепр, этот «тихий Дон», эта «наша матушка Волга» могут давать услуги бóльшие, чем те, что они оказывали, мечтали, думали не только ученые, а самые простые люди с давнего времени.

«Волга, Волга весной многоводная,
Ты не так заливаешь поля...»

«Матушка Волга» не так, а по иному должна заливать поля и луга. Как? Весною 1914 года пишущий эти строки ехал из Казани в Спасский затон, чтобы за селом Успенским осмотреть остатки древнего «Великого Булгара», столицы волжских болгар в 10-15 веке. Было половодье. К Успенскому пришлось не идти, а ехать на лодке. От устья Камы разливанное море, всё неузнаваемо изменявшееся. «Каждый год, сказал нам капитан парохода, наблюдаю эту картину и всё думаю — сколько воды зря пропадает! Хорошо бы паводок з а м а г а з и н и т ь, а когда сушь и жара наступят, его из магазина по мере нужды выпускать. Говорят, что такая штука вполне возможна». Что эта «штука» возможна, это несколько позднее, в 1918 г., нам усердно и страстно доказывал В. А. Ржевский, депутат четвертой Государственной Думы. И вот теперь это будет осуществлено. «Магазин» паводка будет у плотин строящихся гидроэлектростанций. Показавшееся тогда столь странным выражение «замагазинить паводок» теперь в разных вариациях — например, «магазин влаги», — мы находим в терминологии советских изданий. Еще одно воспоминание, относящееся к лету 1899 года. С парохода, приближавшегося к Астрахани, пришлось с некоторым удивлением увидеть на выжженных солнцем берегах верблюдов. Картина для жителя центральной России необычная: «Удивляться этому нечего, — заметил старый казак. Тут такое безводье, что один верблюд его может вынести. А вот мой дед говорил, что когда-то в этих краях

и реки были многоводны, и леса были, и трава росла густая по пояс. Эх, как-бы Волгу повернуть так, чтобы по степи она воду раскидала». Это теперь и хотят осуществить: Волгу «п о в е р т ы в а ю т» в оросительные каналы. Но не одну только эту реку хотели бы повернуть прежние люди. «Повернуть» Днепр, чтобы он напоил степи, — об этом смутно мечтали и украинский крестьянин. На эту тему, кажется, даже слагались сказки. «Повернуть» Аму-Дарью, чтобы она снова побежала по тем местам, откуда, лишившись воды, сбегал человек — так издавна мечтали и туркменские крестьяне. За помощью в этом деле туркмены обращались к Петру I.

В прошлом не могло быть дум о заводах Магнитогорском, шарикоподшипников, автомобилей, Балханском медеплавильном и прочих «звездах» индустриализации. О том же, что составляет сельскохозяиственную суть, земледельческую сторону плана «великих строек», — в прежней земледельческой России думало поколение за поколением, множество людей. Думали неясно, туманно, фантастично, ненаучно, нетехнично и всё-же думали. В этом смысле под планом великих строек — вековой строй мыслей, желаний и чувств. Указание на эту национальную черту (нужно ли пояснять?) не имеет ничего общего с националистической шумихой, с которой, скаля зубы (и непременно грозя Америке), сталинская пресса доказывает, что план великих строек может быть осуществлен только «великим Сталиным», что ни в одной другой стране мира таких величественных проектов не существует и, главное, существовать не может. Это всё дым, хвастливый угар. Недремлющая мировая ученая мысль сейчас стоит перед большим открытием, которое проблеме ирригации пустынь и степей способно дать абсолютно новое решение и совершенно затмить план «преобразования природы», проводимый в России. Изыскания в США показывают, что с помощью особой аппаратуры из пластической массы и пропускаемого чрез нее электрического тока возможно получение в неограниченном количестве пресной воды из соленой воды морей и океанов. Установка на их берегах таких очищающих от соли заводов и сеть идущих от них трубопроводов или каналов может принести пресную воду в самые обездоленные, засушенные пустыни.

В советском плане далеко не всё совершенно. Он не роза без шипов. Есть шипы и весьма серьезные, но это особая тема и пока мы ее касаться не будем. Нужно только заметить, что в

неразработанности и незрелости многих частей плана повинна не столько научно-техническая советская мысль, сколько насилье над нею, ее террористическое погоняние диктатором, укравшим работы специалистов и, подобно военным победам, их записавшим целиком только в свой актив. Предупредим, что излагая на нижеследующих страницах план великих строек, — мы опускаем экономические и технические детали, не рассматриваем ни деспотическую обстановку планопроектирования, ни объем и характер уже сделанной работы. Всё это заняло бы слишком много места. Наша задача ограничена: большое и сложное предприятие представить в наиболее простой и краткой форме, имея в виду, главным образом, читателей, которые не следят или мало следят за советскими газетами и совсем не читают советские специальные издания...

**
*

Волга в районе Куйбышева (быв. Самара) преграждается плотиной. В дно реки вбиваются шпунты, забор из стальных высоких свай, песчаная перемычка длиной в полтора километра, на десять метров поднимаясь над волжским дном, должна защитить производимые работы от весеннего паводка. Сооружение будет состоять из гигантской земляной плотины, водосливной бетонной плотины, гидроэлектростанции и системы шлюзов для судоходства. Уровень Волги, подпертый плотиной, подымается на 25 метров. Углубляясь, расширяясь, она образует обширное водохранилище площадью в 5000 квадратных километров. Влияние этого «подпора» проявится на верхних частях Волги вплоть до Чебоксар (607 километров от Куйбышева) и на Каме до устья Вятки. До сих пор в этой части Волги существовал лишь один мост у Батраков, построенный в 70-х годах инженером Белелюбским (длиной в 1435 метров), заслуженно считавшийся большим произведением технического искусства. Строющаяся плотина будет вторым мостом через Волгу. На ней будет проложена шоссейная дорога и железнодорожный путь. Тут вход в южно-сибирскую магистраль, строящуюся (трудом концлагерей) и отчасти уже построенную на трассе, идущей чрез Куйбышев, Магнитогорск, Акмолинск, Павлодар, Барнаул, Сталинск, Абакан (на Енисее) к станции Тайшет Восточной Сибирской дороги.

Гидроэлектростанция проектируется мощностью «около двух миллионов киловатт». Устанавливаемые на ней гидротур-

бины и генераторы в средний по водности год должны давать 10 миллиардов киловатчасов электроэнергии. Советская пресса, как хорошо выученный урок, постоянно твердит, что Куйбышевская станция будет самым большим гидротехническим сооружением, далеко оставляющим за собою все гидростанции в мире, в том числе те, что построены в Америке. Заметим по этому поводу, что гидростанция Болдэр-Дэм в США на реке Колорадо имеет мощность в 1.355 тысяч киловатт и ее преимущество пред Куйбышевской в том, что она существует уже двадцать лет. Гидростанция Бохарнуа в Канаде, мощностью в 1.500 тысяч киловатт, существует тоже 20 лет. Что же касается станции Грэнд-Кули в США на реке Колумбия, первая очередь которой в миллион киловатт установлена во время войны, ее проектируемая мощность — 1.900 тысяч киловатт. Почти такая же, что у Куйбышевской станции. Да, в конце концов, не в том дело будет-ли волжская станция больше Грэнд-Кули. Гораздо важнее сравнение общей массы электроэнергии. За весь 1951 г. в СССР произведено 102,7 миллиардов киловатчасов электричества, а в Соед. Штатах за один только декабрь 1951 г. — 34,3 миллиарда кч.

Гидротехнические сооружения у Куйбышева преследуют и разрешают, как принято в СССР выражаться, «комплексные» цели. Помимо электричества они дают транспортный эффект. Повышение плотиную уровня Волги, уничтожая препятствия, создаваемые мелями и перекатами, обеспечивая гарантированные глубины на весь период навигации, сделает возможным плавание без помех крупных судов. Утилизация механической энергии гидростанции для орошения — третья преследуемая цель. Предполагается с помощью насосов направить воду на орошение площади в миллион гектаров, главным образом, под пшеницей. Это должно резко повысить ее урожайность, падающую крайне низко от частой засухи, почти постоянных суховеев. Постановление Совета Министров говорит, что энергия Куйбышевской станции должна быть направлена на орошение «земель Заволжья», вероятно, имея в виду области Куйбышевскую и северную часть Чкаловской (Оренбургской). Однако, некоторые советские экономисты полагают, что энергия Куйбышевской станции позволит оросить не только земли Заволжья, но одновременно и часть областей Правобережья Волги — северную часть Саратовской области, юго-западную часть Ульяновской (Симбирской) и часть Пензенской. Ни точного определения орошаемой терри-

тории, ни технически разработанного плана оросительной сети — еще нет. Насколько нам известно, в среде, близко стоящей к проведению плана, идет скрытая борьба за распределение и назначение будущей электроэнергии от Куйбышевской станции. Из ее общей массы Политбюро назначает 1,5 миллиарда киловатт-часов на орошение, 2,4 миллиарда в районы г.г. Куйбышева и Саратова, а остальную часть 6,1 миллиарда киловатт-часов, т. е. 61 % всей ожидаемой электроэнергии приказывает «передать в Москву». Подобного распределения энергии специалисты не предвидели. Сведующие люди говорят, что таков приказ диктатора. Москва — где живет «светоч» мира — должна изобиловать электричеством, быть *ville lumière!* Тут специалистам придется сильно поломать голову. Перенос указываемой массы электроэнергии из Куйбышева в Москву на расстоянии 900 километров не простая техническая задача. Напряжение в линиях электропередачи вместо применяемых в СССР — 220 тысяч вольт, должно быть доведено до 400 тысяч вольт, а советская электротехника к этому совсем неготова. Не удивимся, если при неудачных попытках решить проблему кое-кто из электротехников очутится на Колыме. Советский спец одновременно кандидат в лауреаты сталинской премии и на ввержение в концлагерь.

В отличие от Куйбышевской станции, строящейся на правом берегу Волги, Сталинградская появится на левом. Она несколько меньше первой (1.700.000 киловатт), но рассчитывают, что она будет в состоянии производить тоже около 10 миллиардов киловатт-часов. Так же, как на Куйбышевской станции, чрез ее плотину пройдет и железнодорожный и шоссейный путь, следовательно, появится второй новый мост чрез Волгу. Плотина и здесь на 25 метров подымет уровень Волги, образуя «магазин воды», еще одно обширное водохранилище. Чрез Камышин, Саратов, Вольск оно дойдет до Балакова, — 584 километра вверх от Сталинграда. Из годового производства электроэнергии Совет Министров (Политбюро) назначает 2 миллиарда киловатт-часов на орошение и обводнение «земель Заволжья и Прикаспия», 2,8 миллиарда в районы Сталинградской, Саратовской и Астраханской областей, 1,2 миллиарда в районы Центрально-Черноземных областей и четыре миллиарда на передачу в Москву.

Вряд-ли можно этим цифрам придавать отверделое значение. Недостаточно построить электростанцию, нужно еще подготовить те места, куда пойдет ее электроэнергия, орга-

низовать ее прием промышленными, транспортными, сельскохозяйственными, городскими и сельскими потребителями. Это потребует времени и, вероятно, внесения серьезных корректур в намеченное производство, распределение и назначение электроэнергии. Доля электроэнергии, предназначенная для передачи в Москву, громадна. Некоторые специалисты осторожно намекают, что такая передача наносит ущерб нуждам орошения и нуждам вообще населения приволжских областей. Шесть миллиардов киловатчасов с Куйбышевской гидростанции плюс четыре со Сталинградской составляют половину 20 миллиардов киловатчасов, которые должны дать обе централи. От энергии проектировавшихся в 1938 г. в районе Куйбышева двух гидростанций (у Красной Глинки и Переволока) с производством в 16 миллиардов кч — предполагалось направить в Москву меньше 3 миллиардов киловатчасов — 19 % электропродукции станций. Этот процент в 1950 г. повышен до 50!! Диктует не экономика, а политика — престиж Москвы, города «показа» и слово, в конечном счете, принадлежит не сведущим специалистам, а диктаторствующему люду.

Оросительная система при Сталинградской станции будет обширнее Куйбышевской. Шесть сот километров в длину глубокий многоводный канал, беря воду выше Сталинграда из подпертого плотиною водохранилища, протянется по Заволжью, Западному Казахстану, Прикаспийской Низменности вплоть до Урала. Он появится в местности, где всё гибнет от жестокой засухи и суховеев. На севере района, в Чкалове, средняя годовая сумма осадков 390 мм., на юге, например, в Гурьеве, она только 160. В Прикаспии испаряемость в 3-4 раза превышает количество выпадающих осадков. Реки маловодны и летом высыхают. За последние 60 лет 20 имели не высокий, а только сносный урожай. В остальные годы, приходящиеся в большинстве на период с 1920 г., население бедствовало, еле собирая затраченные на посевы семена. «В некоторых районах Заволжья, — не так давно писала «Литературная Газета», — половина населения занята добыванием воды из колодцев, а когда колодцы пересыхают, нужно уходить на новое место. В Заволжье проявлялись тенденции переходить чуть-ли не на кочевое животноводство». Канал, заимствуя из Волги 400 кубометров воды в секунду, — этим бедствующим от засухи, безводья, местам должен принести новую жизнь. От него (канал называется Сталинградским магистральным) вверх и вниз пойдут отводные оросительные каналы, по предварительным

рассчетам, длиною не менее чем в две тысячи километров. На канале — он будет судоходным — установятся насосные станции, водосбросные сооружения, мосты, плотины, шлюзы. Хотя проектно-изыскательные работы, относящиеся к оросительно-обводнительной сети, связанной с Сталинградской станцией, повидимому, идут успешнее проектирования Куйбышевской оросительной сети, всё же далеки от того, чтобы дать окончательно разработанный план. В первоначальные проекты вводят крайне важные изменения и дополнения; о некоторых из них мы узнаем из докладов, прочитанных 26-28 марта 1951 г. на сессии Географического общества, посвященной проблемам Северного Прикаспия. Например, из доклада В. В. Иванова стало известно, что ирригационный план предполагает утилизацию, помимо Волги, вод еще двух рек — Большого и Малого Узеня, протекающих почти посредине междуречья Волги и Урала. Обе реки будут пересечены Сталинградским каналом и нижние их участки намечается использовать для подачи воды в обширные массивы Рын-песков и район Камыш-Самарских озер. Что же касается верхних частей, их близость к верховьям Иргиза позволяет подачу в них воды из Куйбышевского водохранилища, а приход этой дополнительной к Узеням воды, при постройке плотины на Иргизе, обеспечит орошение сыртовых степей, окружающих каспийскую низменность на севере.

Русская гидрология пользуется двумя терминами: обводнение и орошение. Цель первого — снабдить местность питьевой водой и промышленного назначения и, увлажняя землю, дать жизнь растительному покрову. Орошение требует значительно больше воды, однако, трудно определить какой-нибудь формулой количественное отношение между орошением и обводнением. Оно зависит от очень многих факторов. Предполагают, что при достаточном водоснабжении магистрального канала можно оросить «севернее канала» один миллион пятьсот тысяч гектаров, а в прикаспийской низменности, между Волгой и Уралом, обводнить около шести миллионов гектаров. Этим создаются условия для устойчивых урожаев зерновых культур и, прежде всего, пшеницы. Вода позволит ввести и развить здесь, на поливных полях опытных участков, посевы сахарной свеклы, дающей очень высокий урожай. Вода создаст прочную кормовую базу для животноводства, возможность иметь несколько сенокосов

за лето, собирать достаточное количество корма и содержать увеличенное стадо рогатого скота, овец, свиней.

Особо нужно остановиться на следующем районе. Несколько выше Сталинграда в Волгу впадает Ахтуба, на расстоянии свыше 500 километров текущая параллельно Волге. Пространство между ними образует долину, так называемую Волга-Ахтубинскую пойму, площадью около 2 миллионов гектаров. «По сумме тепла за вегетационный период южная часть поймы и дельта Волги близки к условиям долин Нила, Инда и Ганга. В них исключительно благоприятные условия для возделывания южных теплолюбивых культур». До сих пор превращению поймы в цветущий сельско-хозяйственный очаг препятствовало то обстоятельство, что паводковые воды Волги затопляли ее, образовывали множество «ериков» и «ильменей» (протоков и озерков). Вода, начиная появляться в конце апреля, достигала своего максимального уровня в конце мая-начале июня. Части поймы начинали освобождаться от воды только к июлю. На огромной площади, находящейся под водой, в течение самых важных месяцев нельзя было вести сельско-хозяйственные работы. А на освободившейся от воды земле круг культур был груб и крайне ограничен: до холодов оставался слишком короткий вегетационный период. Гидротехнические сооружения у Сталинградской централи должны коренным образом изменить положение. Сооружение плотины позволит задерживать и управлять паводковыми водами; плотина здесь, как и всюду, делается такой высоты, чтобы превысить уровень максимального паводка. Стихийному устремлению паводка и затоплению поймы можно положить конец. Ряд технических приспособлений и планомерно организованная оросительная сеть — позволят вести воду уже в нужном количестве и в нужные сроки. В пойме открывается превосходная перспектива для развития садоводства, бахчеводства, возделывания риса, сверх того — хлопка, сахарной свеклы, арахиса, кунжута, кенафа и других технических культур. Проф. Кувшинов (в «Социалистическом земледелии» № 29/IX 1950 г.), вероятно, прав, говоря, что при новой системе орошения Волга-Ахтубинская пойма может стать «чашей изобилия и украшением Прикаспийской Низменности».

Существенной частью плана «преобразования природы» в Заволжье, как и в других районах России, является лесонасаждение на полях колхозов и совхозов с целью «преодоления вредного влияния суховея на урожай, улучшения водного

режима и ликвидации процессов разрушения почвенного покрова (эрозии — смыва и выдувания почвы). Правительство требует, чтобы по всему СССР в течение 1949-1965 г.г. посадка леса была произведена на площади в 5.709 тысяч гектаров. Это мероприятие дополняется созданием восьми крупных государственных лесных полос. Три из них будут в Заволжье: одна, длиною в 980 километров, протянется по берегу Волги от Саратова до Астрахани, другая, длиною в 580 километров, пойдет от Чапаевска (южнее Куйбышева) до Владимировки на Волго-Ахтубинской пойме, третья на Востоке — «лицом» к Казахстану. Она самая крупная, ее насаждение трудно, представление о ней дает образ других полос (более легких), говорить о которых мы не будем, тем более, что не все они находятся в интересующих нас местах, связанных с «великими стройками».

Восточная лесная полоса начинается на севере в районе горы Вишневой и города Орска. Ее длина — 1 0 8 0 к и л о м е т р о в. Это не просто лесонасаждение, а, можно сказать, «фараоновского» типа предприятие. Располагаясь по берегам реки Урал, полоса пройдет по территории четырех областей и, озеленяя пять городов — Орск, Новотроцк, Чкалов (Оренбург), Уральск, Гурьев, спустится к Каспийскому морю. Ее составят шесть лесных «лент» по три на каждом берегу Урала, шириною в 60 метров и расстоянием между ними от 100 до 200 метров, где накапливающийся снег и талые воды составят «магазины влаги». Лишь время определит, какой ассортимент древесных пород не погибнет, а лучше всего уживется в этой полосе. Для начала ботаники предложили в качестве главных пород дуб, березу, вяз, тополь, сосну, сибирскую лиственницу, в качестве сопутствующих пород — клен, липу, иву, ясень, в качестве заполнения между деревьями кустарниковые породы — акацию, бузину, жимолость, лох и некоторые другие.

Такая полоса должна стоять на крайнем восточном фронте как сторожевая армия. Ей предстоит первой встречать и своей «грудью» защищать Заволжье от злого, жгучего, убивающего поля суховея, налетающего из Средней Азии. Будущее покажет, насколько этот зеленый пояс выполнит возлагаемую на него задачу — быть эффективным ветроломом, антисуховейным заслоном, почвозащитной стеной. Знаем только, что сталинская диктатура, ухватившись за доселе ей неведомую идею о значении лесных полос, приказала их сажать

в спешном порядке. Ослушание невозможно; однако, из того, что приходилось читать о лесной Уральской полосе, видно, что посадка ее в пустынных местах, при неблагоприятных почвенно-климатических условиях, далеко не легкая задача. О препятствиях и трудностях ясно намекают доклады на последней сессии Всесоюзного географического общества. Не исключено, что во всякой засохшей березе или погибшем дубке диктатура усмотрит «акты вредительства» со всеми вытекающими отсюда ударами по агрономам, ботаникам, по колхозному населению в районах насаждения полосы. Ведь мы еще помним как Сталин и Ко. гибель скота от бескормицы во время засухи объясняли вредительской деятельностью «троцкистов», «правых коммунистов» и прочих «извергов», проводивших «массовое заражение колхозного и совхозного скота сапом, сибирской язвой и другими заразными болезнями и через скот заражавших людей» (см. доклад Андреева на XVIII съезде компартии, «Правда» № 14 марта 1939 г.). На знаменитом процессе в марте 1938 г., дирижировавшемся Вышинским, народный комиссар земледелия Чернов «признавался», что производил массовое заражение чумой колхозных свиней! Обвинение американцев, якобы, ведущих в Корею «бактериологическую войну», как видим, старый трюк.

**
*

Мы говорили до сих пор об орошении и обводнении Заволжья и левого Прикаспия. План ими не ограничивается. Обводнению подлежит и правая сторона Прикаспийской низменности от Волги до Терека. Большая часть этой территории до реки Кума еще недавно называлась Калмыцкой автономной социалистической республикой со столицей в Элисте. За проявление антикоммунистических чувств во время войны калмыки были истреблены, небольшие остатки народа выселены куда-то в Сибирь. Части указанной территории, без единого упоминания о калмыках, теперь фигурируют под другими названиями. На севере это Сарпинская низменность, южнее ее так называемые Черные Земли, еще южнее — Ногайская степь, идущая к Тереку. Что представляют собою эти края?

В Сарпинской низменности одна лишь река Сарпа, летом пересыхающая. Начинаясь недалеко от Сталинграда, к юго-западу протягивается на 160 километров цепь озер. Бывших озер — теперь они высохли. Двадцать лет назад озеро Цаца

было многоводно, в нем водилось много рыбы. Большая часть его ныне высохла. Недалеко от Цаца можно видеть еще недавно орошавшиеся сады и огороды. Их забросили. Волга близка, она омывает всю восточную сторону Сарпинской низменности, но в самой низменности нет воды. В ней есть грунтовые воды, они горькосолены и для питья не годятся. Почва солонцовата, однако, при достаточном увлажнении дает прекрасный урожай и на пастбищах, и на полях. Отсутствие воды, засуха, суховеи убивают сельское хозяйство: из 28 лет — 24 были годами полного неурожая. Сарпинская низменность занимает громадное пространство, с севера на юг тянется на 160 километров, но при безводьи на ней могло существовать лишь ничтожное по численности население.

Черные Земли изобилуют превосходными пастбищами, притом зимними пастбищами. Их растительность такого рода, что дает подножный корм скоту в течение всего года. Ее кормовая ценность очень высока. Для зимнего выпаса скот сюда пригоняется из Астраханской области, Сталинградской, Ростовской, Ставропольской, Дагестана, из Грузии. Волга и дельта омывают на протяжении свыше 200 километров Черные Земли, но территория этих земель «самая безводная в Западном Прикаспии». Чтобы получить воду, нужно рыть артезианские колодцы, а в большинстве их вода «сильно минерализована». Зимние пастбища могут получить полное значение лишь при условии, что летом будут заготовлены «страховые запасы корма на зимнее время». При отсутствии воды и постоянной засухе накопление летних запасов невозможно: летом трава засыхает.

Исключительной ценности пастбища находятся и в Ногайской степи, потому то с древних времен она и служила местом кочевого животноводства. В долине и дельте Терека, в которые упираются Ногайские степи, — ведется полевое хозяйство, сеется пшеница, хлопок, рис, есть сады и виноградники, всё это делается на небольшом пространстве. Вне его площадь между Тереком и Кумой, с севера на юг — свыше 150 километров, из-за недостатка воды используется до крайности слабо.

В Сарпинской низменности, на Черных Землях, в Ногайской степи, составляющих вместе площадь около 9 миллионов гектаров, находятся и естественные пастбища, и хорошие куски под поля. Земледелие без прихода туда воды невозможно. Поэтому постановление правительства возлагает на министерство сельского хозяйства производство изысканий, составление про-

ектов и выполнение строительных работ «по обводнению и выборочному орошению Сарпинской низменности, Черных Земель и Ногайской степи общей площадью около пяти миллионов пятьсот тысяч гектаров из рек Волги и Терека». С приходом воды эти три края, используемые в ничтожной степени, приобретут большую хозяйственную ценность. Их превосходным, ныне страдающим от безводья пастбищам вода даст устойчивую базу, позволяя во много раз увеличить стадо рогатого скота (мясной скот астраханской породы), овец каракулевых, тонкорунных-мериносовых, грубошерстных. Орошение впервые позволит ввести в большом масштабе посев продовольственных культур. «Здесьние почвы, пишет профессор С. Зонн, таят в себе огромные запасы потенциального плодородия. Даже на бесплодных в засуху солонцах при орошении и гипсовании почвы можно получать высокие и устойчивые урожаи», а гипса имеются неограниченные запасы у озера Баскунчак за Волго-Ахтубинской поймой. Особо большой результат нужно ожидать от орошения Ногайской степи на площади, примыкающей к Тереку, где в частности умножится посев хлопчатника. Опыты орошения свидетельствуют, что и в двух первых областях возможно (особенно вблизи Волги и ее дельты) возделывание хлопчатника, культуры, которой по ряду причин, связанных с международной политикой, особенно интересуется кремлевская диктатура. На землях от Сарпинских высохших озер до Терека жило и живет, как мы уже отметили, крайне редкое население; на них, как в далеком прошлом, почти господствовало кочевое животноводство. Орошение и обводнение совершенно трансформируют экономический уклад правого Прикаспия, придавая ему новый сельско-хозяйственный характер. Последний вызовет и потребует увеличения здесь рабочих рук, большой приток населения. Впрочем, не только в данной местности, а во всех районах «великихстроек» неизбежно произойдут великие демографические изменения, миграционные потоки, укрупнение городов, образование новых поселков, оседание населения там, где прежде оно было малочисленно. Центральные части страны относительно разрядятся, наоборот, степи Юга, за Доном, в Заволжье станут населеннее. Наклон к Востоку станет еще заметнее. Если бы вместо Сталина и Ко. страной правил демократическое правительство, оно тоже, в другой политической атмосфере, дру-

гими методами, водружало бы те же «великие стройки», ибо их диктует география, климат, экономика. Значит и демографические изменения были бы те же, но всё происходило бы «по европейски», без террора, азиатской эксплуатации, рабского труда, концентрационных лагерей. Что же касается вопроса, как в правом Прикаспии будет функционировать оросительно-обводнительная сеть, как ее будет обслуживать Сталинградская гидроэлектростанция, какие каналы пойдут от Волги, а какие от Терека — об этом сейчас писать преждевременно: на этот счет пока существуют только «наметки».

**
*

О третьей Великой стройке — новой организации Волжско-Донского пути — можно говорить не как о предприятии «имеющем возникнуть», а как, в своей главной части, уже существующем. Декрет о стройке появился 28 декабря 1950 г., но подготовительная работа на Дону велась уже с 1928 г. Прерванная войной, она возобновилась в 1948 г. и до конца 1950 г. по каким-то причинам велась втихомолку, без обычной советской шумихи. Зато с начала 1951 г. — взят изнурительный для строителей темп работы.

У станции Цимлянской Дон прегражден длиннейшей, в 13 километров, плотиной, частью из земли, частью из бетона. В ней шлюзы и гидроэлектростанция. Подпертый на 26 метров Дон образовал огромное водохранилище — «Цимлянское озеро», иные говорят — «Донское Море» — длиной в 180 километров и шириной (наибольшей) в 30 километров. Реконструкция реки, делая возможным появление на прежнем «Тихом» Доне во время бурь и шторма волн, будто бы даже в три метра высотой, — обязала предусмотреть устройство убежищ для судов и плотов. Цимлянское водохранилище будет обслуживать гидроэлектростанцию в 160 тыс. киловатт. Часть ее энергии пойдет на хозяйственные и общие нужды края, часть на орошение. В пустынных и засушливых частях Ростовской и Сталинградской областей оросят 750 тыс. гектаров и 2 миллиона обводняют. Орошение предназначается, в первую очередь, для хлопчатника и пшеницы. Оросительная и обводнительная система, состоя из распределительных каналов, общей длиной в 568 километров, покрывает густой сеткой всё левобережье Дона. Она опирается на Главный Донской Канал, длиной в 190 километ-

ров, забирающий из водохранилища 250 куб. метров в секунду. Оросительная сеть будет строиться постепенно; часть ее, обслуживающая 100 тыс. гектаров для хлопчатника и пшеницы, должна действовать уже в этом году. Орошаемая и обводняемая часть левобережья Дона, с целью прикрыть ее от суховея с Востока, со стороны Прикаспия, защищается лесной полосой в четыре ленты из дуба, ясени, вяза, тополя, белой акации. Длиною в 570 километров, она дугою спустится от Сталинграда вниз на юго-запад до Черкесска (быв. Баталпашинск).

Важнейшей частью реконструированного Дона является, конечно, Волжско-Донской канал. Идея соединения Дона с Волгою, по прямой линии отстоящих друг от друга лишь на несколько десятков километров, издавна гипнотизировала русскую мысль. Первая попытка соединить реки была сделана два с половиной века назад. Волжско-Донской канал, «перекоп», как тогда говорили, должен был, по приказанию Петра I, соединить приток Волги Камышенку с притоком Дона Иловлей. Съёмки всей местности были сделаны под руководством и при непосредственном участии Петра и адмирала Корнелия Крюйса. Положенные на карту, они вместе с картами «Меотского» (Азовского) моря и «Понта Евксинского» (Черного моря) составили ценнейший атлас того времени. На канале (к сооружению его было приступлено в 1701 г.) предполагалось для начала устроить шесть шлюзов («ворот»), в дальнейшем добавить к ним еще шесть. Строительство шло плохо. Первый построенный шлюз был сорван водой, строитель его полковник Бренкель, боясь гнева Петра, сбежал. Вместо 30.000 тысяч рабочих, чего требовали руководители работы, было лишь 15.000. Недостаток в рабочей силе, еще больше технические трудности, связанные с геологическими условиями местности, привели к прекращению работ и к попытке соединить Волгу и Дон в другом месте — через верховья Дона около озера Ивановского. В 1702 г. здесь было сооружено 24 шлюза, в 1709 г. к ним прибавлено еще 9. «На некоторое время была устроена коммуникация морей Азовского с Каспийским, но после этого работы прекратились». Мысль о Волжско-Донском соединении, пишет г. Шифрановский (в «Изв. Вс. Географ. Общества»), «продолжала волновать русских людей и в дальнейшем». В 1763 г. над планом возобновления работ в районе рек Иловли и Камышенки работала правительственная комиссия. В 1804 г. этот проект остается и для обследования снова берется район около озера Ивановского. В 30-х и 40-х го-

дах XIX века вопрос опять подвергается обсуждению. Во второй половине XIX века с проектами постройки канала выступают уже иностранцы, в их числе в 1884 г. французский инженер Леон Дрю. В 1910 г. технически разработанный проект соединения Волги и Дона составляет инженер Пузыревский. В 1928-29 г. в разработке проекта помогают немецкие специалисты и вот теперь это давнее желание осуществлено и, может быть, когда появятся эти строки — Волжско-Донской канал будет уже открыт для судоходства.

Начинаясь у Калача в верхней части Дона, где судоходная глубина от постройки цимлянской плотины увеличилась, канал длиною в 101 километр спускается к Красноармейску на Волге (б. Сарепта), тридцать километров вниз от Сталинграда. Часть канала — 56 километров — проходит по искусственному ложу, для другой части — 45 километров — воспользовались долиной реки Сарпы, речками Червленная и Карповка. Канал проходит чрез водораздел, возвышенность, поднимающую его на 88 метров над Волгой и 44 метра над Доном. На нем 13 шлюзов, рассчитанных на пропуск крупнотонажных судов; 4 из них от водораздела идут вниз к Дону, 9 вниз к Волге. Питание шлюзов будет производиться тремя насосными станциями, сооруженными на Донском склоне и перекачивающими 45 куб. метров воды в секунду. Пароход (плывущий, например, из Батума по Черному и Азовскому морю, дальше по Цимлянскому озеру, подойдет к порту Калач, через три больших водохранилища подыметесь шлюзами на 44 метра от Дона и отсюда (88 метров над уровнем Волги) по лестнице из 9 шлюзов спустится вниз к Красноармейску, где найдет — без этого же в СССР шага нельзя сделать! — изображение Сталина в виде статуи, возвышающейся над Волгой на гигантском постаменте в 40 метров вышиной.

Волжско-Донской канал, восклицает «Литературная Газета» (№ от 12 апреля), есть «прекрасное творение сталинского гения»! Весь путь по Дону и каналу снабжается портами, пристанями, перевалочными базами: полагают, что канал вызовет большие потоки грузов по новому направлению и з большим размере пассажирское движение. Со стороны Дона на Волгу двинется донецкий уголь, черный металл, марганцевая руда с Кавказа, северо-кавказский хлеб. Со стороны Волги придет прикамский лес, бумага, нефтяные грузы, автомобили из Горького и т. д. Перевозка тяжелых грузов водою, разумеется, де-

шевле, чем всякого иного рода транспортом. Волжско-Донской канал осуществляет связь всех морей СССР и Москва становится «портом пяти морей»: чрез канал, соединяющий ее с Волгой, можно водным путем проникнуть в моря Белое, Балтийское, Каспийское, Азовское, Черное...

**
**

Перейдем с Волжско-Донского канала на Украину, на стройку ее каналов.

Каждый год в половодье Днепр катит массу воды, скопляющуюся у бетонной плотины, построенной в Запорожьи гидроэлектростанции — Днепрогэс. Плотина подпирает уровень Днепра на 37 метров, образуется «гора» воды. Такой массы воды не нужно, чтобы вертеть гидротурбины станции. Громадный излишек пропускают чрез затворы плотины, он стекает в Черное Море, не выполняя никакой полезной работы. Нужно, как сказал нам когда-то капитан на волжском пароходе, «замагазинить паводок» и пустить его потом по степи. У Днепрогэса это и собираются делать. Задержанный плотиной паводок, по 600-650 куб. метров в секунду, будет влит в строящийся Южно-Украинский Канал. От Днепра канал пойдет на юго-восток к реке Молочной, где будет сооружено питаемое паводком водохранилище емкостью в 6 миллиардов кубометров, южный конец его упрется в г. Мелитополь. Отсюда канал повернет на запад и подойдет к Аскании-Нова, знаменитому заповеднику — ботаническому и зоологическому парку, созданному в 1880 г. Ф. Е. Фальц-Фейном. Расхищенный во время гражданской войны, заповедник потом был восстановлен. В каком положении находится после этой войны, что произошло с его страусами, ламами, антилопами, бизонами, зебрами, оленями, зубрами и бесконечным количеством птиц со всех концов мира — нам лично неизвестно. Те, кто бывали в Аскании-Нова, могли дать себе отчет, каких почти невероятных усилий потребовало устройство в этой совершенно безводной степи ирригации и небольшого озера в заповеднике. Память об этих усилиях совершенно сотрется, когда чрез канал и водохранилище на реке Молочной паводковые воды Днепра в изобилии приплывут к Аскании-Нова.

Канал тут не останавливается, идет на юг и чрез Сиваш входит в Крым. Под названием Северокрымского канала, пересекая Джанкой, он дойдет до Керчи. Как он «перепрыгнет»

через Сиваш — нам неясно. «Преобладает мнение — писала «Правда», — что вода побежит по специальному сооружению, поднятому на эстокадах — целая река на эстокадах!». Оба канала — Южно-Украинский и Северокрымский — вытянутся на 550 километров. От Аскании-Нова — Южно-Украинский канал пойдет не только на юг, — его колено, длиною в 60 километров, свернет на запад к Днепру, к Каховке, к строящейся гидроэлектростанции, мощностью в 250 тысяч киловатт и с годовым производством около 1,6 миллиарда киловатт-часов. Плотина станции, со шлюзами и железнодорожным путем, образует обширное водохранилище, хотя и меньшего объема, чем Цимлянское. (Каховское — 14 миллиардов кубометров, Цимлянское — 24 млрд.). Этому водохранилищу предстоит иная роль, чем магазину паводка у Днепрогэса. От того вода пойдет по каналам самотеком, тогда как из Каховского хранилища ее будут брать насосными станциями с помощью энергии гидростанции. От нее, от реки Молочной, от Джанкоя, развернется во все стороны сеть крупных отводных оросительных каналов общей протяженностью в 300 километров. В общей сложности на Украине и в Северном Крыму будут обводнены миллион семьсот тысяч гектаров и орошены миллион пятьсот тысяч. На Украине в областях Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской будет орошено 1,2 миллиона гектаров, из них 0,5 миллиона самотеком и 0,7 миллиона механической подачей воды. На севере Крыма для начала предполагается оросить 0,2 миллиона гектаров самотеком и 0,1 миллиона механической подачей воды.

Ценность такого плана, крайняя желательность и хозяйственная рентабельность его выполнения не вызывают у нас никакого сомнения. Не нужно быть агрономом, гидрологом, ботаником, достаточно побывать в степи за Евпаторией, проехаться от Джанкоя до Керчи, сделать прогулку к северу от Старого Крыма, чтобы «простым глазом» констатировать резко засушливый характер Северного Крыма. Не случайно эта часть полуострова никогда не была густонаселенной. Количество осадков, далеко не покрывая годового испарения, в ней гораздо меньше, чем на юге Крыма, притом осадки часто отсутствуют именно в вегетационный период. Почти полное отсутствие рек. На Керченском полуострове ни одной реки, ни одного даже маленького озера с пресной водой. Бурят колодцы, но часто

не находят воды или она соленая. В некоторые колхозы и промышленные предприятия воду приходится доставлять за десятки километров. В отличие от южного берега, где есть зелень, развито садоводство, виноградарство, табаководство, на севере почти нет садов, голая степь. Здесь ведется зерновое хозяйство, которое, вечно страдая от сухости, недостатка влаги, суховеев, — не дает того, что могло бы дать при орошении. «Вот почему с давних пор мысль была направлена к реке Днепру — ближайшей мощной водной артерии, могущей оросить степные просторы Крыма» и возможность использования его вод «является предметом обсуждения с 90-х годов XIX века» («Социалистическое Земледелие» № 23/XI 1950 г.).

Почти теми же словами можно охарактеризовать и южноукраинские степи. В них есть места, где годовое количество осадков падает до 200 мм. — это не Прикаспий, но что-то весьма на него похожее. Снежный покров неустойчив. Постоянное господство сухих ветров с востока нейтрализует влияние близких морей. За исключением главных рек — остальные маломощны, летом часто пересыхают. От Николая до Черного моря Днепр на левой стороне не имеет ни одного притока. Засуха, суховеи — на юге Украины постоянные гости. С 1887 г. по 1950 г. было 22 резко засушливых года, когда некоторые культуры гибли совсем, а основная культура — пшеница давала от 0,7 до 3 центнеров с гектара. При такой ситуации Южной Украины вполне естественно, что в ней, как и в степном Северном Крыму, мысль земледельца издавна тянулась к Днепру и в каком-то «приходе» оттуда воды видела защиту от засухи. И планы ирригации начали создаваться не со вчерашнего дня. «Еще сорок лет назад, напоминает г. Мельников, передовые инженеры и гидротехники предлагали план орошения южноукраинских земель».¹

**
*

Обратимся к пятой великой стройке, называемой Главным Туркменским Каналом.²

¹ «Правда» № 22/IX 1950 г. Пишущий эти строки, будучи студентом, слышал о них в 1901 году от профессоров Киевского Политехнического Института.

² В «Новом Русском Слове» (№ от 19 апр.) инженер-геолог П. Алексеевский сообщает, что «Туркменский канал строится по идее

Было бы правильнее его назвать «Великим Каналом». Возлагаемый на него комплекс задач, его «миссия» в труднопоко-ряемой географической среде представляется действительно великой. Выкачивая из Аму-Дарьи 350-400 кубометров воды в секунду, предполагается оросить и обводнить огромные площади от Аральского моря до Персидской границы. Так как обводнению подлежит и пустыня Кара-Кум, где горы «барханов», сыпучих, гонимых ветром песков, образуют гряды, похожие на застывшие волны океана, где царит адская жара, где количество осадков минимально и наблюдаются сухие дожди, т. е. вода испаряется в воздухе и ни одна капля дождя не достигает земли — выемка воды из Аму-Дарьи даже 400 кубометров в секунду кажется для увлажнения территории недостаточной. Впрочем, это только наше «дилетантское» соображение.. Гидрологам и ботаникам — честь и место! им принадлежит слово. Всё-же несколько непонятно — и тому мы не нашли объяснения — почему о заборе воды из Аму-Дарьи «до 600 кубометров в секунду» говорится лишь как о перспективе, тогда как для орошения и обводнения Украины (она ведь не Кара-Кум!) твердо намечено брать из Днепра 600-650 кубометров в секунду. Но будет ли взято 400 или 650 кубометров — общий план и задача стройки остаются одними и теми-же.

У Тахиа-Таша на Аму-Дарье, приблизительно в 160 километрах от впадения ее в Аральское море, устанавливается плотина, образующая, преграждая реку, водохранилище. У плотины гидроэлектростанция. Ее энергия будет перекачивать воды реки в Туркменский Канал. Вырытый экскаваторами, скреперами, бульдозерами, он от Тахиа-Таша пойдет на запад. Приблизительно в 400 километрах от своего начала канал протянется по ложу ныне высохшей, исчезнувшей реки — древнего Узбоя. Историки нам говорят, что об Узбое (под разными названиями) упоминали Геродот, Страбон, Плиний, а в XI веке много интересного сообщил Аль Бируни. Неизвестно, был ли тогда у Аму-Дарьи рукав в Аральское море, но несом-

профессора Маргуненкова». Однако в 30-х годах проф. Маргуненков — большой специалист и организатор — был расстрелян за, якобы, вредительские идеи, выразившиеся, в частности, в предложенном им проекте Туркменского Канала. Всё ценное в проектах «великих сталинских строек» создано учеными и специалистами, никакого отношения к коммунизму неимеющими. Сталин крал их идеи, объявляя себя их автором, а подлинных творцов планов — уничтожал.

ненно, что река чрез исчезнувшую сейчас Куны-Дарью текла на запад к существующим и поныне остаткам озер Сарыкамышской котловины, откуда шла к Каспийскому Морю. Не место пересказывать, что сообщают специалисты-ученые о геолого-исторических перипетиях, испытанных рекою. Ее исчезновение, разумеется, нельзя объяснить только злостными намерениями ханов Хорезма, преграждавших ход Узбоя (Окса, Аму-Дарьи) на запад, чтобы заставить туркменские племена, жившие по нижнему течению реки, «под угрозой голодной смерти подчиняться воле жадных властителей». Дату окончательного усыхания Узбоя определить трудно, но экспедиции (напомним об экспедиции в 1879-83 годах Глуховского) легко устанавливают,³ что русло Узбоя, хотя исковеркано обвалами, засыпано во многих местах песками, — остается сохранившимся и выражено с полной ясностью. Вот это обстоятельство и дало мысль вести Туркменский канал на протяжении не менее 700 километров по древнему руслу реки. Четыреста или еще лучше шестьсот кубометров в секунду воды, вливаемой в него из Аму-Дарьи, воскресят умерший Узбой, сделают его снова живым. Новейшая техника реставрирует старое положение, мечта же снова видеть Аму-Дарью, текущей на запад, «постоянно жила в нашем народе» — пишет туркмен Ш. Батыров, секретарь ЦК КП Туркменистана. Для подобного «поворота» реки на запад ей не нужно по старому заходить в Сарыкамышскую котловину и, наполнив ее, бежать к Каспию. Гидроэлектростанция, как уже сказано, вольет воду в очищенное, углубленное, в соответствии с новейшими нуждами, препарированное ложе Узбоя и, став судоходным, он понесется к пункту-терминус: Красноводску на Каспии. Там, как и всюду, пресная вода крайне нужна. Нефтяные прииски НебитДаг ее привозят изда-лека из Казанджика, а в Красноводск воду еще не так давно доставляли на пароходах из Баку, с противоположной стороны моря. Проектируемая гидротехническая сеть, связанная с Туркменским Каналом, огромна. В верхней части пустыни Кара-Кум на среднем Узбое, перехваченной двумя плотинами с гид-электростанциями, появятся два значительных водохранилища. От них, от других частей канала, от Тахиа-Ташской плотины, протянутся во все стороны крупные оросительные и обвод-нительные каналы общей протяженности в т ы с я ч у д в е с т и к и л о м е т р о в . Для обеспечения питьевой и тех-

³ В наше время с помощью фотоаэро съемки.

нической водой промышленных предприятий, железнодорожного транспорта, населенных пунктов, существующих и тех, что появятся — потребуется установить крупные трубопроводы общей длиной не менее тысячи километров.

Какую же площадь с помощью этой обширной сети предполагают оросить и обводнить? Орошение намечается в двух различных, далеко друг от друга отстоящих, районах. Первый можно назвать северным, находящимся внизу Аральского моря. Это Кара-Калпакская область («автономная республика»), необжитые части дельты Аму-Дарьи и под нею северные части Туркменистана, иногда называемые Западным Хорезмом. Здесь оросить предполагается 800 тысяч гектаров, главным образом, под средневолокнистый хлопчатник и его спутник в севообороте — люцерну (появление этого кормового ресурса создаст возможность увеличения числа скота). В Западном Хорезме превосходно видна когда-то существовавшая, ныне исчезнувшая, ирригационная сеть в виде безводных каналов и от них идущих ветвей — мелких оросителей. Г-н В. Минервин из Академии Ашхабада указывает, что «отдаленные районы Западного Хорезма оставлены человеком много столетий назад и там гораздо меньше его следов. Но чем ближе к современным колхозным полям Куния-Ургенчского района, тем больше встречаешь развалин и ирригационных сооружений и тем лучше они сохранились. В одном из крупнейших древних оазисов, в Уазе, окруженном барханными песками, водоснабжение и земледелие окончательно прекратилось лишь в 1905 году». Кровавым потоком пронесшиеся в XII веке по всей Средней Азии монголы, всё разрушая, уничтожая, сжигая, конечно, повинны в том, что после уничтожения каналов и орошения — это часто бывало в истории — места были покинуты населением. Но уход с целого ряда мест происходил и столетиями позднее нашествия монголов. Люди уходили с запада Туркмении потому, что их заносили горы барханного песка, потому что в оросительных каналах исчезала вода, в тесной зависимости от усыхания и исчезновения Узбоя. Если верить хорезмскому историку Абуль-Гази-Бeadур-хану, на которого ссылается г. Ш. Батыров, на берегах древнего Узбоя когда-то цвела жизнь.

«Весь путь от Ургенча до Абуль-Хана (Балхана) был покрыт аулами, потому что Аму-Дарья, пройдя под стенами Ургенча, поворачивала на юго-запад, чтобы направиться совсем на запад и влиться у Огурчи в Мезандаринское море

(Каспий). Оба берега реки до Огурчи представляли сплошной ряд возделанной земли и садов».

Другой район предполагаемого орошения находится в прикаспийской равнине юго-западной Туркмении. На западе его замыкает Каспийское море, на севере горы Большой и Малый Балхан, на востоке горы Кюрен-Даг, на юге река Атрек, пограничная с Ираном. Крупный канал, ответвляясь от Главного Туркменского Канала, должен проникнуть в эту местность. В правой части ее, защищенной Кюрен-Дагскими горами от каракумских суховеев летом и холодных восточных ветров зимой, и будет орошено около 500 тысяч гектаров. Климат местности таков, что при обилии воды здесь, по мнению специалистов (ссылаясь на г. Родина), есть возможность «почти непрерывной вегетации». Исключительно благоприятные условия для сельского хозяйства позволяют развить плантации особо ценного длинноволокнистого хлопчатника и субтропические, теплолюбивые культуры (лимонное и апельсиновое дерево, маслину, инжир, гранат, финиковую пальму). Вводимые посевы хлопчатника и те, что появятся на орошаемой площади в северном аральском районе, при успешности начинания (громадный вопрос о населении этих малонаселенных мест, о рабочих руках!!) могут составить не меньше миллион гектаров. Следовательно в перспективе новый район хлопководства с площадью по своей величине равной той, что находится под хлопком в Узбекистане и составляет почти 60% всей нынешней площади хлопка в СССР.

На югозападных равнинах Туркмении, могущих чудесно преобразиться от прихода воды, но в настоящее время «бесплодных, безлюдных и почти непригодных даже под выпас овец, имеются многочисленные памятники бывшей жизни и культуры». О погасшей жизни свидетельствуют развалины крепостей, жилищ, огромное количество разбитого кирпича и керамики. Цитированный выше г. Минервин указывает на развалины — крепостей поселков — Мешед-Мессериан, Рустем-Кала, Кайраки, Ярты-Кала, Илерки, Мадау и другие. «Во многих местах хорошо видны очертания огромных водохранилищ. Равнина была покрыта сетью каналов, следы которых отлично сохранились до нашего времени. Армии монголов в XIII веке разрушили поселки и крепости, нарушили водоснабжение и с тех пор эти места превратились в пустыню. Однако, и до монголов, видимо, из-за маловодья не было обширных полей и больших оазисов».

Так же как на севере — в Западном Хорезме, на южной прикаспийской низменности Туркменский канал создает нечто абсолютно новое, здесь небывшее, а, в сущности, в новой форме возрождает когда-то существовавшее, разрушенное людской дикостью, капризами природы, «гидрологическими» переворотами. Призывая к жизни земли, оставленные человеком, Туркменский канал как бы припаивает современную историю «Турана» к его прежней далекой истории, воссоздает между ними промежуточное звено, временно исчезнувшее. Это обстоятельство, вероятно, усилит интерес к своей национальной истории, ныне замечаемый у туркмен, как и у других народов Средней Азии и Казахстана. Но именно этого боится и не хочет коммунистический Кремль, стремящийся вытюжить всякую национальность до степени превращения ее в беспрекословно повинующуюся ему «коминформную безликость». Для себя он допускает «родство» и с Александром Невским и с Димитрием Донским, но грозит жестокими карами туркменам, если они помянут Абуль-Гази-хана или Аль-Беруни. История средне-азиатских народов, по убеждению Кремля, начинается лишь с момента появления там портрета Сталина.

Преобразование Туркменистана не есть только орошение 1,3 миллиона гектаров. Одновременно с ним с помощью воскресшего Узбоя предполагают обводнить семь миллионов гектаров пустыни Кара-Кум. Есть над чем задуматься! Обводнение должно создать в Кара-Кум пастбища, прочную кормовую базу, ныне в ней почти несуществующую. На всём громадном пространстве, относящемся к зоне влияния будущего канала, сейчас имеется меньше шестисот тысяч овец и коз, семьдесят тысяч крупного скота, около девятнадцати тысяч верблюдов. Обводнение, создавая корм, фуражные ресурсы, во много раз увеличит поголовье скота: коз, овец (каракулевых), крупного рогатого скота, лошадей, требующего иного корма, чем нетребовательные овцы и козы.

Для осуществления всех намеченных специалистами задач появление только канала недостаточно. Сухие ветры (а между горами Балхан они достигают силы урагана), пыльные бури, движущиеся горы барханного песка могут губить части канала. Гидротехнические сооружения нужно заслонить защитными, ветроломными, влаго-задерживающими древесными полосами. Нужно закрепить пески покровом — посадкой древесных, кустарниковых, травянистых пород. Постановление Совета Министров, опирающееся, конечно, на указание специалистов

(Молотовы и Берии ведь в этом не разбираются) говорит, что это нужно сделать на площади около «пяти сот тысяч гектаров». «Защитные лесные заслоны будут иметь ширину от двух и более километров и проходить по обеим сторонам главного Туркменского канала, его отводным оросительным и обводнительным каналам, по границам оазисов, вокруг промышленных центров и населенных пунктов».

Из статьи министра лесного хозяйства г. Бовина, помещенной в «Правде», представляется, что создать такой зеленый предохраняющий покров, как будто не такая уже трудная задача. Она решается посадкой саксаула, кандыма, лоха, пескоукрепительных трав — «эти древесно-кустарниковые породы являются быстрорастущими». Специалисты-ботаники слишком уж оптимистических речей не держат. Они более сведущи, чем советские министры, и более осторожны. Один из них пишет, что проектируемый зеленый пояс в пустыне Кара-Кум не есть парковое насаждение и не простое, как в других местах, «закрепление подвижных песков». «Это нечто совершенно новое. Опыта в осуществлении таких насаждений у нас нет. Здесь должны создаваться сложные насаждения с участием не только деревьев и кустарников, но и травянистых растений, подобных которым мы еще не знаем». Неразрешимой задача не является, но, видимо, зеленый пояс в Кара-Кум будет труднее насадить, чем Урало-Восточную лесную полосу...

Е. Юрьевский.

КНЯЗЬ С. Н. ТРУБЕЦКОЙ*

1

Князь Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905) — крупный религиозный мыслитель, большой русский патриот и видный общественный деятель. Он представлял (хотя эту сторону его облика далеко не все понимали) ту линию, следуя которой Россия могла бы избежать революции: линию мирного и свободного строительства, творческой традиции, черпающей силу из исконных духовных начал. С. Н. Трубецкой был одним из тех немногих людей, которые в политике мыслили не партийно, а объективно, которые несли в себе силу примирения. Было время, когда взоры, можно сказать, всей России были устремлены на Трубецкого. Но всё оборвалось его внезапной, трагической смертью.

С. Н. Трубецкой был не только либерал, но и охранитель нравственных и культурных, исторических устоев страны. Он внушал доверие царю, им восхищалась свободолюбивая часть русского общества и русской молодежи, его не любили те революционеры, которые стремились к ниспровержению исторических основ жизни страны, попирая ее святыню. Эту святыню Трубецкой горячо чтит. Он был убежденный христианин, который в своей вере черпал вдохновение и для своей педагогической работы среди молодежи, и для всего своего общественного служения. Он жил не абстрактными идеалами, а питался из источников живой Истины Божественной. Его свободолюбие было явлением морального порядка, оно питалось из его христианского мирозерцания, будучи вдохновлено убеждением, «где Дух Божий, там свобода». Поэтому духовная свобода человеческой личности была его идеалом и политическая свобода представлялась ему, — как он ни ценил ее, — лишь одним из условий, хотя в глазах его

* Эта статья в более обширном виде будет напечатана на французском языке в книге, посвященной истории рода кн. Трубецких, имеющей выйти в Париже. *Прим. автора.*

и чрезвычайно важным, для благоприятного развития и осуществления этой духовной свободы. Божественный Логос — Слово Божие, «Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир» (Иоанн, 1, 9) — вот источник его вдохновения и властитель его дум.

В лице Сергея Николаевича Трубецкого мы имеем попытку христианского деятеля выступить на общественное поприще. С. Н. Трубецкой это пример христианского мыслителя, спустившегося на арену политической жизни и пытавшегося внести в нее веяние примирения, более чистый, горный воздух. Его главная философско-историческая работа была посвящена Слову Воплощенному («Учение о Логосе» 1900). Этому Слову Воплощенному хотел он послужить и своей жизнью. Необычность и мощь духовного облика этого философа, христианина и патриота хочется не раз подчеркнуть, ибо на этом пути у него могут явиться последователи и через 50 лет — и в освобожденной, Бог даст, России. В этом — его значительность.

Это понимали многие выдающиеся его современники. Его друг и коллега по Московскому Университету профессор П. И. Новгородцев вскоре после его смерти пишет о нем: революционный путь, путь ненависти — будь то справа или слева — был глубоко неприемлем для Трубецкого. Он верил в завоевательную, победную силу добра. Он — «всей душой верил в возможность мирного исхода, и сила его была в том, что его горячее, искреннее слово и в других умело зажигать ту же веру. Верил и в то, что он найдет и скажет такие слова, которые всех убедят, перед которыми смирится и всемогущая власть и бушующая народная стихия. Это была иллюзия, скажут нам. Может быть. Но ведь иллюзией часто называется не только то, что никак не могло сбыться, но также и то, что просто не сбылось и что на самом деле было близко и возможно... Пусть это была иллюзия, но отчего же после его смерти все почувствовали, что в русской жизни что-то оборвалось и ушло безвозвратно, что какая-то лучшая возможность стала невысказанной, что у сторонников «мира» вырвано знамя из рук»¹.

И в другом месте той же статьи Новгородцев пишет: «Пусть это была иллюзия, но летописец наших дней должен написать на страницах истории, что во время русской рево-

¹ П. И. Новгородцев: Памяти кн. С. Н. Трубецкого, «Вопросы философии и психологии», 1906 г., Пр. 1, стр. 81.

люции с именем Сергея Трубецкого связана была вера русского народа в преобладающую силу правды и возможность общего примирения». И то же приблизительно пишет интимный друг Трубецкого, философ Лев Михайлович Лопатин, в брошюре, посвященной его памяти: «...кончина князя С. Н. Трубецкого без преувеличения может быть названа национальным горем... Что важно — он умел быть собою, умел остаться на своих ногах в такую эпоху, когда это было особенно трудно. Ведь при массовых движениях отдельная личность невольно тускнеет и растворяется в перекрестных внушениях сталкивающихся настроений. Между тем личность князя С. Н. Трубецкого никогда не раскрывалась с таким своеобразным блеском и с такою моральною красотой, как в эти последние, страдные месяцы его короткой жизни. Только тут он стал перед нами во весь свой могучий рост и в своей духовной непоколебимости. Он высоко держал знамя мирного и законного освобождения страны, и оно ни разу не покачнулось в его руке среди бушующей вокруг него нравственной бури».

2

Князь С. Н. Трубецкой родился 23-го июля 1862 года в родовом имении Трубецких Ахтырке, Московской губернии. Семья Трубецких (мать была рожденная Лопухина) и их родственники принадлежали к родовитой русской знати. Эта семья была носителем преданий моральных, культурных и религиозных, живой носительницей той духовной традиции, жизненной и творческой, которая жила и развивалась во многих старых русских культурных семьях и вдохновила много самого ценного из созданий русской духовной культуры. Семья родителей князя Сергея Николаевича была ярким и привлекательным образчиком этой духовной семейной культуры. В этой семье в первую очередь происходила встреча двух культур: — творческая встреча Запада и христианско-русского Востока, решающая для русской культуры девятнадцатого века. Этот синтез проявился во всей своей силе в таких семьях как Киреевские, Самарины, Хомяковы, он вдохновил русскую религиозную мысль, творчество Пушкина, Тютчева, Тургенева, Толстого.

Таким каналом, проводившим в семью веяние духовной жизни, была в первую очередь мать-христианка. Огромные духовные сокровища вложены ею в жизнь семьи; она была ее

незаметно всё проникающим и согревающим центром. Сила любви, исходящей от этой матери-христианки, бывала так велика, что она обогрела и близких и дальних, — не только ближайшую семью, родных и домочадцев, но и людей, случайно попавших под кров гостеприимной семьи, особенно одиноких, приезжих издалека, например, молодежь, лишенную семейного тепла. Такой, например, была мать братьев Киреевских, Авдотья Петровна Юшкова, в первом браке Киреевская, во втором браке Елагина. Такой матерью — руководительницей и наставницей была княгиня Софья Алексеевна Трубецкая, рожденная Лопухина. Ей, как истинной матери-христианке, было дорого не только физическое благополучие, но также — и притом с особой силой — духовное лицо ее детей, она неустанно вела их к добру, возмущаясь всем недостойным и злым, что искажало детскую душу. По этому поводу брат Сергея Николаевича, Евгений Николаевич, приводит в своих воспоминаниях следующий рассказ из их детской жизни: ...«вот, например, казалось бы, мелочь. Моя маленькая сестренка, кажется, Тоня, — ползает под столом после обеда и собирает крошки. Она знает, что это запрещено, и поэтому говорит: «Мама, отвелнись, я буду собирать крошки!» Мама указывает на образ и говорит: «Я не увижу, так Бог увидит»; а Тоня ей в ответ: «Пелвелни Бога».

Не помню, что сказала на это Мама. Помню только, что с этой минуты с какой-то необычайной силой гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных и самых сильных, — ощущение какого-то ясного и светлого ока, пронизывающего тьму, проникающего и в душу и в самые темные глубины мирские; и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие гипнотические внушения — самая суть воспитания, и Мама как никто умела их делать.

И, чем сознательнее, чем больше я становился, — продолжает Евгений Николаевич, — «тем больше этих золотых крупинок в моих воспоминаниях о ней... Помню, как у нас завелся обычай ей исповедываться каждый день в наших детских преступлениях. Помню, как она умела прохватить до слез и вызвать глубокое сознание виновности. Для тяжко провинившегося у нее всегда находились слова глубокого и пламенного негодования».

Семейная среда Трубецких была насыщена культурными ценностями. Здесь особенную роль играла музыка. Целый ряд самых выдающихся музыкантов-виртуозов того времени го-

стили некоторые подолгу — в Ахтырке. Знаменитый виолончелист Косман, Лауб, тогда один из первых скрипачей в мире, известный ученик его — Гржимали, виолончелист Фитценгаген и, в особенности, интимный друг семьи Трубецких — Н. Г. Рубинштейн. Музыка как бы пронизывала всю жизнь Ахтырки, говорит Евгений Николаевич Трубецкой в тех же своих воспоминаниях. Эта музыка оплодотворила души молодого трубецковского поколения, ею страстно жил отец, кн. Николай Петрович — один из учредителей Императорского Музыкального Общества и Московской Консерватории, пренебрегавший для музыки и для устройства музыкальных дел своими собственными делами. На почве музыки, на концертах Рубинштейна, он познакомился со своей женой, матерью Сергея Николаевича, также глубоко понимавшей музыку и увлекавшейся ею. Эти ранние музыкальные впечатления детства и юности обоих братьев-философов как бы предрасположили их души к тому, чтобы сосредоточенно «вслушиваться внутренним слухом» в ритм мысли.

Религиозные влияния — основоположные и решающие для Сергея Николаевича — подкреплялись близостью Троицко-Сергиевской Лавры (13 в. от Ахтырки), куда семья часто совершала паломничества.

Эти патриархально-религиозные традиции семьи подверглись искусу и были временно затемнены, когда, в шестом классе гимназии, обоих братьев, Сергея и Евгения, временно захватила волна материалистического позитивизма (оба брата поступили в 1877 г. в калужскую гимназию, когда отец их, значительно расстроивший свое состояние, был принужден взять казенную службу и был назначен вице-губернатором в Калугу). Это длилось недолго. Уже с последних классов гимназии оба брата начинают серьезнейшим образом увлекаться философией, прочитывают главные произведения руководящих мировых мыслителей. И в то же время пробуждается, лишь временно затемненная, горячая вера — христианская вера в откровение Божие миру в Единородном Сыне Своем, и всё сильнее и сильнее намечается основной путь для мысли обоих братьев. Центральным, вдохновляющим объектом философско-исторических и философско-богословских изысканий и размышлений князя Сергея Николаевича становится всё более и более Логос Божий (в более ранние годы София, Премудрость Божья). Он, творчески осуществляющий Свой план в создании и судьбе мира, Он — тот Разум, свет которого «во тьме светит и тьма его не объят», Он, этот Логос Божий,

источник и цель и основа жизни мира, и сокровенный его смысл, становится центром и его исторического бытия, центром земной, конкретной, человеческой истории — в Воплощении Своем. «Слово плоть бысть, и мы видели Славу Его»... — тема Иоанновского пролога, увенчивающего собою весь путь предшествующих религиозных исканий и религиозной мысли человечества — становится основной темой для Сергея Трубецкого. Он являет редкий пример мыслителя, захваченного одним основным, преобладающим созерцанием и старающегося жить согласно этому созерцанию.

3

В 1885 году кн. С. Н. Трубецкой, не совсем двадцати трех лет, окончил историко-филологический факультет Московского Университета и был оставлен при кафедре филологии для приготовления к профессорскому званию.

«Уже в 1886 году он выдержал экзамен на магистра философии, а в 1888 году начал читать лекции по философии в Московском Университете в качестве приват-доцента. В 1887 году он женился на княжне Прасковье Владимировне Оболенской. Жизнь его изменилась и еще более сосредоточилась на научных и философских занятиях. Между прочим, в течение последующих лет, он несколько раз ездил с своей семьей за границу и слушал там знаменитых профессоров по философии, истории, классической филологии и истории церкви. С некоторыми из них у него скоро установились дружеские связи, — например, с известным немецким богословом и историком Гарнаком и с замечательным современным филологом Дильсом. В 1890 году С. Н. Трубецкой защищал диссертацию на степень магистра под заглавием «Метафизика в древней Греции». Это сочинение сразу выдвинуло его в русской философской литературе, как глубокого мыслителя и очень оригинального исторического исследователя. В «Метафизике в древней Греции» со всею ясностью определилась наиболее своеобразная черта его исторических курсов по древней философии: все системы древне-греческой мысли он изображает, как естественные ступени роста и раскрытия единого и общего мирозерцания, которое было уже заложено в древне-греческой религии².

² Л. Лопатин, «Князь Сергей Николаевич Трубецкой», Москва, 1906 г., стр. 8, 9.

Прежде чем остановиться подробнее на его университетской деятельности, как ученого, лектора и педагога, коснемся еще некоторых других формирующих факторов, имевших большое влияние на Сергея Трубецкого. Во-первых, это — дружба с Владимиром Соловьевым, который был на девять лет старше его. В этих отношениях с Соловьевым было, наряду с сильным притяжением и сильным воздействием на него Соловьева, и некоторая доля определенного отталкивания от его образа мыслей. Оба брата Трубецкие решительно восставали против католицизирующей тенденции, резко и довольно внезапно обнаружившейся у Соловьева в середине 80-х годов. Об этом расхождении, не мешавшем всё более углублявшейся дружбе между ним и братьями, ярко повествует Евгений Трубецкой в своих «Воспоминаниях». Думаю, что не одна только «папистская» тенденция разделяла Трубецких от Соловьева. И «медумический» склад личности последнего, проявлявшийся потом жутким образом, и его подчас странная мистика, не лишенная иногда привкуса сублимированной чувственности (выразившейся в некоторых чертах его учения о Софии), того, что отцы-аскеты и мистики Восточной Церкви может быть назвали бы «прелестью», были чужды Трубецким. Эта опасная, псевдо-мистическая, эротическая струя соловьевства (имеющая, разумеется, у него отнюдь не решающее значение) ярко раскрылась у его эпигонов, особенно у ряда писателей символически-оргиастического направления (Андрей Белый, поэт Сергей Михайлович Соловьев, племянник философа, и др.), считавших себя учениками и продолжателями Соловьева. От этого элемента некоего духовного «гниения» и разложения, которые были, например, отчасти представлены незадолго до начала первой мировой войны в «Обществе Памяти Владимира Соловьева», резко и определенно отталкивался тогда кн. Е. Н. Трубецкой, вносивший струю трезвости и дух собранности православного благочестия в несколько взбудораженную и нездорово взвинченную, утонченно-чувственную атмосферу этих эпигонов соловьевства. Такую позицию занял бы и Сергей Николаевич Трубецкой, если бы был тогда в живых. С его трезвенным обликом не совмещалось ничто «исступленно-оргиастическое».

Для понимания всей духовной и культурной насыщенности личности Сергея Николаевича следует остановиться еще на одной очень привлекательной и значительной черте русской (в частности, московской) умственной и культурной жизни девятнадцатого века — на особенном таланте к ум-

ственному общению, к умственному и духовному взаимодействию, к «соборному» мышлению, где яркая индивидуальность одного из собеседников находит восполнение в тоже весьма ярких, но часто весьма различных индивидуальностях других собеседников. Таково было умственное общение в знаменитых в истории русской культуры кружках Веневитинова, Станкевича и в еще большей степени — в тех дружеских и оживленных спорах и беседах, центром которых были А. С. Хомяков, братья Киреевские, Ю. Самарин, а также ряд руководящих западников 30-х, 40-х и 50-х годов. В конце 80-х и первой половине 90-х годов таким же местом для собраний и самого живого обмена мнений был типичный для старой Москвы лопатинский особняк в Гагаринском переулке. Хозяин, видный деятель судебной реформы, Михаил Николаевич Лопатин, собирал у себя раз в неделю цвет московской культуры: тут были и виднейшие судебные деятели Москвы и ряд выдающихся ученых, профессоров Московского Университета — Ключевский, Герье и другие, и выдающийся педагог-новатор Л. И. Поливанов, основатель Поливановской гимназии, и деятели театрального мира. А в комнату наверху, в мезонине, где жил молодой философ, сын хозяина дома, Лев Михайлович, носившую название детской до старости и смерти Льва Михайловича, уединялись иногда от прочих гостей для страстных, яростных споров молодые философы — закадычные друзья сына: братья Трубецкие, Владимир Соловьев, И. Я. Грот. Тот же дух «соборного» мышления господствовал потом в основанном И. Я. Гротом, Лопатиным и Сергеем Трубецким при Московском Университете «Психологическом Обществе», одном из важнейших умственных центров Москвы конца XIX и начала XX века и в основанном позднее Сергеем Николаевичем «Историко-Филологическом Обществе», в период особенно бурный и тяжелый в жизни Московского Университета. Заданием «Историко-Филологического Общества» было пробудить в молодежи чувство ответственности перед Истиной и поставить научные и философские искания выше духа партийности, выше политики.

4

С. Н. Трубецкой был прирожденный педагог «Божьей милостью», если понимать под этим не только умение приучать молодежь к сознательной и ответственной работе, к самостоятельному мышлению (этим умением он обладал в

высокой степени), но, больше того, и дар зажигать молодые души искрой Добра и искания Высшей Правды. Проблески этой Высшей Правды он находил в многотрудных и разнообразных исканиях человечества и заставлял своих юных слушателей всматриваться вместе с ним в эти искания и ощущать вместе с ним трепет приближения к Правде, трепет созерцания правды. Это делало, например, его курс истории греческой философии глубоко воспитательным: он творчески, формирующе воздействовал не только на молодые умы, но и на молодые души. Мы имеем ряд воспоминаний об его университетских лекциях и его облике, как педагога, из уст его слушателей:

«Студентов поражала огромная эрудиция С. Н. По всякому, даже специальному вопросу, он всегда мог назвать целый ряд руководящих работ, давая им попутно характеристику и оценку. Внушая твердые принципы и строго научные методы, он не делал свое преподавание сухим и методичным. Кто бывал на его лекциях и особенно на его практических занятиях, никогда не забудет того искреннего воодушевления и захватывающего, проникновенного пафоса, с которым он говорил об основных моментах развития античной философской мысли и характеризовал ее величайших представителей. Он до того увлекал слушателей, что, по словам одного из них: «словно не существовало истории, словно пали хронологические преграды, и мы — в древней Элладе, которую с безграничной восторженностью рисует С. Н. Мы современники Фалеса, Ксенофана, Парменида. Их тени реют в притихшей аудитории: талантливый профессор сблизил античность и современность. Даже о необыкновенном, ярком, синем, густом воздухе Греции он умел говорить так, что на мгновение казалось, что видишь перед собой этот воздух»³.

С. А. Котляревский говорил, что он никогда не забудет лекции, посвященной Федону, в которой С. Н. смог поднять аудиторию до переживаний истинного пафоса — «это была уже не лекция, это был истинный гимн бессмертию»⁴.

Княжна Ольга Николаевна, сестра Сергея Николаевича, в своей ценнейшей рукописной биографии брата, до сих пор ожидающей издателя, прибавляет еще следующий эпизод:

«Вспоминаю, как однажды В. О. Ключевский, обедавший у

³ Розанов, «Князь Трубецкой». 1913, стр. 6. Цитировано в рукописных «Записках» кн. О. Н. Трубецкой, часть II: 1892-1900 гг., стр. 90-91.

⁴ Там же, стр. 91-92.

нас, полушутя, полусерьезно обратился к супруге Сергея Николаевича, Прасковье Владимировне:

— Я хочу вам пожаловаться на вашего мужа... Он не рассказывает вам, что он делает на женских курсах?

— Нет. А что?

— Да так нельзя обращаться с молодыми барышнями... И вы, Сергей Николаевич, пожалуйста, примите это серьезно к сведению. У меня есть курсистка, родственница, — я за нее отвечаю... Так, наемни, она вернулась домой, — я думал — разбалливается: надела платок, а сама дрожит, как в лихорадке. Поймите! От внутреннего озноба дрожит. Вы ее потрясли совсем, до основания потрясли. В ней целый переворот какой-то совершается. Не знаю, что мне с ней и делать! Вы серьезно не знаете, что вы творите! Так нельзя! — оборвал Василий Осипович, откидываясь на спинку стула»⁵.

Но это не было чисто эмоциональное воздействие яркого оратора, играющего на струнах человеческой души. Сергей Николаевич не был таким оратором; в нем подкупала его серьезность, скромность, его проникновенная, горячая простота, убежденность, его внутреннее стояние перед Истиною. Действовала сама его личность.

Большой педагогический талант С. Н. Трубецкого сказывался в его простом, радушном и теплом подходе к отдельному человеку, к отдельной душе. В частности, он проявил себя как крупный педагог в организации большой университетской экскурсии в 1903 г. в Грецию. В этой экскурсии приняли участие 139 человек, в том числе шесть профессоров (считая и самого Трубецкого, который был руководителем всей экспедиции). Константинополь, Афины, Елевсин, Коринф, Дельфы, Олимпия — вот главные этапы этого путешествия, длившегося около пяти недель. Роль С. Н. Трубецкого в этой экскурсии свидетельствует о его большом педагогическом таланте. Эта экскурсия была увлекательным и наглядным обучением истории древнего мира, истории древне-греческой религии, греческой философии и вообще культуры. Для многих участников она была решающим этапом в их культурном росте.

5

Но больше всего душа Сергея Трубецкого лежала к усидчивому, спокойному, творческому труду исследователя и

⁵ Там же, стр. 87.

мыслителя. Его влекло писать. Написанное им за его короткую жизнь всё же обнимает пять печатных томов, из которых один падает на политические статьи. Трубецкой, как ученый и мыслитель, дал меньше или, вернее, успел меньше дать, чем можно было от него ожидать. Но и то, что он успел написать, ценно.

Как писатель Трубецкой больше выступал, как историк идей, менее, как самостоятельный мыслитель. Его три большие работы: «Метафизика в древней Греции» (1890), «Учение о Логосе» (1900) и «Курс истории древней философии» (посмертное издание) — все работы исторические, по истории философии и религиозных идей. Но эти историко-философские труды не суть только ученый пересказ или однобокое исследование. Есть одна общая струя вдохновения, которая протекает через них: это, как мы уже видели, есть идея или, вернее, реальность — для Трубецкого это самая очевидная, живая реальность — Божественного Логоса. Трубецкой старается показать, как мысль человеческая в истории древней греческой философии развивается постепенно и перерастает свои односторонности, достигая всё большей глубины и размаха, но под конец не может справиться с бесконечно превосходящей ее силы задачей — адекватного восприятия Истины. Это могло произойти только в самораскрытии Божественной Личности, в откровении, данном в воплощении единородного Сына Божия. В том как раз и разница между Логосом Филона и Логосом Иоанна: там общая идея, абстрактная, бледная, двоящаяся, полная противоречий; здесь факт, реальная Личность, истинное, реальное явление Бога в мир, более того — во человечение: «Слово плоть бысть». Анализ филоновского учения о Логосе и сравнение его с Логосом в Евангелии Иоанна является одной из более мастерских и ярких частей, как бы ядром (этот анализ занимает около ста печатных страниц) второй большой книги Трубецкого: «Учение о Логосе».

У Трубецкого был и ряд теоретических работ по философии — ряд философских статей (некоторые из них весьма обширные), напечатанных в московском журнале «Вопросы философии и психологии». Важнейшими из них являются: «О природе человеческого познания» (1890), «Детерминизм и нравственная свобода» (1896), «Основание идеализма» (1896) и «Вера в бессмертие».

Л. М. Лопатин был о них высокого мнения, считая их многообещающими зародышами цельной философской системы, которую Трубецкой не успел развить, построить до

конца. В этих статьях есть острота мысли, сила критического анализа при разборе внутренних противоречий, как эмпирической (Юм), так и идеалистической (Кант, Гегель, неокантианцы) философий, есть умственное горение, стремление дать творческий синтез. Много у Трубецкого от того же Канта и того же Гегеля, но также от Шеллинга и Баадера и особенно от греков — Платона, Аристотеля, Гераклита, стоиков, Филона и еще больше от учения о Логосе IV Евангелия и от религиозной философии славянофилов (отчасти и от Владимира Соловьева). Вдохновляющей идеей для Трубецкого является идея вселенского разума, с которой связана внутренняя собранность нашего сознания. Личное сознание предполагает сознание общее, коллективное: в свою очередь коллективное сознание, как свою окончательную опору, предполагает сознание абсолютное, вселенский разум, от которого исходит всякая разумность на свете и который собирает и объединяет общими связями все отдельные умы⁶. Этот соборный характер познания не случайная черта — она восходит к основным законам мира. Основной закон мира — самораскрывающаяся любовь, источник и основа природной, изначальной нашей солидарности, заложенной в самом характере нашего познания и нашего сознания, несмотря на всю глубину нашего нравственного несовершенства и падения. К тому же приводит и рассмотрение проблемы нравственного закона в связи с нравственным состоянием человечества.

«Нравственный закон, в одно и то же время внутренне присущий человеку и внешний ему, живет в человеке и судит его. И чем глубже входит человек в свою совесть, тем больше проникается он благоговением перед идеальным содержанием этого закона и сознает всё свое несоответствие, всё свое противоречие с ним — во всяком деле, внешнем или внутреннем, во всяком отношении. Он не может уйти от закона, удовлетворить ему каким бы то ни было подвигом. И чем глубже сознает человек зло своей природы, тем сильнее в нем потребность к оправданию, искуплению и примирению с высшей правдой. Вместе с тем он сознает, что конечного примирения и оправдания он не может достигнуть сам собою, ибо он должен искать его лишь в совершенной любви. Только совершенная любовь может оправдать человека — полнота всеобъемлющей любви. Но эта любовь полная, совер-

⁶ См. «Вопросы Философии и Психологии». Кн. 1, 98, VI, 184 стр. Срв. статью Лопатина «Кн. С. Н. Трубецкой и его общее философское мирозерцание», «Вопр. Фил. и Псих.». Кн. 81, стр. 67.

шенная, заключающая в себе больше, чем всё, не есть природный инстинкт человека, или личный подвиг его воли, а благодать, независимая от него и вместе дающаяся ему»⁷.

Мы видим, как философская мысль Трубецкого, сильная и абстрактно и диалектически, стремилась, однако, как к своей конечной цели, к той полноте конкретного Добра, которое может удовлетворить и душу человека и явиться основанием для дела всей его жизни.

6

Политическая и общественная деятельность С. Н. Трубецкого была, повторяю, попыткой осуществить и во внешней, общественной сфере служение действенной, творческой Правде. Она шла, главным образом, по двум руслам: одно — в сторону достижения Университетом автономии и развития внутренне-свободной научной деятельности Университета, нестесняемой внешне навязанными бюрократически-полицейскими мерами. Другое — в области большой государственной политики за пределами Университета, где Трубецкой стремился в первую очередь к обеспечению свободы мысли, к свободе печати, к свободе честной и правдивой критики. Постепенно, отчасти под влиянием неудач в Японской войне и ошибок правительства, Трубецкой всё больше и больше становится либералом-конституционалистом, приверженцем либеральной конституционной монархии с действенным участием выборных представителей населения в государственных делах.

Летом 1899 года Трубецкой помещает ряд статей в «С.-Петербургских Ведомостях» в виде писем к редакторам, князю Ухтомскому и князю Цертелеву, в которых он усиленно ратует за свободу печати. Эти статьи Трубецкого читались нарасхват и произвели большое впечатление в Петербурге, в Москве и даже в провинции.

Но Россия начинает всё больше и больше вступать в полосу революционного брожения. Одним из сигналов его явились студенческие беспорядки 1901 года, когда московские студенты явно переключились с борьбы за академические цели на революционно-политический путь. Трубецкой резко осуждает это революционное движение в университете, но вместе с тем заступает перед министром за студентов, которые только за участие в сходках ссылались административным

⁷ «Вопросы Психологии и Философии», кн. VII, стр. 54-56.

порядком в Сибирь. В личном докладе министру народного просвещения Ванновскому (который об этих мерах министерства внутренних дел даже не был извещен) он указывает на неразумие этих тяжелых и огульных мер: они только подливают масло в огонь и содействуют росту революционных настроений. Одновременно, в связи с другим инцидентом, он напрягает все силы, чтобы оградить от несправедливого освидетельствования студентами, охваченными революционным духом, глубоко заслуженного в деле высшего женского образования в России, профессора Герье, основателя Высших Женских Курсов в Москве.

Атмосфера полицейского гнета, подавляющая ростки общественной самостоятельности и разумной свободы и больно ударявшая не столько по революционерам, которым эта близорукая политика правительства была наруку, сколько по элементам общественного строительства и, вместе с тем, и порядка, — эта атмосфера, сильно сгустившаяся в первые годы XX века, удручала Трубецкого. Но особенно тяжело стал он переживать, как большой и горячий патриот (его горячий либерализм сочетался с таким же горячим патриотизмом), русские неудачи в Японской войне — войне, в которую Россия вступила неподготовленной и которая в значительной степени была вызвана безответственной, легковесной и авантюристической политикой высших правительственных сфер. Жгучей болью поразил Трубецкого, как и многих других русских патриотов, позор Цусимского поражения. «Л. М. Лопатин, который был у брата, — пишет в своих воспоминаниях кн. О. Н. Трубецкая, — когда он получил по телефону первое известие о катастрофе, рассказывает, что он страшно побледнел и весь дрожал, голос его прерывался...».

Статья его об этом событии в «Московской Неделе» дышит горем и почти отчаянием. Перечисляя все пережитые нами поражения: уничтожение Тихоокеанской эскадры, Ляоян, Порт-Артур и Мукден, подробности о котором продолжали еще поступать, С. Н. пишет:

«Теперь совершилось последнее: у России нет флота, он уничтожен, погиб весь в безумном предприятии, исход которого был ясен всем. Умер ли русский патриотизм? Умерла ли Россия? Где ее живые силы? Ее исполинские силы, ее гнев и негодование? Или она разлагающийся труп, падаль, раздираемая хищниками и червями? Час пробил. И если Россия не воспрянет теперь, она никогда не подымется, потому что нельзя жить народу, равнодушному к ужасу и позору... Полгода назад еще раздавались голоса, говорившие, что по-

ражения на Дальнем Востоке не наши поражения, а поражения нашей бюрократии. Но можем ли мы, имеем ли мы право успокаиваться на этом, особенно теперь, когда наша армия разбита, когда русский флот уничтожен, когда сотни тысяч людей погибли и гибнут? Мы то русские или нет? Армия наша русская или нет? И, наконец, миллиарды, которые тратят, принадлежат России или бюрократии? И, наконец, самая бюрократия, самый строй наш, который во всем обвиняют, есть ли он нечто случайное и внешнее нам, независимое от нас приключение? Если причина в нем, то снимает ли это с нас наш стыд, нашу вину, наше горе, наш долг и нашу ответственность? Так, как мы жили до сих пор, мы больше не можем, не должны жить. Теперь всякое промедление в созыве народных представителей было бы не ошибкой, а преступлением».

Известно, как рука об руку с нашими неудачами на Дальнем Востоке нарастало в России сознание, что должны произойти перемены в смысле обновления строя в либеральном духе: приближение власти к народу и участие выборных представителей народа в управлении страной. И вместе с тем, наряду с либеральными течениями нарастала и революционная волна. Трубецкой чувствует себя всё менее в праве уйти в мирную научную работу от требований жизни, от ответственности своей, как гражданина и русского патриота. Он отрывается от своих любимых занятий и чутко присматривается и прислушивается к происходящему. Ввихренная жизнь этих напряженных годов стучится к нему в двери. Его притягивают, как большую общественную, культурную и нравственную силу и вместе с тем, как убежденного представителя либеральных идей, — к совещанию земских деятелей, начавшемуся в Москве с конца февраля 1905 года в связи с рескриптом царя Булыгину от 19 февраля того же года о призыве выборных представителей народа к участию в государственной работе.

Вот как описывает эти драматические дни сестра С. Н.: «Страшное возбуждение охватило все общественные круги. Организационное бюро земских съездов признало необходимым созвать общеземский съезд на 24 мая, в Москве, с целью выработать обращение к Верховной власти. К земцам решили присоединиться и городские деятели, так что съезд 24 мая был созван соединенным бюро этих организаций... Не будучи гласным, брат С. Н. не мог вступить в общеземскую организацию и принимал участие в майском коалиционном съезде лишь потому, что ввиду исключительных об-

стоятельств на этот съезд допускались общественные деятели по специальному приглашению объединенных бюро, а его присутствие особенно было желательно всем... Накануне съезда стало известно образование министерства полиции и назначение Трепова... Действие, произведенное этим актом на съехавшихся земских и городских деятелей, было таково, что многие решительно отказывались от какого-либо обращения к Государю, указывая на явную бесполезность этого, после совершившегося. В ответ на обще-народное бедствие — учреждение полицейской диктатуры, это была действительно какая-то безумная и опасная провокация... В соединенное бюро было внесено несколько проектов обращения к Государю, которые отвергались, и дело грозило распасться. И тем не менее патриотическая потребность объединиться в эту минуту величайшей опасности взяла верх, и призыв к единению, исходивший от Д. Н. Шипова и И. И. Петрункевича, оказал свое действие. Последний в горячей речи напомнил присутствующим, что у всех без различия партий есть обязанность не только перед Россией, но и перед Престолом, которому грозит опасность, что крушение Престола было бы гибелью для России, и что он сознает это тем сильнее, что сам, как и большинство собравшихся, является решительным сторонником конституционных реформ... После этой речи обращение к Государю было признано необходимым и С. Н. было поручено составить его текст, который, после двухдневных дебатов и поправок, был принят объединенным собранием, а затем была избрана и депутация для представления ее Государю.

Эти драматические события вынесли князя Сергея Николаевича, против его воли, на гребень волны. В дальнейшем опять буду следовать богатому живыми и конкретными подробностями рассказу его сестры О. Н. Она спешно вернулась в Москву из Франции, прочитав в «*Matin*» земский адрес царю и узнав про брата:

«Приехала я в Москву 1-го июня и дома узнала, что брат С. Н. с женой только-что выехал в Меньшово. Я собиралась уже ехать следом, как вдруг С. Н. вернулся. На вокзале его задержал Н. Н. Львов и сообщил только что полученную Головиным телеграмму: «Приезд Трубецкого необходим, желают принять»... Погода стояла очень жаркая. Сережа был утомлен и раздражен и всё повторял: «Я так устал, мне не дают отдохнуть. Зачем меня вытащили из вагона? Что я скажу Царю?.. Я не земец и ни к какому городу не принадлежу, в качестве кого я буду представляться?». Он мне рас-

сказывал, что в съезде не хотел принимать участия. Сначала к нему приехал Петрункевич и убеждал ехать к Новосильцовым (где происходил съезд), он наотрез отказался. Тогда Петрункевич вернулся и притащил с собой несколько человек со съезда, которые и уломали его. Он говорит: «Два дня был суший ад: жара, крик, шум». Под впечатлением Цусимы все были так радикально настроены, что первая редакция адреса, написанная Сережей, прошла лишь незначительным большинством. Сережа долго не хотел переделывать, но желание, чтобы адрес был принят единогласно, пересилило, он внес некоторые поправки, после чего только двое или трое не подписали... Его участия в депутации желали с обеих сторон. Государь, из представленного ему списка депутатов, указал сначала на четырех: гр. Гейдена, Н. Львова, Головина и Трубецкого. Когда Сережа прибыл в Петербург, там всё еще шли переговоры о составе депутации: гр. Гейден настаивал, чтобы приняты были все. Государь долго колебался, не решался, но наконец уступил, говорил по совету Трепова... Сережа только 3-го приехал в Петербург. По вечерам собирались у Петрункевича, где обсуждали, как и что говорить Царю. Все просили Сережу взять на себя роль лидера, говоря: «Лучше вас никто не скажет». ...Сережа не записал заранее того, что скажет Царю, и сказал, по его словам, лучше и сильнее того, что записал потом по памяти с помощью всех присутствующих... 5-го июня, вечером, делегатам было передано приглашение явиться в Петергоф, куда они выехали 6 июня в 11 часов утра. На станции их ждали придворные экипажи. По прибытии в Александрийский дворец их встретил кн. Путятин и гр. Гейден, которому они вручили свою петицию для передачи Государю. Затем к ним вышел барон Фредерикс и провел их в «комнату Александра II», где состоялся прием.

Сережа рассказывает, что когда Царь вышел к ним и он увидел его испуганное и взволнованное лицо и глаза («эти чудные, загадочные, огромные глаза с выражением жертвы обреченной») и нервные подергивания, ему стало страшно жаль его, жаль, как студента на экзамене, и захотелось прежде всего ободрить, успокоить его. Он невольно заговорил с ним ласковым, отеческим тоном.

Перед выходом Царя, депутатов много раз предупреждали, что Царь не любит «речей» и чтоб с ним избегали впасть в тон речи и говорили бы просто, в разговорной форме. Сережа так удачно попал в «тон» и говорил с такой горячностью и задумчивостью, что старик Корф плакал, а Ново-

сильцов и Львов говорили, что с трудом держались. Присутствовавшие рассказывают, что когда Государь вошел и стал поодаль, всех охватило чувство б е з д н ы, лежавшей между ними, но по мере того, как Сережа говорил, расстояние сглаживалось, выражение Государя стало меняться, он улыбался и поддакивал, особенно в том месте, где Сережа говорил п р о т и в сословного представительства. Государь ходил по комнате, Сережа также, сильно жестикулируя и вертясь, как он это делает всегда во время горячих споров, когда он убеждает...

Когда все речи были сказаны, Государь подошел к Сереже и с особенным чувством подал и тряс ему руку...».

Эта речь царю была самым видным актом в краткой общественной деятельности Сергея Николаевича: она сделала его известным всей читающей России. Он предстал пред лицом России, как представитель идеи примирения, как сторонник сближения царя с народом, осуществления необходимых реформ в духе истинного свободолюбия и вместе с тем и преодоления революционной смуты.

Вскоре, на основании записки об университетской реформе, поданной царю Трубецким, по желанию царя (через министра Фредерикса), была дана правительством широкая автономия университету. Эти «Временные правила» были опубликованы 27 августа 1905 года. 2-го сентября Трубецкой был в совете профессоров избран первым выборным ректором Московского университета, согласно новому уставу. Но ему оставалось жить ровно 27 дней. Он был бесконечно переутомлен. Здоровье было глубоко расшатано. «Всё лето», пишет его сестра Ольга Николаевна, «он страдал приливами к голове и какой-то особенной тошнотой. Лицо у него постоянно было красное и глаза красные, с каким-то особенным «склерозным» блеском... Боже мой! Как он был утомлен... Лежа и прерываясь, он рассказывал мне о всех событиях, без меня бывших, и всё повторял: «до чего я устал, до чего я устал!». По мнению врачей, у него была грудная жаба».

Разочарование в поведении студентов, в нормализации жизни университета глубоко его потрясло. Революционная волна, раз ворвавшись в университет, не хотела из него выходить, а Трубецкой считал, что ей там не место, что студенты должны учиться, что они должны заниматься наукой и работой, а не революционными забастовками и радикальными, ни к чему не обязывающими, безудержными словопрениями, готовиться к служению родине. А крайние, революционные элементы в студенческих массах в связи с революционными

элементами извне, занимались самоубийством университета — даже после дарования ему правительством свободы самоуправления.

28-го сентября в связи с непрекращавшимися студенческими волнениями Трубецкой выехал в С.-Петербург. 29-го сентября его не стало: с ним сделался удар в кабинете министра народного просвещения. Вот краткий рассказ о последних часах его жизни, — из записей сестры.

«Приехав в Петербург утром 29 сентября, Сергей Николаевич тотчас же отправился к министру, был им принят и больше часа рассказывал ему о последних университетских событиях. Ему было поручено советом Московского университета ходатайствовать о немедленном разрешении вопроса о праве собраний для всех граждан, чтобы вывести митинги из университета, при наличии коих занятия были немислимы.

Глазов очень внимательно его выслушал и просил принять участие в заседании комиссии по выработке университетского устава. Вышел он от Глазова, по словам очевидцев, очень усталый и взволнованным голосом сказал: «Много дела в Москве, очень устал, да и не удастся всё сделать, как бы хотелось»... На этом его прервали и опять пригласили к министру. Заседание комиссии было посвящено рассмотрению тех пунктов устава, где говорилось о студенческих организациях. Сергею Николаевичу пришлось много говорить, давая подробные разъяснения, оспаривать редакцию некоторых положений.

Было уже около 7 часов, когда Глазов, обратив внимание на крайнее утомление Сергея Николаевича и на то, что он говорит уже упавшим голосом и не совсем внятно, предложил закончить заседание... Тут он сделал движение, чтобы вручить министру несколько прошений студентов Варшавского университета о переводе их в Московский, причем сказал: «Карман мой полон такими прошениями... да, они будут довольны, они успокоятся...».

На этом вдруг с ним сделалось дурно, он побледнел, откинулся на спинку стула и, казалось, потерял сознание...

По рассказам присутствовавших, все страшно растерялись и, не зная, что предпринять, почему-то вынесли Сергея Николаевича из кабинета и уложили на диване в соседней комнате. Затем по телефону стали вызывать докторов, требовали карету «скорой помощи». Первое время Сергей Николаевич словно пришел в себя, и понимал, и говорил. Но все запомнили только одну фразу, которую он сказал вполне ясно: «Позовите княгиню... я в кабинете брата»...

В 9 часов вечера его в карете «скорой помощи» перевезли в Еленинскую клинику, где собрался консилиум врачей, но все усилия их были тщетны: в 11 часов ночи он, не приходя в сознание, скончался».

7

Образ Сергея Николаевича Трубецкого не только история: в нем сосредоточилась такая сила и такая чистота духа, что она действует и на протяжении десятилетий.

Трубецкой стоял на перепутье русской истории и зорко всматривался в бурно мятущееся будущее России и видел то, чего не видело большинство тогдашних либеральных и радикальных деятелей — надвигающийся ужас, кровь, разруху и гибель.

«Помню, — пишет его сестра, — как однажды, вернувшись из Москвы, утомленный и измученный, он в какой-то тоске метался по комнате, кидаясь то на диван, то на кресло, с какими-то стонами. На мой вопрос: «что с тобой?» он, с ужасной тоской во взгляде, отвечал: «я не могу отделаться от кровавого кошмара, который на нас надвигается».

Я с испугом всматривалась в его лицо, выражавшее ужас, отвращение и глубокое страдание.

Кошмары преследовали его по ночам. Помню один сон, о котором он не раз рассказывал при мне, всегда с одинаковым мистическим ужасом... Он видел себя ночью на вокзале, с чемоданами, у столба платформы в ожидании поезда. Горели фонари, и, при свете их, он видел огромную толпу, которая спешила мимо него. Всё знакомые, родные лица, и все непрерывно двигались в одном направлении к огромной, темной бездне, которая — он знал — там, в этой зале, куда все спешат и стремятся, а он не в силах им этого сказать, их остановить...»⁸.

Политической программой самого Трубецкого было мирное, свободное строительство, движение вперед и укорененность в духовном наследии предков, свобода и порядок, либеральные реформы, решительные и смелые, при сохранении связи с русской исторической традицией.

«Мы не порываем связей с историческим прошлым России» — писал он в статье «На Рубеже» в феврале 1904 года. — «Мы не отрекаемся от основ ее государственного величия, а хотим их укреплять и сделать незыблемыми. Мы не под-

⁸ Там же, стр. 92-93.

нимаем руки против Церкви, когда хотим освобождения ее от кустодии фарисеев, запечатавших в гробу живое слово. И мы не посягаем против Престола, когда хотим, чтобы он держался не общим бесправием и самовластием опричников, а правовым порядком и любовью подданных. Тот самый патриотизм, тот могучий государственный инстинкт, который собирал Россию вокруг престола московских государей, образовал ее в самую крепкую и обширную державу в мире, должен теперь получить своё историческое оправдание: не на гибель себе, не на закрепощение России вознес он так высоко престол царский и заложил так прочно его основание. Теперь сама царская власть должна довершить строительство земли, дав ей свободу и право, без которых нет ни силы, ни порядка, ни просвещения, ни мира внутреннего и внешнего. И этим она не ослабит, а бесконечно усилит себя, восстановит себя в своем истинном значении царской, а не полицейской власти, и сделавшись залогом свободы, права и мирного преуспеяния».

И он неоднократно имеет мужество высказываться за умеренный, разумно-государственный характер требуемых реформ, шадящих и бережно охраняющих основы народной жизни, в противоположность реакционерам, стремящимся насильственно заморозить жизнь народа и государства, и революционерам, стремящимся ее насильственно взорвать. Мужество, независимость духа, трезвенность, объективность и уравновешенность суждения, стремление к правде и справедливости, нежелание подчинять себя какому-либо партийному трафарету, при огромном патриотизме и горячей жертвенности духа — вот отличительные черты С. Н. Трубецкого, как общественного и политического деятеля.

В лице Сергея Трубецкого чистый огонь огромной нравственной силы вспыхнул ярким пламенем.

Заветом этого человека было примирение и победа Правды и истинной свободы, трогательная, снисходительная любовь к людям, к живому человеку, к живым душам людей, любовь к России и стремление ей помочь и спасти ее от гибели. И всё это понятое, как служение Богу, т. е. подчиненное высшей ценности, освящающей и облагораживающей ценности земные. Этот завет Сергея Трубецкого нужно вписать в живую книгу русской духовной традиции и, особенно, в сердца молодых поколений. Это было свидетельство о духовной силе и красоте добра, озарение политических сумерек яркой вспышкой света, проникшего из области высшей.

Николай Арсеньев

ПРОИЗВОДСТВО НЕНАВИСТИ

За последние годы в европейской и американской печати появилось немало статей и даже книг, обсуждающих возможность войны между СССР и Соединенными Штатами. В них производится учет экономического, технического, военного потенциала обеих сторон, но почти не уделяется внимания тому производству ненависти, которое стало боевым заданием дня в Советском Союзе*.

Опыт войны с Германией показал, что одного вооружения, даже самого мощного, недостаточно для победоносного завершения войны. Нужно еще, чтобы народные массы действительно единодушно поднялись на защиту отечества. И здесь наиболее жертвенной, готовой на подвиг, в минувшую войну показала себя молодежь.

Учтя этот опыт, сов. власть понимает, что самой надежной опорой теперь может явиться для нее только совсем молодое поколение, непомнящее ни ужасов ежовщины, ни трагедии насильственной коллективизации, неучаствовавшее, по возрасту, в минувшей войне, нежавшее руку американскому солдату на Эльбе, невидевшее Европы и вполне искренно уверенное, что жизнь в Союзе — самая счастливая на земле. Недаром в послевоенные годы советская пропаганда, с явно воспитательными целями, занялась повсеместным прославлением юной партизанки Зои Косьмодемьянской и краснодонцев — героев молодежной антинемецкой организации в Донбассе. Но на этот раз советы не могут допустить, чтобы ненависть к противнику возникла и развивалась лишь в процессе самой войны, как это было в отношении немцев. Играя на печальной памяти населения о немецкой оккупации, стараясь убедить, что американцы ничем не лучше гитлеровцев, советы ведут планомерную пропаганду по ожесточению душ советской молодежи

* Следует отметить, однако, появление в Америке обстоятельной книги профессора Иельского У-та Ф. Бархорна "Soviet Image of the United States—a Study in Distortion." РЕД.

в отношении бывших союзников и возможных противников в новой войне. В этом отношении чрезвычайно показателен, например, отрывок, завершающий книгу Александра Андреева «Ясные дали» (Трудрезервиздат, 1950), написанную для советских подростков:

«— Опять про войну завели, — простонала одна из женщин. — Только про войну и говорят...

— А как же, если нам штык показывают?

— Вот кого жалко, — сказал кузнец, кивнув на нас, кучкой сидящих в углу. — Им придется разговаривать с банкирами да с Черчиллем.

— Вы за нас не болейте, — подал голос Никита. — Мы поговорим. Мы им скажем всё, что о них думаем. Дайте только подрасти и обучиться...».

Вот этим-то «обучением» советской молодежи и занимаются сейчас многочисленные организации и отдельные лица, несомненно получившие срочное правительственное задание всячески опорочить американцев, в корне подорвав возможное к ним чувство приязни. Мы не можем полностью судить о размерах этой кампании, т. к. распространение «Книжной Летописи» — официального перечня книг, вышедших во всех издательствах СССР — запрещено вне границ Советского Союза с 1947 г., как издания, содержащего «секретные сведения». Тем не менее, автору данной статьи удалось собрать солидную библиографию по книгам, вышедшим в последние годы и посвященным интересующему нас вопросу, не говоря уже о журналах и газетах, из номера в номер занимающихся травлей англичан и американцев, или о кино, театре и радио, не отстающих в этом клеветническом походе советской пропаганды против западной демократии.

Изучая собранные материалы, можно сказать, что ведущую роль в этой анти-англоамериканской кампании взяло на себя «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний», организовавшее многочисленные лекции, освещающие различные стороны американской жизни в нужном для советской пропаганды свете.

Очевидно и в тематические планы научно-исследовательских институтов Академии наук СССР обязательно входят те или иные работы по дискредитации англо-американского мира, как мы можем судить по некоторым образцам уже опубликованной «научной продукции». Например, Институт экономики в 1950 г. выпустил объемистый сборник (486 стр.) «Агрес-

сивная идеология и политика американского империализма», Институт философии выпустил «Против философствующих оруженосцев американско-английского империализма» (1952 г., 334 стр.), Институт географии по своей линии занялся «разоблачениями», выпустив труд «Буржуазная география на службе американского империализма» (1951, 150 стр.) и т. д.

Одна за другой выходят книги впечатлений об Америке, представляющие эту страну в самом непривлекательном виде. Всё ли является ложью в этих книгах, написанных, в большинстве случаев, ловкими и совершенно небрезгливыми в моральном отношении журналистами? Нет, не всё: лжи в них много, но много и правды, но правды, так сказать, деформированной, ибо искусство советского пропагандиста именно и заключается в том, чтобы беззастенчиво лгать при помощи правды, превращая частное в общее и плетя непрерывную вязь из отрицательных фактов, совершенно не останавливаясь ни на чем положительном. В этом отношении незаменимой помощницей советскому пропагандисту является свободная американская пресса, сама вскрывающая отрицательные явления в жизни США и даже делающая порой из них сенсации.

У молодого советского читателя, приученного к тому, что в советских газетах запрещено печатать какие-либо сообщения о катастрофах, грабежах и даже стихийных бедствиях, не говоря уже о критике государственных деятелей, умелым и планомерным подбором материала создается впечатление об Америке, как о стране сплошных гангстеров, совершенно развращенной и не имеющей никаких культурных ценностей. В качестве примера сошлемся на книгу Н. Васильева «Америка с черного хода» (2-ое доп. изд., Москва, Советский Писатель, 1951, 335 стр.). Чтоб дать представление о «творческой манере» автора, возьмем хотя бы описание столицы США. Отметив, что в Вашингтоне нет фабрично-заводских районов, Васильев сейчас же объяснил читателю, что это сделано, дабы избавиться от неприятного соседства промышленного пролетариата и для того, чтобы «конгрессмены и сенаторы, разнокалиберные политики и дельцы могли бы вершить здесь свое дело без постоянной оглядки на рабочие окраины» (стр. 160).

Старательно осмотрев Вашингтон, Васильев привел даже статистические данные о том, что «на каждую книжную лавку в городе приходится семнадцать салонов красоты» и что, следовательно, в американской столице «книга отстывает перед кисточкой маникюруши» (стр. 166). Однако, он ни единым сло-

вом не упомянул о широкой сети библиотек и уж, конечно, «не приметил» самую большую библиотеку мира — Библиотеку Конгресса, хранящую в двух зданиях 28.700.000 экземпляров книг, газет, карт, микрофильмов, рукописей, пластинок и т. д. А Васильев мог бы даже сказать советскому читателю, что среди девяти миллионов книг, выдающихся для чтения любому желающему, можно найти все книги, давно изъятые в СССР, и можно познакомиться с творчеством советских писателей, исчезнувших в концлагерях.

Достойным собратом Васильева по перу является Б. Вронский, автор книги «Порабощенная юность, положение молодежи в США» (Москва, «Молодая Гвардия», 1951; 2-ое переработанное и дополненное издание; 1-ое вышло в 1950 г.). Не останавливаясь на разборе самой книги, приведем только названия некоторых глав и всем станет ясно, насколько это произведение отражает Америку:

«— Мысли молодежи под полицейским контролем. — Марш культуры. — Уродливая система образования. — Университеты и колледжи — вотчина Уолл-Стрита. — Растленное искусство. — Воспитание «умелых убийц», и т. д.

Все авторы «американских впечатлений» уделяют несообразное внимание описанию городских трущоб, всячески стараясь создать впечатление у читателя, что поголовно все трудящиеся в США вынуждены ютиться в этих действительно ужасных кварталах. В погоне за материалом, показывающим «чрезмерно низкий» жизненный уровень американского рабочего, советские авторы не брезгают никакими измышлениями. Так, например, тот же Васильев в упомянутой выше книге утверждает (стр. 133), что «месячный прожиточный минимум семьи из четырех человек исчислялся до отмены контроля над ценами в сумме около трехсот долларов. Это, однако, был минимум в буквальном смысле слова: для питания при таком доходе в неделю можно было потреблять только один фунт маргарина, четверть фунта бэкона. Сейчас требуется уже не триста, а свыше четырехсот долларов в месяц... тогда как рабочие редко получают свыше 150 долларов в месяц».

Но уверяя советских граждан, что голодать придется не только им, пропаганда всё же сейчас делает упор не на бытовые моменты. Рассказы о том, что американский рабочий может купить одно пальто в 6-7 лет, не очень испугают советского человека, привыкшего и не к таким лишениям. Советской антиамериканской пропаганде нужны средства по сильнее, и

вот советским писателям, артистам, художникам дано задание представлять роль Америки во второй мировой войне в наиболее невыгодном свете. И притом, так, чтобы у нового, молодого поколения создалось впечатление, что Советский Союз выиграл войну не благодаря помощи союзников, а именно вопреки всем их козням.

И вот — каррикатурист Прохоров получил 100.000 руб. за каррикатуры «Танки Трюмена на дне морском» и «Американские жандармы в Японии», а украинский поэт Андрей Малышко награжден первой сталинской премией за 1950 год по отделу поэзии за свои антиамериканские стихи «За синим морем». Другой сталинский лауреат Ф. Кнорре написал рассказ «Морская пехота», вышедший в библиотеке «Огонек» (№ 12, 1951) тиражом в 150.000 экземпляров. Точно выполняя заказ по дискредитации бывших союзников, автор вводит в свое произведение такую сцену. Русский генерал Камышов допрашивает пленного командира немецкой дивизии Рутца и говорит, что его попытка прорыва была бессмысленной. Между ними происходит следующий разговор:

«— Я ушел бы за перевал! Вот тут! — сказал Рутц, сделав движение к карте, лежавшей на столе».

Русский генерал возражает ему:

«— Ведь по ту сторону перевала вам пришлось бы точно так же сдать, не мне, так другому генералу. Фамилия генерала была бы не Камышов, а другая, вот и вся разница. Стоило ли из-за этого трудиться?»

— Да, да, да! Вот именно, другая фамилия, — подхватывает генерал Рутц. — Не Ками-шов, а может быть Перкинс или Дженкинс...».

Почему же генерал Рутц так стремится попасть в плен к человеку с англо-саксонской фамилией? На это автор отвечает его устами точно в соответствии с политикой партии, старающейся убедить молодое поколение в том, что роль союзников в войне с гитлеровской Германией была ничтожной:

«— Когда я смотрю вот так на вас, господин генерал, — говорит Рутц, — я вижу перед собой победителя. Это — тяжелое зрелище для солдата... Другое дело, если бы вместо вас сейчас передо мной находился некий генерал Перкинс или Дженкинс... Передо мной был бы не победитель, но просто человек, явившийся к последнему акту с мизерикордией в руке!»:

Непонятное слово «мизерикордия» приводит в замешатель-

ство переводчика, но Камышов немедленно пускается в объяснения:

«— Это нож специального назначения, состоявший на вооружении у рыцарей. Случалось, вышибут бронированного всадника из седла, грохнется он оземь и лежит, а встать уже не может. Сражение уже окончено, проиграно, а еще жив. Вот тут-то и появлялись люди с этой самой мизерикордией, узким таким, длинным кинжальчиком. Докальвать лежачих».

Но если Кнорре пытается убедить читателей, что роль союзников ограничилась только «добиванием лежачих», то другие высокооплачиваемые советские пропагандисты идут значительно дальше.

Так, фильм «Секретная миссия» удостоен сталинской премии первой степени. Среди его достоинств, рекламируемых советской прессой, далеко не последнее место занимает и «большевистская страстность в разоблачении преступной политики американско-английских поджигателей войны». Но для того, чтоб еще глубже вбить в головы советских людей, преимущественно молодежи, советскую версию о взаимоотношениях союзников во вторую мировую войну, в «Библиотеке советского кинозрителя» в количестве 30.000 экземпляров вышла специальная книжка А. Бельской «Секретная миссия», о фильме и его создателях (Москва, Госкиноиздат, 1951). На первой странице этой брошюры говорится — «в основу сюжета положены факты, показывающие предательство американских и английских империалистов, вступивших с гитлеровскими главарями и немецкими промышленниками в тайный сговор, направленный против Советского Союза», и что фильм представляет собой «органическое сочетание документальных данных с элементами художественного вымысла».

Как мы увидим ниже, вымысел, действительно, играет огромную роль в этом «документальном» фильме. Зато в книге о нем двадцать страниц из сорока четырех ничего общего с фильмом не имеют и служат только для самой неприкрытой пропаганды звериной ненависти к англо-американцам. Этому же служит, разумеется, и весь фильм.

Но что же это за «секретная миссия»? Фильм этот (надо помнить, что его смотрят миллионы советских людей) настолько типичен для советской антиамериканской пропаганды, что на нем стоит подробно остановиться. Время действия фильма — январь 1945 г. Фильм начинается с того, что «на экране мы видим позорное бегство американских войск, и этот эпи-

зод сделан с большим режиссерским и операторским мастерством» (стр. 12). Затем зритель видит самолет, на борту которого находится американский сенатор и представитель американской разведки, летящие в Берлин для сговора с немецким генералитетом.

«Образ сенатора запоминается, ибо каждая деталь режиссерской трактовки, каждая деталь актерского исполнения выражают ведущую идею фильма... Всем своим поведением американский эмиссар подчеркивает, что он приехал не просить о тайной капитуляции гитлеровских войск на Западе, а приказывать. Наглость сквозит в каждом слове сенатора... Артист Ковалев... правдиво раскрывает этот взятый из самой жизни образ» (стр. 14).

Не теряя времени, сенатор и «прожженный циник-разведчик» Гарви встречаются с Гитлером и гитлеровскими генералами, которые послушно исполняют все их распоряжения: «сенатор диктует немецким генералам, сколько дивизий должно быть сосредоточено на Восточном фронте и, наконец, выдает военную тайну о грандиозном наступлении советских войск, назначенном на вторую половину января». Во вступительной части этой поучительной страницы разъясняется, что сенатор тодько продолжает линию Черчилля, этого «матерого поджигателя войны», выпытавшего у Сталина сроки наступления, прикрываясь «тяжелым положением союзных войск», а потом велелшего сообщить об этом Гиммлеру.

Однако, советские войска начинают наступление раньше срока и таким образом проваливаются «коварные планы Вашингтона и Даунинг-стрит 10». Поэтому две акулы американского капитала прибывают в Лондон, пытаясь ускорить результаты секретной миссии, и вызывают к себе сенатора, требующего, чтобы его вез какой-нибудь пленный американский летчик, который должен держать язык за зубами, но зато он получит свободу и доллары. Совершенно неизвестно, зачем он понадобился сенатору и куда делся водитель самолета, благополучно доставивший сенатора из Америки. Но не будем считаться с этими неполадками «художественного вымысла». «Рассудку вопреки» пленный летчик всё-таки доставлен гитлеровцами, но подозревая, что сенатор затевает что-то против русских, американский летчик оглушает сенатора сокрушительным ударом кулака.

На приеме у «акул» сенатор теряет свою пресловутую наглость, «лакействует и пресмыкается». Американские же

акулы рвут и мечут, что сенатор и Гарви не сумели сорвать мощное наступление Красной армии.

Сенатор возвращается в Берлин, где Гиммлер сообщает ему, что немцы согласны на тайную капитуляцию на Западе и обещает, что «гитлеровские гарнизоны будут сдаваться, даже если в город прикатят три велосипедиста, пьяных или безоружных, безразлично». А в это время продвигающаяся с тяжелыми боями советская армия наводит такой ужас на гитлеровских главарей, что Борман вступает в переговоры с сенатором, стараясь обеспечить себе ведущую роль в будущей Германии. Но тут выступает советская разведчица, скрывающаяся под формой шофера Гестапо. Она неизменно возит сенатора на тайные совещания его с магнатами немецкой промышленности, но на этом она не успокаивается. Разведчица хочет раздобыть списки шпионских центров на Балканах, переданные немцами американским представителям. Это ей удается, но она гибнет, доставив материалы в указанное место.

Комментарии к этому «правдивому произведению киноискусства» излишни. Добавим только, что союзники СССР по выигранной войне не пришли в такой восторг от фильма, как автор брошюры — А. Бельская. 21 августа 1950 г. специальный помощник государственного секретаря США Макдермотт выступил с опровержением «исторических фактов», и с таким же заявлением почти одновременно в Лондоне выступил представитель британского министерства иностранных дел. Но вряд ли эти протесты кого-нибудь смутили в Кремле.

Фальсификация истории подготавливалась уже задолго до окончания войны, и новое поколение советской молодежи будет безжалостно обмануто, а разрозненные маленькие островки объективного и справедливого отношения к союзникам и к Америке уже давно захлестнуты океаном злобной клеветы. В глазах Кремля Америка всё отчетливее становится «врагом № 1». В соответствии с этим и распространенный эпитет «англо-американский» в изданиях 1951 г. повсеместно вытесняется прилагательным «американо-английский», (оруженосцы американо-английского империализма), «американо-английские поджигатели войны» и т. д.). Но недостаточно убеждать советскую молодежь в том, что американское правительство готово было сотрудничать с немецкими фашистами. У советского человека нет никаких оснований ненавидеть демократическую Америку, гитлеровская же оккупация дала все основания ненавидеть немецкий фашизм. И вот ударным заданием дня является показ того,

что между нацистской Германией и Америкой, по сути, нет никакой разницы, что «американский империализм», который так усердно разоблачают и советские маститые ученые и партийные борзописцы, «перерастает в фашизм». Чего стоит хотя бы «труд» некоего В. Корионова «Американский империализм — злейший враг народов» (Москва, Госполитиздат, 1951, 182 стр.). Аннотированная карточка московской публичной библиотеки за 1951 г. так рекомендует эту книгу советскому читателю: — «В книге обобщены материалы об агрессивной политике американского империализма, о борьбе империалистов против Советского Союза, об **экономической и политической поддержке, оказывавшейся американскими монополистами фашистским агрессорам до начала и во время второй мировой войны** (подчеркнуто мной. Т. Ф.) и о поощрении ими вновь возрождающегося фашизма. Автор приводит данные о всё ускоряющейся военизации и фашизации США, об ограблении и порабощении американскими империалистами народов Западной Европы...».

Жаль, что в книге Корионова не приводится статья «Америка кует оружие», из «Известий» от 16 июня 1942 г. Советский читатель давно позабыл ее и, может быть, только редакция вспоминает о ней с некоторым беспокойством. Вот выдержка из этой статьи: «Американцы часто называют свою страну «арсеналом демократии». Для этого имеются серьезные основания. **Военная промышленность США играет всё более почетную роль в снабжении стран антигитлеровской коалиции, в том числе и СССР, оружием для разгрома общего врага** (подчеркнуто мной. Т. Ф.). Подъем промышленности, производящей вооружение в Америке, дал возможность, как это отмечено в советско-американском коммюнике о посещении Вашингтона тов. Молотовым, обсудить... мероприятия по увеличению и ускорению поставок Советскому Союзу самолетов, танков и других видов вооружения из США». Как видим, тогда оценка роли Америки была иная.

Продолжая ту же генеральную линию антиамериканской пропаганды, некий М. Мошенский, как бы стараясь оправдать свою фамилию, выступает с трибуны Центрального лектория «Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний» в Москве, со всяческой клеветой на Америку, стараясь убедить своих слушателей (а позже и читателей, т. к. сенограммы его лекций входят в обязательный список литературы для библиотек) в том, что только «Советский Союз

стал непреодолимой преградой на пути авантюристического американского империализма». Одну из своих лекций, прочитанную в конце 1950 г., Мошенский посвятил излюбленной теперь в СССР теме: «Фашизация политической жизни в США».

Почти в то же время издательство «Искусство» выпустило безвкусную «сатирическую комедию» сталинского лауреата А. Сурова «Земляк президента (бесноватый галантерейщик)», полную самых грубых и оскорбительных намеков на руководящих деятелей США и неприкрытых выпадов против некоторых из них. Остановимся вкратце на этой «комедии», выпущенной Государственным Издательством. Ее главное действующее лицо — Чарли Марчелл, галантерейщик в маленьком городке штата Миссури, по ремарке автора, внешне похож на президента США. Сорвав усики с вора, пытавшегося похитить его галстуки, Чарли прикладывает их к губам, опускает чолку на лоб, снимает очки и... обнаруживает в себе сходство с Гитлером. Роберт Гард, «местный босс демократической партии» и его секретарь решают использовать это сходство Марчелла с Гитлером для очередной сенсации. Ожидая приезда сенатора из Вашингтона, Гард вызывает журналистов и диктует им основные положения нового тома «Моей борьбы», которую они должны написать от имени нового Гитлера.

Стараясь не отстать от других лауреатов по дискредитации роли союзников в минувшей войне, Суров вкладывает в уста того же Гарда выдуманную речь Гитлера, обращенную к американцам и англичанам:

«Я открыл фронт перед англичанами и американцами. В сущности, я его никогда не закрывал. Но вы валяли дурака четыре года. Я бросил на Восток все силы. Я ждал вашего вторжения. Но ваши генералы так боялись выстрела пушки, что не вошли в открытые ворота». И объясняя, почему Гитлер вдруг снова появился в Америке, Гард говорит от его имени: «Атлантический пакт — моя давняя мечта... Теперь я приехал в Америку, потому что пакт стал фактом. Есть теперь в Америке государственные мужи, на которых я вполне могу положиться».

Попытки убедить советского читателя в том, что Труман и Гитлер — одно и то же, отнюдь не исчерпываются вышеприведенной комедией Сурова. Сборник стихов «Мир против войны» (сост. С. Швецов, Москва, Государственное Изд-во культурно-просветительной литературы, 1952) вышедший в серии «Библиотека художественной самодеятельности», рассчитанный на широкие слои фабрично-заводской и колхозной молодежи от-

крывается стихами некоего Марка Максимова, так вспоминающего годы войны:

«О, сколько горестей и слез
Тогдашний Труман нам принес —
Он звался Гитлером в ту пору...».

В этом серийном пропагандном производстве ненависти к американцам надо отметить и еще одно «произведение». Это книга Л. Лагина «Остров Разочарования», вышедшая в 1951 г. в издательстве ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия». Этот роман предназначен для подрастающей советской молодежи, но в заключительной части своего произведения автор подчеркивает, что роман отнюдь не следует рассматривать, как приключенческий, т. к. события, изображенные в нем, «представляют интерес в высшей степени злободневный, многократно и настойчиво перекликающийся со многими жгучими проблемами современности».

Особо примечательно, что действие этого романа, созданное фантазией автора, разворачивается на Острове Разочарования в период с 6 по 13 июня 1944 г., т. е. именно в момент англо-американской высадки в Нормандии. Содержание романа, вкратце, таково. 3 июня 1944 г. британский конвой, идущий из Персидского залива, подвергается нападению немецких подводных лодок. Удастся спастись только пятерым. На спасательном плоту оказываются два американца — капитан санитарной службы Фламмери, потомок крупных банкиров, трус, ханжа, эгоист, интриган; военный корреспондент Мообс, у которого «политический кругозор был чуть побольше, чем у амебы»; два англичанина — простодушный кочегар Смит и майор королевской службы, лаборист и старый профсоюзный деятель Цератод. Автор нашел уместным присвоить этому лабористу отнюдь не английское имя — Цератод, по аналогии с названием двоякодышащих рыб, обитающих там, где особенно интенсивны процессы гниения. Пятый же пассажир этого утлого плота — советский капитан-лейтенант Егорычев — как и следовало ожидать, воплощение всех положительных качеств. Он сразу берет на себя руководящую роль и так оценивает своих спутников (кроме Смита, у которого сразу же обнаруживает признаки пролетарской солидарности): «— Союзники.. Преспоккойно похрапывают... Было бы это в их возможностях, они бы, пожалуй, с удовольствием помогли спихнуть в пропасть страну, которая несет на себе всю тяжесть войны... Ладно, сами

выиграем войну». (стр. 51). Высадившись на ненанесенный на карту Остров Разочарования, спасенные обнаруживают, что их опередили немцы. Цератод сейчас же предлагает сдаться немцам в плен, Фламмери поддерживает его, но Егорычев эту мысль с негодованием отвергает. При помощи Смита, слепо исполняющего распоряжения русского, Егорычеву удается уничтожить двух эсэсовцев, а двух взять в плен, при чем выясняется, что пленный эсэсовский майор Фремденгут — старинный корреспондент Фламмери — они оба руководили предприятиями по производству динамита и в течение лет были связаны деловыми интересами. И здесь они немедленно проявляют склонность к дружбе, причем эсэсовец находит нужным извиниться за оказанное сопротивление:

«— Прошу прощения, джентельмены, но мне сначала почему-то показалось, что вы русские. Если бы я знал, что вы англичане...

— Тогда?

— Тогда, конечно, не стал бы рисковать вашими и моей жизнями»... (стр. 69).

На допросе, который ведет Егорычев, Фремденгут готов уже раскрыть свое боевое задание, но, конечно, вмешивается Фламмери и мешает советскому капитану добиться истины. Последний ни на минуту не может оставить эсэсовцев с Фламмери и Цератодом, т. к. они только и рвутся договориться за спиной русского.

На острове Егорычев стремится поддерживать дружеские отношения с туземцами, конечно, потомками рабов предка Фламмери, разбойника и работоторговца. Разумеется, Фламмери старается присоединить остров к владениям США, словив слабое сопротивление Цератода, желавшего поднять над островом английский флаг. Оба они заключают тайный договор с несколькими «представителями» туземцев, в действительности презираемых всем населением острова за лень, трусость и склонность к воровству. Их главаря, «прошальгу, чревоугодника и нечистого на руку бабника» (стр. 293) автор недвусмысленно окрестил Яго Труменом, очевидно стремясь создать связь в уме советского подростка между именем президента США и прошельгой, продающей свою родину.

Этой «банде Трумэна» и поручено, конечно, убить русского, всячески старающегося помешать Фламмери разжечь между туземцами гражданскую войну, чтобы тем прибрать остров к своим рукам.

«Романисту» Лагину понадобились четыреста с лишним страниц бредовых измышлений для того, чтобы, наконец, отправить на тот свет своих отрицательных героев. Эсэсовцы безжалостно расстреливают Фламмери, Мообса и Цератода, но и сами гибнут от взрыва атомной бомбы, для испытания которой они, оказывается, и были высажены на остров. Английский же пролетарий кочегар Смит, под мудрым водительством русского коммуниста капитана Егорычева, благополучно избегает всех опасностей. А совершенно распропагандированные **Егорычевым** в пользу Советского Союза туземцы начинают жить «счастливой и зажиточной жизнью» и даже поют советские песни.

Размер статьи не позволяет остановиться на других многочисленных антиамериканских произведениях, но и приведенного достаточно, чтоб судить о всей бесстыдности лжи, клеветы и подлога советской пропаганды. Согласно этой «литературе» в сознании молодого советского человека американцы и англичане должны выступать не только, как профашисты и поджигатели новой войны, на них переносится еще ответственность за все жертвы, понесенные советским народом в годы войны, ибо гитлеризм представляется только зверем, выпущенным заокеанским хозяином, чтобы растерзать Советский Союз.

И вот, Игорь Ринк, автор книги «От Одера до Рейна» (Ленинград, «Советский Писатель», 1951) заканчивает свой сборник стихотворением «Суд идет!», говоря о Нюрнбергском процессе:

«Вы судили нацизм!
Так картежники судят
в Монако
неудачных друзей,
проигравших большую игру...
.....
Мы не верили
вашим речам,
лицемерным и длинным,
как в суде говорят,
— обстоятельства дела
ясны:
вы судили нацистов
за то, что они
под Берлином

проиграли сраженье
развязанной вами
войны!». *)

Заканчивается же эта «поэзия» так:

«то, что было,
в стенах Нюрнберга,
не пустые слова
в Уолл-стрите заученных фраз,
это только начало,
точнее заметить —
примерка
той огромной петли,
что на шее затянут
у вас!».

Было бы полезно, если бы американское общественное мнение и широкие массы средних американцев знали, что говорит о них и об их стране советская пропаганда. Если молодому американцу придется встретиться с молодым русским, какова будет их реакция в отношении друг к другу? У первого, вероятно, — обычная приветливость, в худшем случае — равнодушные натолкнутся на настороженность а, возможно, и на открытую враждебность. Вот к этой первоначальной отрицательной реакции и следовало бы подготовить американское общественное мнение, объяснив ее причины и показав, что в ней неповинны качества русского народа, а повинна политика его правителей в течение многих лет колоссальными дозами ненависти к Западу отравляющая население великой страны. И если американцам станет ясно, как отравляют душу молодого советского поколения, они будут знать, через какие дебри лжи и клеветы им придется прорубать дорогу к душе советского человека.

Татьяна Фесенко

*) Подчеркнуто нами. Т. Ф.

БИБЛИОГРАФИЯ

Из истории права поземельной собственности в России

(О книге проф. В. Б. Ельяшевича).

Три года тому назад на страницах этого же журнала, я дала отчет о первом томе интересного труда профессора В. Б. Ельяшевича: «История права поземельной собственности в России»^{*)}. Первый том охватывал «Юридический строй поземельных отношений с XIII в.» до эпохи Грозного. Второй, ныне разбираемый, вышедший весной 1951 года, обрисовывает эпохи Грозного и Петра с его преобразованиями до Екатерины Великой. По числу страниц этот том меньше предыдущего; он касается эпох лучше нам известных; да и жизненные отношения становятся нам понятнее по мере приближения к нашему времени. По всем этим причинам этот, второй, том читается легче и кажется проще первого.

Начиная свою заметку об этой интересной книге, позволю себе сказать, что меня сейчас занимает не столько критический разбор ее (предоставляю это знатокам права), сколько ознакомление с нею широких кругов русских читателей, по условиям нашей эмигрантской жизни не могущих и не успевающих прочитывать новые труды по специальному вопросу русской истории.

В этом — оправдание размера настоящей заметки.

Книга начинается очень вразумительным объяснением качественной разницы тех документов, на которых обосновываются первый и второй томы.

В I т. опорной точкой являлись «акты», т. е. разного рода «грамоты», непосредственно отражавшие *реальные отношения* текущей жизни. Во II т. автору приходится иметь дело не столько с «актами», сколько с «законами», т. е. с волеизъявлениями и мероприятиями центральной верховной власти. С одной стороны, это очень облегчает работу исследователя; с другой — осложняет ее. Ибо из «законов» историк может узнать точку зрения и намерения законодательной власти; он может узнать, в какую форму она хотела бы отлить жизненные отношения. Но он никак не может узнать, удался ли ее замысел, и в какой мере он удался? Этот недочет — и весьма существенный, — конечно, мог бы быть восполнен, существуй издания «актов» для изучаемой эпохи, подобно имеющимся уже для эпохи предыдущей. Но таковых изданий до сих пор нет, а работа над «актами» в самих архивах по понятным причинам для автора была недоступной. Следовательно, ему оставался один только выход: сопоставлением отдельных законов в их хронологической последова-

^{*)} См. кн. 22 «Н. Ж.».

тельности отмечать, насколько эти законы действительно входили в жизнь и формировали ее или, наоборот, насколько сама жизнь их изменяла, или от них уклонялась.

Книга разделена на четыре «раздела», весьма неравных по объему. I и II посвящены эпохе Ивана Грозного и XVII веку; вместе они занимают 204 стр. III раздел говорит о земельно-крестьянских мероприятиях Петра и уместился целиком в 44 стр., а IV раздел, посвященный преемникам Петра до Екатерины II, насчитывает всего 20 стр. Такая неравномерность изложения объясняется тем, что «революционизировал» старинные земельные отношения именно Иван IV и своими реформами положил начало тому ходу вещей, который, развиваясь, превратил к XVIII веку всех землевладельцев (кроме самого государства) в «помещиков», а свободных крестьян-земле-робов — в крепостных или полу-крепостных, в жизни почти не отличавшихся от холопов, т. е. рабов.

**
*

Первая глава первого раздела озаглавлена так: «Иван Грозный и его *личная* роль в установлении земельной политики».

«Личная роль» Ивана исследователя поражает больше всего. Он останавливается в некотором восхищенном изумлении перед «целостностью и устойчивостью земельной политики царя». Он подчеркивает, что эта политика была именно *личной* политикой Ивана и неуклонно проводилась им во всё его царствование, начиная с 1550-го года, когда царю было всего 17 лет. Для профессора Ельяшевича «совершенно неправдоподобным представляется утверждение, что еще в конце 40-х годов XVI века государственные дела *не занимали* царя и делались независимо от него». «...Против этого говорит прежде всего характер Ивана, его темперамент, его своеволие, его сознание своего положения... Возможно-ли допустить, что при характере Ивана *уже вполне установившемся*, он произносил слова, вложенные в его уста другими, ...не будучи с ними согласен». (Стр. 15).

Нам кажется, что здесь нужны какие-то оговорки.

Прежде всего: можно ли говорить о «*вполне установившемся* характере» 16-летнего мальчика (1549 г.)? И тем более, когда этот мальчик был Иваном Грозным? И не опровергает ли вся биография его это предположение об «*установившемся* характере»? И еще: откуда это допущение, что Иван произносил слова, «будучи с ними несогласен»? Разве самостоятельность, «самоволие характера» не допускает усвоения чужих мыслей? Ведь и сам автор, вслед за Иваном, признает влияние на последнего его советников, а его «интел-

лектуальность», о которой говорится дальше и которая, конечно, неоспорима, заставила царя по достоинству оценить внушенные ему мысли, согласиться с ними, и, раз признав их правильными, остаться им верным даже тогда, когда личные отношения с прежними друзьями порвались и «избранная рада» превратилась в «собачье собрание». Разумность, логика, целесообразность намеченной политической программы, а не «установившийся характер» такого невыдержанного человека, как Грозный, объясняет, полагаем, «цельность и устойчивость земельной политики» царя.

Еще труднее согласиться с автором, когда он говорит о «высоких качествах души», предполагаемых им в своем герое. «Ибо так вложиться в интересы своей страны, питать на ее счет такие высокие замыслы мог только человек *высокого душевного пафоса*» (стр. 17). «Душевный пафос» — понятие довольно неопределенное. И разве не проще допустить, что всё то, что автор приписал этому «душевному пафосу», удобнее и понятнее объясняется преувеличенно-высоким представлением о царском сане и его значении, честолюбием, властолюбием и другими свойствами души, если и великой, то во всяком случае болезненно раздраженной, «страдающей и бурной». Тогда психологическая загадка, перед которой автор останавливается в недоумении: «как связать высокие качества не только интеллекта, *но и души...* с такими звериными инстинктами?» (стр. 17) быть может оказалась бы легче разрешимой.

Взгляд профессора Ельяшевича на *опричнину* довольно существенно отличается от установленного Платоновым. Наш автор отказывается видеть в опричнине зрело обдуманый аппарат для сокрушения родовитого боярства, претендовавшего соправительствовать с царем. Подобно некоторым другим историкам, Ельяшевич полагает, что опричнина родилась *случайно*, была порождена, главным образом, личным страхом, что это была просто полицейская защита от внутренних врагов (стр. 18-19). За такое объяснение, полагает он, говорит и сама кратковременность существования опричнины — всего семь лет (против Платонова, который дает ей 20 лет). «Но сильнейшим аргументом против толкования опричнины, как аграрно-классового мероприятия, является весь ход развития помещичьего права в эпоху Грозного... Всё направление земельной его политики совершенно ясно выявилось *задолго* до опричнины... Грозный только воспользовался созданным ею полицейским аппаратом, чтобы ускорить и расширить *мобилизацию земель*, необходимых для предпринятых им реформ». (Стр. 20).

Важнейшей из этих реформ и вызвавшей все другие была реформа *поместного землевладения*.

Она была продиктована обстоятельствами, в значительной мере

от личной воли царя не зависящими; но опиралась она на новую, *личную идею* царя о неразрывной и обязательной связи между фактом землевладения и обязанностью землевладельца служить *за это* царю. Этой идеи «обязательной службы» раньше не существовало, хотя, конечно, факт вознаграждения землей существовал искони. Но тогда земля жаловалась в вечное потомственное владение, как жаловались кубок, пояс или шуба с княжеского плеча. Конечно, предполагалось, что пожалование создает психологическую связь благодарности между получателем и дарителем, но это не было «обязанностью», и боярин преспокойно мог перейти на службу к другому князю со всеми подаренными ему кубками, шапками и землями, будь то *вотчина*, или *поместье*.

Так было до *Ивана IV*.

Форма землевладения, называемая «поместьем», существовала уже с XV века. Заимствовав эту форму землепользования из практики церковных земель, о чем подробно говорилось в I томе, Иван III широко использовал ее, расселяя по нужным местам нужных ему лиц, но никогда не требуя с «поместья» обязательной службы. Именно *эту новую идею* пустил в оборот Иван Грозный. И мало сказать, что идея была нова, она была революционна, ибо производила полный переворот в принятых и установленных до тех пор понятиях о формах землевладения, *вливая в старое понятие «поместья» совершенно новое правовое содержание*.

Как сказано, земельная реформа Ивана вызывалась внешними обстоятельствами, вставшими перед ним. Удачные войны с Казанью и Астраханью (1552-1556) чрезвычайно раздвинули пределы Московского Царства; открыли широкое раздолье для крестьянской колонизации; но, вместе с тем, потребовали охранения длиннейшей пограничной линии, постройки новых крепостей, набора новых гарнизонов, словом — значительного усиления ратной силы. Вот почему уже на Соборах 1550 и 51-го годов, т. е. с самого начала царствования, правительство озабочено вопросом, как увеличить и на что содержать нужную ему боевую силу. Единственное богатство царской казны — земли, но земли обработанные, а не впусе лежащие, так как только первые могли сейчас же кормить ратных людей. И вот уже в 50-51-м годах принимаются некоторые меры: во-первых, наново производится возможно тщательная опись всех земель, «вотчин и поместий»; во-вторых, устанавливается, кто, с каких пор и на каких основаниях владеет ими; в-третьих, предполагается исправить некоторые несправедливости: «у кого лишек — ино недостаточного пожаловати» (стр. 22). Затем, всё с того же 50-51 года, царь создает отряд лучших слуг своих до 1000 человек, которых «испомещает» вокруг Москвы по радиусу в 60-70 верст, чтобы всегда

иметь под рукою некоторую военную силу. Так родились «подмосковные».

И вот, при осуществлении *именно этой меры*, впервые была выдвинута и подчеркнута черта, которая глубоко изменила самое понятие «поместья». До Ивана Грозного под «поместьем» разумеалась такая форма землевладения, отличительным признаком которого была его *временность*, часто *пожизненность*. Именно этот признак «временности» (по смерти помещика поместье должно было вернуться в казну) отличал «поместье» от «вотчины», владения вечного и родового. Иван-же поставил ударение не на «временности» поместья, а на его «обязанности» служить царю: поместье есть прежде всего *служилое землевладение*. Из такой его новой характеристики вытекло несколько следствий, которые, быть может, и не предвиделись законодателем, но неизбежно вели в будущем к закреплению крестьян.

И по соображениям политическим — в борьбе с княжатами и боярами, и по расчетам хозяйственным, Иван старался прибрать к своим рукам как можно больше земель обработанных, т. е. доходных. Таковыми были именно большие вотчины. Аппарат опричнины позволил чрезвычайно быстро и радикально произвести желаемую перемену: вотчинники, в большинстве случаев занимавшие центральные московские области, были выселены из всех вотчин, попавших в круг «опричнины», и перекинуты в «земщину», а там им были даны «поместья», вотчинные-же их земли были раздроблены на мелкие поместья, которые и розданы служилым людям — опричникам и другим. Эта систематическая борьба с вотчинниками может быть прослежена по приговорам Соборов 1551, -62 и -73 годов, и по записям некоторых современников. Все эти мероприятия подготовили то полное слияние «поместий» с «вотчинами», которое было завершено Петром Великим и закреплено законами Анны Иоановны.

Иван IV, естественно, не мог не обратить жадного внимания и на богатейшие земельные угодья монастырей, епископов и митрополита (приблизительно считалось около трети всех обработанных земель во владении Церкви); но здесь его политика была не столь последовательна. Рядом с ограничением права монастырей приобретать новое недвижимое имущество; с запрещением им удерживать земли неоплатных должников; с отобранием вотчин, данных им на помин души, царь сам в припадках раскаяния и ужаса нарушал собственные запрещения. Однако, на январском Соборе 1580 года были приняты решения весьма радикальные, резюмированные в заключительной фразе: «А вперед митрополиту, и владыкам и монастырем земель не прибавлять, не которыми делы». Это было своего

рода политическим завещанием преемнику и именно так его и воспринял следующий Собор 1584 года, уже при Федоре Ивановиче.

Дальнейшим судьбам поместий и вотчины посвящена отдельная глава, IV, а вслед за ней исследователь специально останавливается на вопросе о судьбе крестьянства.

Известно, что реформы, произведенные царем в области самоуправления и суда крестьянских волостей, реформы, вызванные, по его собственному признанию, «жалостью» к их бедственному положению, созданному самоуправством и лихоимством наместников, волостелей, тиунов и других правительственных агентов, — принадлежат к наилучшим актам его правительственной деятельности. Как всегда, мероприятия его были круты и решительны: он просто упразднил все эти должности, предоставив крестьянам самим выбирать из своей среды своих управителей и судей. Правда, эти новшества коснулись не всей крестьянской массы, а только, так называемых, «черных», по современному сказать — «государственных» крестьян. «Церковные крестьяне», то есть сидевшие на землях, принадлежащих церковным установлениям, и особенно «владельческие крестьяне» этими нововведениями затронуты не были, или почти не были, и по прежнему судились первые — по «несудимым грамотам», а вторые по «жалованным грамотам», с давних пор жалуемым привилегированным лицам.

Отметим то огромное значение, которое приобрела «волость» в результате вышеуказанных реформ Грозного. *Переменилось самое содержание ее полномочий*: из исключительно «податной» организации, занятой только распределением «тягла», она теперь становится носительницей разнообразных административных, фискальных и судебных функций, настоящим центром всей жизни черного крестьянства.

С древнейших времен на Руси существовали крестьяне разных наименований по землям, на которых они сидели: так были крестьяне «черные» на землях государственных, крестьяне «монастырские», крестьяне «боярские» т. е. частновладельческие. *Но все они были совершенно равны между собою по своему правовому положению.*

Это их правовое равенство обуславливалось и поддерживалось древним обще-крестьянским правом — «правом выхода». Это право, с одной стороны, давало возможность крестьянину *законно* искать лучших жизненных условий; с другой — оно сдерживало землевладельцев в чрезмерном притеснении крестьян: если будет очень худо — уйдут. Таким образом, «право выхода» — драгоценная гарантия и условие свободы крестьянина. Но в то же время свобода выхода — вечная угроза благополучию землевладельца, а со времени его обязательной государственной службы, и вечная угроза ее регуляр-

ности: помещик может служить лишь, пока его земля обрабатывается. Так, в трудные времена, с особой наглядностью выявилась не только роковая противоположность, но прямо враждебность интересов двух основных групп населения Руси — крестьянства и землевладельцев.

С середины XVI века жалобы «на оскудение воинского чина», «на великие нужды и тощету воинских людей», на «многие запущения в вотчинах и поместьях» не прекращаются и они — не преувеличения, а точное изображение бедственного положения страны и государства. Как помочь беде? Все помещики и все черные волости в один голос указывали, как на основную причину «оскудения», на право свободного выхода крестьян. Определив болезнь, легче было найти способ лечения. Уже существовавшие и заново подтверждаемые правила, регулировавшие этот «выход» (в определенный срок, около осеннего Юрьева дня; с предварительной уплатой помещику «пожилого») оказывались недостаточными.

И вот, осенью 1581 года, Иван решается на неслыханно крутую меру: он *начисто запрещает* «выход». Повидимому, было издано соответственное «уложение»; этот документ, однако, до нас не дошел, и о нем мы узнаем лишь косвенно, но, кажется, достоверно. Кажется, сам Грозный искренно считал эту меру только временной, ввиду особенно трудных обстоятельств; кажется, он собирался ее отменить, как скоро обстоятельства это позволят. Но судьба судила иначе: 18-го марта 1584 года Иван скоростижно скончался и запрет продержался целых 6 лет, до 1590-го года. Значение этого шестилетнего опыта в том, что за этот срок на деле было испробовано полное *прикрепление* крестьянина к участку, который он обрабатывал; что фактически было упразднено право, казавшееся до тех пор неприкосновенным; что была брошена идея, изменившая самое понятие «крестьянина»: прежде таковым считался всякий *свободный* человек (не холоп), лично обрабатывавший свой участок земли; теперь, крестьянином считался тот, кто *прикреплен* к своему участку, кто не может его покинуть. Так царь, начавший свою государственную деятельность «жалючи крестьян», закончил ее нововведением, открывшим путь их подлинного закрепощения.

**
*

В общей суматохе на грани двух столетий (XVI и XVII) очень возросли и численность военного служилого класса, весьма пестрого по своему социальному составу, и его значение; ибо он, несомненно, сыграл очень большую роль при водворении порядка и при выборах новой династии. Вся южная половина Московского Государства по-

крылась тогда поместьями. В поместья были розданы все земли черные, все земли дворцовые, бывшие вотчины и даже земли монастырские, словом, все земли обрабатывавшиеся, хотя в Смутное Время и пришедшие в запустение. Но поместья, чтобы содержать помещиков и давать «даточных людей», нуждались в рабочих руках, а количество последних со времен «переборки людишек» Грозным очень поубавилось; отсюда — жестокая борьба между самими помещиками из-за крестьян, их «вывоз». Со своей стороны и самый объект этой борьбы — крестьяне, измученные войнами и хаосом последнего времени, угнетенные правительственными мероприятиями, скрывались и бежали кто куда мог, тем самым еще увеличивая общую разруху.

Только с середины XVII столетия царская власть, в лице Алексея Михайловича, почувствовала себя достаточно твердой, чтобы приступить к упорядочению крестьянского вопроса. И что же она сделала? Уложением 1649 (XI глава) она попросту превратила экстренную меру Грозного в правовую норму: крестьянин на веки вечные прикреплялся к своему «жеребью».

Это обстоятельство отразилось неравномерно на различных категориях крестьян. В наихудшем положении оказались крестьяне частно-владельческие. В наилучшем, да и то с оговорками, крестьяне черные, подчиненные не лицу помещика, а коллективу волости. Крепостная зависимость и крепостное право во всем своем ужасе и безобразии коснулись именно крестьян владельческих. Правда, с точки зрения формального закона, они всё еще продолжали считаться людьми «свободными» и этим отличались от холопов — рабов. (Стр. 115-120). Но что это за «свобода», когда крестьянин не мог сдвинуться со своего «жеребья» без специального на то разрешения помещика, когда некогда легальный «выход» волею законодателя превращался в преступный «побег», караемый законом? Только «отпускная» помещика легализовала передвижения крестьянина.

**
*

Раздел III посвящен эпохе Петра.

Петр — несомненный наследник и продолжатель Грозного. Но в области крестьяно-помещичьей политики он прежде всего ищет разрешения ближайших военно-финансовых затруднений и крестьянского вопроса, как такового, вовсе не касается. В его огромной законодательной работе (пять томов в Полном Собрании Законов) крестьянский и земельный вопросы отсутствуют.

Для борьбы с татарами, турками, Польшей и Швецией нужен флот, которого нет; и нужна армия, которую надо переустроить. И

для того и для другого, нужны люди и деньги. Чтобы их добыть, Петр заостряет требования Грозного: все землевладельцы, не только помещики, но и вотчинники, обязаны служить и притом служить *лично*. Если кто-нибудь не в силах этого сделать, он вносит за себя особую подать — выкуп, исчисляющийся по числу записанных за ним крестьянских дворов. Из древнего положения о приводе боярином «даточных людей, конных и оружных», выводится вся система рекрутского набора и содержания солдат (1705 год). Количество рекрутов определяется сначала количеством «крестьянских дворов»; позднее, когда выяснились хитрости, применявшиеся крестьянами при таком счете, — количеством «душ мужского пола». Для этого в 1710 и 1718 годах произведены переписи всего населения, а потом еще и «ревизия» последней в 1722 году. За неподачу «ревизских сказок» землевладельцы караются «отписыванием их владений на Государя».

«Даточные люди», которые с 1705 года именуются уже «рекрутами», должны поставляться всеми землевладельцами без изъятия, и монастырями, и патриархом. Землевладелец отвечает не только за то, что причитающееся на его долю число рекрут будет им доставлено в надлежащий срок в указанное место, но также и за то, что он гарантирует солдатам (слово, тогда же впервые появляющееся) нужное им пропитание и полтора рубля жалованья в год. Все эти распоряжения, страшно отягчая помещиков, окончательно изменяют характер их отношений с крепостными: теперь власть помещиков над последними не только экономическая, административная и судебная, как была раньше; она становится прямо абсолютной, что и сам Петр вполне осознал и точно выразил, назвав крестьян «подданными» своих господ.

Дальнейшие мероприятия Петра продолжают развивать завещанное Грозным и закрепленное Уложением. Разница между «поместьем» и «вотчиной» окончательно стирается: законодатель этих слов больше не употребляет, заменив их новым термином — «недвижимое имущество». Внеся в разряд плательщиков «подушной подати» лиц, никогда прежде «тягла» не тянувших, Петр увеличивает число «податных»: теперь к ним причислены и холопы, т. е. настоящие, по закону, рабы; и церковные люди, не состоящие фактически при церкви, и однодворцы, и даже инородцы. Причисляя холопов к крестьянам, Петр тем самым подготовил полное смешение этих, когда-то резко отдельных, групп населения и этим смешением уничижил крестьянство.



Главные линии, намеченные Петром в области крестьянского права, были вычерчены столь ярко, что преемникам его не оставалось ничего больше как продолжать его дело, уточняя и углубляя его. Это они и делали и притом, по мнению профессора Ельяшевича, «с таким проникновением в намерения Петра, что получается иногда впечатление некоего единого органического законодательства» (стр. 260).

Из отдельных законов преемников Петра отметим лишь некоторые.

Окончательно устанавливается, что владеть «крепостными» может исключительно дворянин и что он может владеть не только крестьянами, привязанными к «жеребью», т. е. крестьянами-домохозяевами, но и крестьянами безземельными. Право владения «людьми» есть исключительно «дворянское право». В отношении рекрутского набора помещикам дается полная воля. Государству важно получить известное число годных к службе рекрут. Кто они будут — государству всё равно, важно только количество. Поэтому Анна Иоанновна издает «указ» о дозволении помещикам отдавать в рекруты за свои деревни людей, при них находящихся, собственных или купленных. Короче — помещик может «забрить» кого хочет.

Ухаживание за дворянством, начатое еще самим Петром и всё усиливавшееся после его смерти, в период разных дворцовых переворотов, приводит к предоставлению ему всё больших прав над крепостными. Так, Елизавета Петровна разрешает помещикам даже ссылать крепостных на поселения, хотя бы они и не были публично наказаны, «но только бы остались годны к работе» (1760). Самая эта редакция многозначительна: не говорит ли она о том, что уже и в глазах законодателя, не только в глазах помещика, «крепостной» стал лишь рабочей силой, нужной для хозяйства, с забвением в этой силе всякой человеческой личности? Впрочем, отрицание гражданской личности крестьянина мелькнуло у Елизаветы еще и раньше, в ее манифесте при вступлении на престол 25 ноября 1741 года: крестьяне тогда исключались из категории подданных, приносящих присягу; этим они приравнивались к рабам. Если даже и согласиться с проф. Платоновым, что это лишь «обмолвка» — всё же нельзя не сказать, что эта обмолвка многозначительна и зловеща.

Преемник Елизаветы Петр III за свое короткое 6-тимесячное царствование успел издать два постановления, оба в пользу дворянства, и, следовательно по роковому порядку вещей, оба во вред крестьянству. По первому закону он разрешил помещикам не только

снимать крестьян с их участков и переводить их на другие, но даже и *переселять* крестьян из одного уезда в другой. Этим наносился последний удар идее крепости крестьянина земле, а не лицу помещика, идее права собственности крестьянина на обрабатываемый им участок. Другим своим законом, знаменитым указом о «вольности дворянской», Петр III доканчивал серию правительственных благодеяний в пользу дворянства. Разрешая дворянству служить или не служить, уничтожая *обязанность*, почитавшуюся основанием его привилегированности, Петр III подсекал ту единственную, якобы, моральную основу, на которой могло базироваться крепостное состояние и крепостное право в глазах народа: помещики служат, крестьяне на них работают. И народ сделал логический вывод из этого указа: если дворяне *не* обязаны больше служить — мы не обязаны на дворян работать. Но правительство этого логического вывода не сделало; отсюда — новая вспышка крестьянских бунтов.

Так, постепенно, «крепостное состояние», создававшееся историческими условиями, превращалось в «крепостное право», волею законодателя.

**
*

Характеризуя общее направление земельной политики преемников Петра, исследователь отмечает, что «Петр совершенно обошел крестьянство, устанавливая у нас сословную организацию и определяя обязанности каждого сословия по отношению к государству. Для Петра крестьянство не сословие, а только отдельные категории крестьян».

В этом пункте его преемники произвели полнейший переворот. Их законы относились уже не к той или иной группе крестьян, а ко всему крестьянству в его целом; определяя права — положительно или отрицательно — *всего крестьянства*, они тем самым создавали из него сословие в позднейшем смысле слова.

Окончательную юридическую обработку всего, сделанного в первую половину XVIII века в отношении дворянства и крестьянства, дала Екатерина II: «и выполнила она это с необыкновенным искусством... Она одела Россию в привычные для Европы формы правового облачения и... таким образом сделала Россию, до тех пор европейцам непонятную, — доступной их пониманию». «Для России же эта юридическая работа Екатерины принесла консолидацию положения дворянства, как правящего сословия, и окончательное закрепощение крестьянства».

Детальное рассмотрение деятельности Екатерины и средактированного ею «крепостного права» должно войти в III том исследования проф. Ельшевича. Здесь же мы должны еще остановиться на

самой последней главе, говорящей о «крестьянском праве», как оно сложилось в результате долгой эпохи от Ивана Грозного до Екатерины II.

И тут читателя не-юриста прежде всего озадачит кажущийся парадоксальным вывод ученого: «крепостное состояние крестьянина его *общей гражданской правоспособности не затрагивало*. Это крепостное состояние связывало крестьянина лишь по отношению к его помещику, но не по отношению ко всем третьим лицам... (крепостное состояние) крестьянина на его положении в гражданском обороте не отражается». (Стр. 266). Это — повторение уже сказанного раньше, на стр. 235, по поводу мероприятий Петра. Там говорилось, что «ни общая, ни имущественная правоспособность крестьянина крепостной зависимостью не затрагивалась, что его семейные и имущественные права оставались те же».

Но как же согласовать это с фактами продажи крестьян оптом и в розницу, с фактами, так выпукло изображенными самим Петром в его указе 1721 года: «Обычай был в России, который и ныне есть, что крестьян и дворовых людей мелкое шляхетство продает врознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца или от матери дочь или сына помещик продает; Е. И. В. указал оную продажу людей пресечь, а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то хотя бы по нужде и продали целыми фамилиями и семьями, а не порознь?» Впрочем, этот указ кажется нам двойственным и обоюдоострым: с одной стороны — «оную продажу пресечь»; с другой — «ежели невозможно — продавать целыми фамилиями, а не порознь». Так как «пресечь» оказалось невозможным, то в сущности узаконялась продажа «целыми фамилиями».

Это бессилие правительства, опирающегося на дворянство и разделяющего его взгляды, породило кричащее несовпадение законом признаваемых прав крестьянина с реальными условиями и фактами его повседневной жизни. Вернее сказать: не «несовпадение», а полное «противоположение» их. И, как всегда бывало, и до сих пор бывает, это противоположение воспринимается остро мучительно: по закону одно, в жизни другое. Но дело историка беспристрастно вскрывать всю правду жизни, все ее трагические противоречия, и разбираемая книга делает это мастерски. *Александра Петрунkevич*

MICHEL GORDEY. VISA POUR MOSCOU. Paris, Gallimard. P. 453.

Два года тому назад советская власть дала визу в Советский Союз на два месяца французскому журналисту Мишелю Гордэ. Как это случилось, никто не мог понять. Не понимает и сам Гордэ по сей день. С 45-го года ни одному французскому журналисту, если

он не был коммунистом или попутчиком, не давали советской визы, Гордэ же, российского происхождения, знающий русский язык и представлявший буржуазную печать — «France-Soir», визу получил.

В поисках разумного объяснения, Гордэ подумал, не возжелал ли уже Сталин дать очередное интервью миру чрез посредство не американского журналиста, а французского? Или, может быть, ему, Гордэ, суждена роль кролика для испытания, как поведет себя в отношении к Советам буржуазная печать, не специализировавшаяся на «поедании красных»?...

Действительность показала, что ни то, ни другое объяснение не были правильны. От Сталина Гордэ ответа не получил на пред-усмотрительно заготовленные и посланные вопросы; и никаким другим «буржуйам» советская власть въезда в советский рай не предоставила. Но Гордэ в СССР провел очень интересные и поучительные 63 дня и написал живые очерки о том, что видел и слышал в Москве, Ленинграде, Тифлисе, Ростове. Очерки Гордэ имели большой успех, как мы узнаём теперь, они были перепечатаны в 15 странах всех пяти континентов. Это не могло бы не вскружить головы и более зрелому и испытанному журналисту. И он напечатал пухлый том в 453 страницы, где былые записи изо дня в день значительно дополнены и переработаны. Издатели книги утверждают, что «Виза в Москву» представляет «новый труд» — уже не репортера, а эссеиста и писателя.

Когда в печати появились корреспонденции Гордэ, я отозвался о них очень сочувственно, отметив, что они дают как бы мгновенный снимок с советской действительности в ее «статике». Тут же я прибавил: «Всё же рассуждения о динамике советского строя и громадных там изменениях — не репортаж, не плод личных наблюдений, а заимствованы у других, с чужого голоса, — не только с того, который его поучал в России, многое он повторяет из того, что узнал из книг во Франции», — д о поездки («Новое Русское Слово» от 29.10.50). Я предостерегал, поэтому, против естественного, особенно для начинающего автора, соблазна написать «целую книгу и не только о том, что он (сам) видел и слышал, а «вообще» о России».

Моему непрошенному, но дружескому совету Мишель Гордэ не внял. Это было, конечно, его неоспоримым правом. Но, как мне представляется, эта книга о б е с ц е н и в а е т прежнее его свидетельское показание, подрывает его непосредственность, неподвзятость и, тем самым, убедительность.

Не удовольствовавшись ролью регистратора, репортера и фотографа, Гордэ пытается в этой книге стать историографом и разрешить «русскую загадку, облеченную в тайну». Фактически же он

только повторяет многое, что задолго до него высказали другие «знатоки» и «историографы» России, с маркиза Кюстина начиная и Эд. Карром, Крэншоу, Осуским, Дейтчером, Бидел Смитом и т. п. кончая. Развив подробнее то, что в самых общих чертах и между прочим он утверждал два года тому назад, Гордэ заставляет предполагать, что вся его «философия», нынешняя и прежняя, не вытекает из его наблюдений, а им предшествовала и, может быть, их определяла.

Со времени наблюдений Гордэ прошло всё-таки не мало, не много, а два полных — и судьбоносных — года, с войной в Корее, с обострением холодной войны, с усилением вооружения во всем мире и проч. За эти годы многие, думавшие как Гордэ, успели одуматься. А Гордэ пребывает всё в прежней позиции, повторяя старые зады — свои и чужие. И с устаревшей позиции он читает мораль с ним несогласным.

В заключительной главе автор дает перечень или, как он выражается, «Инвентарь ложных идей» — «слишком суммарных или слишком упрощенных». Поучая Запад, Гордэ опровергает ложные идеи относительно Советов.

Кое-что в этих опровержениях вполне правильно. Но рядом с правильным имеется много несуразного, для 1952 года наивного и абсолютно несправедливого. Приведем несколько иллюстраций.

«Лишения и ограничения свободы, грубое вмешательство в духовную жизнь, индивидуальную и политическую, составляли в течение веков часть бытия народа. Таким образом всё возрастающее и всестороннее посягательство на свободу (в западном смысле слова) со стороны советского режима не было и не является новым для 200 миллионов обитателей СССР. Вековая привычка к повиновению установленной власти определенным образом умерила влияние режима». Автор не останавливается и перед таким утверждением: «Даже существование в СССР трудовых (!) лагерей не меняет ничего в различии двух образов мышления: бесполезно судить один мир с точки зрения ценностей другого, потому что ничто не доказывает, что советские имеют те же представления об этих лагерях, что и на Западе». Это та ложка «дегтя», которая может испортить даже целую бочку мёда...

В утешение не то самому себе, не то другим — и в явное противоречие с только что сказанным, — Гордэ заявляет, что «существуют указания, позволяющие думать, что советская молодежь направляется, сознательно или бессознательно, к решениям, содержащим большую долю свободы (в нашем смысле этого термина)».

«И положение рабочего класса тоже постоянно улучшалось,

правда, иногда медленно... Неоспоримо и повышение уровня жизни русских крестьян и «культурные» завоевания колхозов (опять таки по сравнению с 1917 г. и с точки зрения больших крестьянских масс, а не меньшинства крестьянства, когда-то бывшего относительно богатым!»).

Четырем «ложным идеям» Запада о «советских» Гордэ противопоставляет четыре «ложных идеи» «советских» о Западе. Здесь он гораздо более осведомлен и более убедителен — с нашей, конечно, точки зрения, а не с советской. Это не искупает, однако, искусственности общих его рассуждений и проповеди.

Мишель Гордэ принадлежит к той теперь уже убывающей породе благочестивых мечтателей, которые полагают, что при наличии «двух миров» — Советского и Западного — можно быть ни там, ни здесь, а как бы в пространстве, поверх того и другого, *au dessus de la mêlée*. Гордэ считает, что оба мира страдают одинаково «психозом», и наставляет, как следует обращаться со страдающими манией преследования «советскими». Надо «ловить советских на слове» и «поощрять международный обмен учеными, учащимися, техниками, интеллигентами». Тут крайняя наивность совмещается уже с неведением о том, что было и к чему бывшее привело.

Очень советую Гордэ ознакомиться со статьей профессора Эрнста Симмонса, недавно напечатанной в сборнике статей “*Negotiating with the Russians*” и посвященной как раз тому, что рекомендует делать и на что так надеется Гордэ. Проф. Симмонс в течение годов питал и поддерживал те самые иллюзии, с которыми никак не может расстаться Мишель Гордэ. И опыт последних лет, составивших и его, ничему его не научил.

«Виза в Москву» свидетельствует, что автор — пацифист, но наивный, не считающийся с жизнью; что он — гуманист, но односторонний и с оговорками; что он — противник интервенции, но не против всякого тоталитаризма, а только против советского. И в своем пацифизме, и в гуманизме Гордэ непоследователен.

Он считает, что «любой ценой (?) надо дать знать советским — правящим и населению — что Запад хочет мира и работает на мир». В то же время он сам понимает: «Конечно, западный мир должен быть силен. Конечно, он должен принимать меры законной защиты и предохранить себя от последствий потери равновесия самих по себе опасных сил».

Гордэ — гуманист, но безжалостно проходит мимо страданий подсоветского населения в целом и заключенных в «трудовых лагерях». Хуже того. В противопоставлении Запада с его культурой и свободой, не советским даже, а российским «унтерменшам», не спо-

собным ни понять, ни ощутить свободу, чувствуется презрение и снисхождение культурно-«белого» к обездоленному историей «черному» или «цветному».

Книгу Гордэ, вероятно, переведут с французского на другие языки. На русском языке она может появиться лишь в качестве поучительного урока к тому, до чего договаривались во второй половине 20-го века даже благожелательно относившиеся к русскому народу просвещенные пацифисты и гуманисты Запада.

М. Вишняк.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ С ГАРВАРДСКОЙ ВЫСТАВКИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ».

За последние месяцы многие впервые побывали в Houghton Library, библиотеке редких книг и старинных рукописей при Гарвардском Университете, чтобы посмотреть выставку «Слова о полку Игореве», устроенную славянским отделением университета.

В декабре 1950 года исполнилось 150 лет со времени появления в Москве первого печатного издания этого замечательного памятника Киевской эпохи. С этим новым юбилеем «Слова» почти совпало обогащение славянской коллекции Гарвардской библиотеки редких книг ценным уникалом: прототипом первого издания «Слова». Этот уникал замечателен тем, что он отличается от обыкновенных экземпляров первого издания «Слова», также чрезвычайно редких, отклонениями на восьми страницах и является первоначальным набором «Слова», вообще не поступившим в продажу.

Издатели «Слова» — Граф А. И. Мусин-Пушкин, А. Малиновский и Н. Бантыш-Каменский — в результате серьезных занятий открытой гр. Мусиным-Пушкиным рукописью сочли нужным сделать изменения в примечаниях к ее тексту и решили заменить четыре листа уже напечатанной книги новыми. Так как при этом в текст «Слова» вкрались новые опечатки, прототип первого издания имеет значение для восстановления рукописи, сгоревшей в 1812 году. Сверх того, мы приобрели новое вещественное доказательство серьезной работы, которую проделали издатели «Слова».

При взгляде на два первых издания «Слова», выставленных на центральной витрине выставки, — «Р» [как принято называть *editio princeps* «Слова» в науке] и «Н» [как предполагается назвать Гарвардский экземпляр] — можно заметить только, что слово «полку» в заглавии следует древне-русскому правописанию в «Н», церковно-славянскому в «Р», и по разному выгравирована заглавная виньетка. Суть различий между обеими версиями изложена профессором Гарвардского университета Р. О. Якобсоном в небольшой работе, напечатанной в январском номере *Harvard Library Bulletin*. интересной

не только для специалистов. Пользуясь данными этой статьи, отмечу только, что прототип первого издания «Слова» попал в Гарвард через посредство русского библиографа А. П. Струве, отыскавшего его у французского антиквара, и что он, по всей вероятности, принадлежал покойному принцу Петру Александровичу Ольденбургскому, которому, возможно, был подарен правнуком графа А. И. Мусина-Пушкина.

Среди выставленного иллюстрационного материала выделяются яркие эскизы Дмитрия Стелецкого [1875-1946], предоставленные организаторам выставки В. М. Васильевым. Можно внутренне принимать или не принимать эту пластическую реализацию «Слова», но она привлекает внимание, как попытка художника-модерниста использовать технику русского иконописного искусства, открытого и оцененного по-настоящему только в начале нашего века. Палехинский мастер, Иван Голиков, тоже пробовал применить принципы иконописи для роскошного московского издания «Слова» [1934], стараясь однако совместить их с основами «социалистического реализма». Результат получился не совсем убедительный. В конце концов из всех живописных изображений Игоря похода, представленных на выставке, наиболее адекватным поэтическим образам «Слова» представляются миниатюры Радзивилловской летописи, восходящие к оригиналам, почти современным замечательному киевскому эпосу. Ближе всего им по духу, может быть, ими же вдохновленные, рисунки украинского художника Якова Гниздовского, которые украшают новый украинский перевод Гордынского, изданный в Соединенных Штатах в 1950 г. Очень хороши оригиналы иллюстраций М. В. Добужинского к «Слову» в русском стихотворном переводе Г. В. Голохвастова. Из других иллюстраций останавливают внимание мастерские рисунки Александра Алексеева в швейцарском издании «Слова», переведенного на французский язык поэтом Филиппом Супо.

Наглядная история похода «Слова» через ряд стран и поколений начинается в 1797 году с извещения Н. М. Карамзина во французском журнале «Spectateur du Nord», выходившем в Гамбурге, и схожей русской заметки Хераскова. Оба русских писателя согласно сообщали, что открыто замечательное произведение древней Руси, не уступающее в художественном смысле даже Оссиану... Это восторженное заявление Карамзина поставило «Слово» под угрозу своих и чужих уличений в подложности после разоблачения Макферсона. В связи с этим особенно интересно ознакомиться с критическим отзывом о «Слове» немецкого историка А. Л. Шлецера [в 1801 г.], справедливо усумнившегося в «оссиановском» духе «Слова». Из других иностранных откликов на открытие «Слова» организаторы выставки поме-

стили первый американский отзыв, который нельзя не процитировать, так как он содержит очень смелую для своего времени мысль, получившую только теперь всестороннее научное обоснование.

Американско-немецкая славистка [дочь фон Якоба, Харьковского экономиста и сотрудника Сперанского], Тереза Альбертина Луиза фон Якоб Робинзон, писавшая под псевдонимом TALVJ, в своей книге "Historical view of the Slavic Language", изданной в 1834 г. в Андовере, писала:

...*"It is a piece of national poetry of the highest beauty, united with an equal share of power and gracefulness. But what strikes us even more than this, is, that we find in it no trace of that rudeness, which would naturally be expected in the production of a period when darkness still covered all Eastern Europe, and of a poet belonging to a nation, which we have hardly longer than a century ceased to consider as barbarians! The truth is that the Russians enjoyed at this early period a higher degree of mental cultivation than almost any other part of Europe"*.

Мысль, что «Слово» не «возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности», как написал даже Пушкин, прозвучала в то время так революционно, что была выпущена в позднейших изданиях книги.

За иностранными отзывами на выставке следуют переводы «Слова» на иностранные языки: первый полный английский перевод гарвардского слависта проф. Лео Винера, изданный в 1902 г., английский перевод известного русского энтомолога проф. А. Петрункевича в сотрудничестве с покойной Вандой Петрункевич, несколько английских стихотворных переводов (В. G. Guerney, P. C. Crath and Watson Kirk Connell и др.), и научные и поэтические переводы на шведский, немецкий, французский, испанский и итальянский языки. Из славянских переводов «Слова» [на 9 языков] хочется отметить украинский перевод отрывков «Слова» Тараса Шевченки и белорусский перевод самого видного белорусского поэта Янка Купалы. Русские поэтические переводы представлены опытом В. А. Жуковского, с поправками «рукою Пушкина», и поэтическими версиями Майкова, Гербеля и Мея, изданными «Советским писателем» в одном сборнике в 1938 г. Из иностранных поэтических переводов особенно замечательны польский поэтический перепев «Слова» Юлиана Тувима и перевод знаменитого немецкого поэта Райнера Марии Рильке, оба впервые полностью опубликованные в Нью-Йорке в 1948 и 1949 г.г.

В Америке вышли не только новые переводы «Слова», но и веские критические ответы на сомнения в подлинности «Слова», споры о которой, казалось бы, навсегда отшумели в 30-х годах прошлого столетия. Витрина, посвященная на выставке этой самой последней,

драматической главе в истории «Слова», представляется особенно интересной. Она начинается с книги французского слависта А. Мазона ("Le Slovo D'Igor", Paris, 1940), в которой он решил доказать, что «Слово» — подделка неизвестного автора 18-го века, в подражание «Задонщине», на самом деле являющейся, как известно, несомненной хотя и неумелой перифразой «Слова», написанной в 14-м веке. Профессор Р. О. Якобсон, в сотрудничестве с группой русских и иностранных ученых, блестяще доказал всю несостоятельность шатких доводов Мазона. Зато Мазону мы косвенным образом обязаны появлением превосходного критического научного издания «Слова» ("LA GESTE DU PRINCE IGOR", New York, 1948), которое покойный Г. П. Федотов в своем отзыве на эту книгу на страницах «Нового Журнала»¹ справедливо назвал «не просто шагом вперед, а целой эпохой в изучении «Слова». Кроме научного восстановления погубленной рукописи 16-го века проф. Якобсоном, этот сборник впервые дает сделанную им же реконструкцию оригинала 12-го века, а также и решение многих загадок «Слова», которые были предметом гаданий русских и иностранных ученых в течение почти 150 лет. На защиту «Слова», как видно из других экспонатов витрины, выступили и многие другие русские и иностранные ученые. Датский славист А. Стендер-Петерсен посвятил этой теме статью в американском лингвистическом журнале "Word", а один из лучших специалистов по древней русской литературе профессор Д. И. Чижевский в своей немецкой истории древней русской литературы, содержащей много новых и интересных наблюдений над поэтической формой «Слова», назвал сомнения в его подлинности «продуктом научного легкомыслия»². В 1949 г. Американским Фольклорным Обществом был опубликован первый американский сборник статей на английском языке, посвященных «Слову» ("Russian Epic Studies", edited by R. Jakobson and E. J. Simmons, Philadelphia, 1949).

Из других научных изданий «Слова» на выставке имеются монументальный и поражающий зрителя своим объемом труд Е. В. Барсова — «Слово о полку Игореве, как художественный памятник Киевской дружинной Руси» [М-ва, 1887-1900 г.г.], научная монография академика В. Перетца [Киев, 1926], попытка метрической реконструкции русского лингвиста и стиховеда Ф. Е. Корша и немецкого фонетиста Э. Сиверса, библиография «Слова», составленная С. Шамбинаго и др. Показано также последнее научное издание «Слова»,

¹ См. XX-ую книжку «Нового Журнала», стр. 301-304.

² Dmitrij Tschizewskij, Altrussische Literaturgeschichte im 11, 12. und 13. Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1948, S. 330.

выпущенное советской Академией Наук в ознаменование 150-летнего юбилея его первого издания. Несмотря на то, что напечатанный в нем критический текст «Слова», до опечаток включительно, совпадает с текстом, опубликованным в «La Geste», в советской книге нет ни одного упоминания об американском сборнике. 150-тилетний юбилей «Слова» был отпразднован в Москве также выставкой. Вместо современной пластической реализации образов «Слова», в центре выставки, как показывает отчет о ней в «Известиях Академии», возвышался бюст Сталина, тень которого временно пала на прошлое и настоящее русской культуры, несмотря на то, что он не имеет к ней ни малейшего отношения.

В заключение надо еще упомянуть «музыкальную» витрину «Слова», в которой особенную ценность представляют лист партитуры «Князя Игоря», написанной рукой Бородина, и автограф его письма. Там же помещен также отзыв об очень удачной дягилевской постановке «Князя Игоря» в нью-йоркском Метрополитэн в 1916 году, эскиз декорации для этой постановки, сделанный Рерихом, и красочные эскизы занавеса и декораций М. В. Добужинского для постановки «Князя Игоря» и «Половецких танцев» в Париже.

Основное чувство, которое остается после посещения выставки, — это удовлетворение от еще одного удачного этапа в триумфальном походе «Слова о полку Игореве» сквозь тьму времен, племен, научных и псевдо-научных заблуждений.

Кэмбридж, Масс.

З. Микуловская

Из-за недостатка места рецензии Бориса Филиппова о книгах Ю. Елагина «Укрощение Искусств» и М. Корякова «Освобождение души», рецензии Вяч. Завалишина о «Тайге» С. Максимова и «Расказах» М. Булгакова, рецензии Романа Гуля о «Враге Народа» С. Юрасова и М. Алданова о «Земной радуге» Н. Теффи не вошли в эту книгу и будут напечатаны в 30-й книге «Нового Журнала».

РЕД.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
387 Fourth Ave., New York. 16, N. Y.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

И. БУНИН — Жизнь Арсеньева. Роман. Первое полное издание. 388 стр.	2.75
С. ЮРАСОВ — Враг народа. Роман. 208 стр. ...	2.00
С. МАЛАХОВ — Летчики. Пьеса. 71 стр.	1.00
А. АХМАТОВА — Избранные стихотворения. 272 стр.	2.25
М. БУЛГАКОВ — Сборник рассказов. 212 стр. ...	1.75
Н. ТЕФФИ — Земная радуга. Сборник рассказов из жизни русской эмиграции. 285 стр.	2.00
Ю. ЕЛАГИН — Укрощение искусств. Воспоминания музыканта. 436 стр.	3.00
В. АЛЕКСЕЕВ — Невидимая Россия. 405 стр.	2.75
М. КОРЯКОВ — Освобождение души. 372 стр. ...	2.75
С. МАКСИМОВ — Тайга. Сборник рассказов. 208 стр.	1.75
А. В. ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС — На путях к свободе. Воспоминания. 432 стр.	3.00
К. КРИПТОН — Осада Ленинграда. Записки очевидца. 256 стр.	2.00
Ф. ТЮТЧЕВ — Избранные стихотворения. предисловие В. В. Тютчева. 272 стр.	2.00

Эти книги вы найдете в книжном отделе «Нового Русского Слова»,
456 Street. New York 19, N. Y. и во всех русских
книжных магазинах.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

CHEKHOV PUBLISHING HOUSE,
387 Fourth Ave., New York. 16, N. Y.

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ:

Е. ЗАМЯТИН — Мы. Роман. С предисловием В. Александровой. 224 стр.	1.75
Б. ПАНТЕЛЕЙМОНОВ — Последняя книга. Рассказы. 256 стр.	2.00
Н. В. ГОГОЛЬ — Повести. С предисловием В. Набокова. 272 стр.	2.00
В. В. НАБОКОВ — Дар. Роман. 416 стр.	3.00
Г. П. ФЕДОТОВ — Новый Град. Сборник очерков по истории современной культуры, философии и литературы. Под редакц. Ю. Иваска. 384 стр.	2.75
Н. ЛЕСКОВ — Соборяне. Хроника. 400 стр.	2.75
РОМАН ГУЛЬ — Конь рыжий. Роман. 288 стр. ..	2.00
С. ГУСЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ — Глухой приход и другие рассказы. 304 стр.	2.25
НИКОЛАЙ НАРОКОВ — Мнимые величины. Роман. 416 стр.	3.00
МИХАИЛ ЗОЩЕНКО — Повести и рассказы. 428 стр.	
ВЛАДИМИР ВЕЙДЛЕ — Вечерний день.	
«Неизданный Гумилев». Под редакцией Проф. Г.П. Струве. 240 стр.	

Эти книги вы найдете в книжном отделе «Нового Русского Слова»
243 West 56 Street. New York 19, N. Y. и во всех русских
книжных магазинах.